

КАЗНЬ МАХАМБЕТА

Роман

+++

Содержание:

Книга первая - КОЗЫ ЖАСЫ (ВРЕМЯ АГНЦА)

История первая: **БОЖЬЯ ТРАПЕЗА**

История вторая: **АК МЕДРЕСЕ**

История третья: **БЕКЕТ АТА**

История четвёртая: **ХАНСКИЙ ТОЙ**

История пятая: **ТОБЕТ**

Книга вторая - ЖЫЛКЫ ЖАСЫ (ВРЕМЯ ЖЕРЕБЦА)

История Первая: **НАСТАВНИК**

История вторая: **ИЗМЕННИК**

История третья: **БУНТАРЬ**

История четвертая: **ЦЕНА ПОБЕДЫ**

История пятая: **РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ**

История шестая: **ЦЕНА ПОРАЖЕНИЯ**

ПЕСНЬ ОБ ОРЫС-БАТЫРЕ И КАЙСАЦКИХ ПЛЕННИКАХ

История седьмая и восьмая: **ВЕРА И ВЕРНОСТЬ... ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА**

Эпилог – Казнь Махамбета

+++

*Разве не были угодьем
для кого-то степи эти?!
Иль не стал доской–надгробьем
тальник, вместо звучной флейты?!
Разве мало, кто оставил
ласки страстные красавиц?!
Тех, кто жадно и устало*

*в лужах видели оазис?!
Разве не было отборных,
быстроногих скакунов,
с сёдел кинувших позорно
своих бывших седоков?!
Разве мало, кто в лишениях
спал на спинах скакунов,
тех, кто в поисках врагов
на полях былых сражений
не сложил своих голов?!
...Будем жить и наслаждаться,
в буднях быть и править пир...
Не забудем только, братцы,
разве всех не пережил
этот вечный, мнимый мир?!*

***Махамбет Утемисулы – «Мнимый мир»
(перевод Б.Карашина)***

+++

Книга первая

КОЗЫ ЖАСЫ (ВРЕМЯ АГНЦА)

История первая: БОЖЬЯ ТРАПЕЗА

Кровь с остро отточенного лезвия ножа не капала – сходила, словно стальной клинок отторгал темно-алую влагу жизни еще бывшего в агонии верблюда, чье горло только что полоснула умелая рука Старшего Дяди.

- Добрый нар! – радостно скакал вокруг бьющегося в путах, почти обезглавленного косматого великана, старый шаман. Лысая голова сверкала под степным солнцем, соперничая в способности отражать лучи с клинком в руках Старшего Дяди, увлеченного тяжелым, но почетным трудом. Это баранов-кошкаргов для праздничного тоя можно было доверить молодым жигитам, потевшим сейчас чуть в отдалении над тушами тринадцати жертвенных животных. Впрочем, надо отдать молодым должное – работа у них спорилась, да и что такое возраст в таком деле для кочевника, привыкшего забивать скот сызмальства?! Но нар-верблюды, могучий исполин степей – особого опыта требует!

Страшная сила в ударе ног его, даже если спутаны они по всем правилам, проверенным веками бесконечного кочевья сыновей Берша по Великой Степи. Только опытный кочевник, настоящий батыр, может верными, точными движениями отделить от тела голову могучего зверя, настоящего спутника всего кочевого рода, через время, пески и ветра существования.

- Добрая трапеза будет Небу-Тенгри! – повторял шаман, протягивая могучие, все в узлах мышц руки, к отсеченной голове верблюда, принимая ее от Старшего Дяди, и вознося над своей головой, ввысь, к солнцу, под взор Неба-Тенгри. – Ал, кудай-тамагын, улы Танрим! – воскликнул-запел шаман, чьи руки, больше приставшие бы воину-батыру, дрожали от напряжения и тяжести огромной верблюжьей головы. Кровь не кропила – лилась тонкой, густой, черной струей, покрывая руки, лысину, лоб шамана, затмевая взгляд, но узкие, оттенка выцветшего степного неба глаза не закрывались, словно вцепившись куда-то ввысь, в самую дальнюю точку там, где небо перестает быть голубым, и даже солнце не затмевает звезды.

Молодой мулла-мырза недовольно поглядывал на шамана, но молчал. Этот старик, даром что помнил его самого еще до медресе, голопузым мальцом, собиравшим кизяк, мало того, что по просьбе отца так же подносил кудай-тамак Небу-Тенгри в день его собственного рождения – так он еще мог и посохом отделить не на шутку, если бы счел поведение уважаемого ныне всей Букеевской Ордой, несмотря на юность, муллы, невоспитанностью. Рассказывали, прежнего муллу, который был избран к тому же муфтием, этот самый шаман избил в кровь только за то, что тот попытался вмешаться в обряд, напоминая казахам, что вот уже столько веков они, вообще-то, уже мусульмане, и негоже почитать языческого Тенгри богом своим. Даже сам хан, говорят, не стал останавливать старого шамана, и сардарам своим запретил. Сказал – дерутся между собой священники – значит, боги их дерутся, вот пускай между собой и решат, чьему служителю битым быть, а мы, значит, люди простые, скажут, небу-Тенгри кудай-тамак резать, порежем, велят Аллаху курбан-айт справлять, кошкаров валить – завалим, только бы поменьше в наши, кочевые дела вмешивались. И без того желающих вмешаться хватает – от губернаторов оренбургских, до засланцев китайских, всяк норовит степняков Малого Жуза на свою сторону склонить, альчиком в своей игре кинуть, да так, чтобы альчику побольней падать было...

+++

Альчик упал на выигрышный бок, и Старший Брат радостно крикнул – Жарайт! Я сказал же – брат родится!

- Погоди раньше времени радоваться! Не от твоего броска в альчик то зависит, нам мырза-учитель в школе рассказывал... – ханский сынок, Жангир, смотрел на Старшего брата, насупившись, из-под гимназической фуражки. Отец его, великий хан Бокей, хитро поступил, кадер-судьбу обманул, и долгожданному первенцу своему четыре года имени не давал, в книгах о рождении велел никаких записей не делать, потому как до Жангира все мальчики в роду ханском умирали, один за другим. Дождавшись, пока сыну за три года станет, дал ему имя знатное – Жангир-Керей, и впервые повез в Астрахань, где внес сына своего в имперскую «Книгу для записывания освидетельствований», и через то действие оформил ему самую настоящую имперскую фарман-бумагу, записав его и в особой книге Департамента Герольдии. И тем самым сделав первенца своего первым же настоящим аксуюк-дворянином, из числа степняков своей орды, закрепив этот статус бумажным подтверждением. Когда же сыну семь годов исполнилось, отвел в гимназию, и

там оказия через то случилась – не желали имперские чиновники трехлетнего, по бумагам, мальчика, в гимназию принимать, да богатые подарки, а того паче - протекция губернаторская сына, решили вопрос, и вот уже с прошлого года учился Жангир-Керей, ханский сын, в школе орысов, в Астрахани. А вот теперь привез его гордый и хитрый отец на праздник-той в гимназической форме, явно гордясь тем, как его старший отличается от прочих мальчишек, щеголявших по случаю праздника пусть в новеньких, но привычных расшитых золотой нитью жилетках-бешметах. Видимо, хотел намекнуть – вот, мол, и сын мой старший, наследник, одет, как орысы знатные своих детей одевают, а значит, благоволит ко мне губернатор астраханский, и ко мне следует обращаться всякому кочевнику, и почет оказывать, потому что под ней мы ходим, под Россией-Империей, как то еще ханом Абулхаиром устроено было!

- Ой-бай, ханский сын, ты меня за дурака не держи! Всякий знает, что не от моей косточки то зависит, а от отцовской! – засмеялся незлобиво Старший Брат. Сильный, уверенный в себе, он был при этом очень миролюбивым, и обижать сына ханского не хотел. Хотя мог бы. А вот Брат Средний...

Не дал Тенгри ему силы в руках, но дал сердце барса – так говорил отец про Среднего своего сына, мелкого в кости, низкого ростом – весь в мать! – однако задиру, каких на всю степь еще поискать! От того и удар-подзатыльник получился не большим, но злым, обидным, да еще и фуражку гимназическую сбил с головы в пыль степную. И, будто мало ему того, прыгнул Средний на фуражку, принялся топтать ее, приговаривая:

- На тебе, подхвостье орыское, моего брата поучать! Вот тебе...

Не стерпел сын ханский Жангир, бросился с кулаками на обидчика, и вот уже катаются мальчишки по пыли, новые койлеки-рубашки рвут друг на дружке, пуговицы гимназические летят в пыль, тускло отсвечивая сусальным золотом, лампы в кизяке вымазаны, штаны праздничные запачканы. Какая мать стерпит?

- Ой-бай, коршун ты мой! А ну прекрати! Это же форма... форма... – бежит-летит соколицей младшая жена ханская, любимица, хоть и не мать родная наследнику, но ближе матери. Она, грезя о больших городах на севере, о домах каменных, повозках красивых, настояла мальчишку в гимназию отдать, и во всем была ему другом и наперсницей. Мальчишку, гляди, коршуном величает, а у самой глаза – бояться!

- Ой-бай, кояншык-хулиган бала, опять задираешь кого не надо? Апа весь год для тебя это платье справляла, сама узор вышивала, а ты?! Не стыдно тебе? – средняя жена Отца бежит рядом с гостьей-чужачкой, ругает родного нашего Среднего Брата, сильно ругает, а в глазах – смех. Забавно видеть ей, как надутого ханского первенца ее родной сын, слабосильный Средний, по грязи таскает.

Расташили женщины мальчишек, ведут каждая к своей юрте. Ханская любимица пасынка своего по пути отряхивает, причитает, все пытается помятую фуражку расправить, при этом умудряется еще и целовать стесняющегося мальчишку в вихры, стриженные по обычаю орысов. Средняя жена Отца за ухо тащит Среднего Брата, тот терпит, не пискнет даже, только глаза у обоих – смеются. Дошли до юрты, не выдержали оба, прыснули, так, смеясь, внутрь и зашли. Ничего, сейчас Апа, Старшая жена отца, выплет им обоим как следует – еще долго не смогут смеяться... Или – смогут, эти у нас такие, все им – ветром в степь! Хотя – не выплет, нет никого в юрте, успеют одежду в порядок привести, а за драку мальчишескую никто у нас никого не наказывает... ну, если только не пожалуется ханский сынок своим старшим.

+++

Старшие жены в отдельной юрте сидят, им уже чай подают невестки молодые, каждый каприз выполняют, а те промеж собой особый разговор ведут. Ну, как особый – женский, понятное дело!

– Значит, говоришь, с Жузим, дочкой адайской, еще с бесика-колыбели сына обручили? Не боишься, что адайская дикарка мальчишку твоего к подолу своего кебенека пришьет, под каблуком саптамы держать будет? Адайки, они такие, строптивные! – хитро щурится наша старшая Апа, громко пьет чай, выражая свое отношение к этому союзу.

В ответ их старшая тоже щурится, еще громче причмокивает, пиалу к губам поднося, язвительно говорит:

- Адаи племя дикое, но сильное! Союз с ними Бокей ценит, даже дозволил нескольким кочевьям из степей мангыстауских к берегам Жайыка переселиться, а они за то всю южную границу от шеркешских бандитов сторожат, так, что те до наших кочевий и пастбищ не доходят даже. А что по поводу строптивности – куда-то даст, жива буду, из самой строптивной невестки быстро дурь выбью!

Засмеялись апашки вокруг дастархана, закивали согласно. Это у них, у старших жен, всегда так, супротив невесток даже самые страшные враги завсегда объединяются.

+++

- Объединяется, говорят, степь, против хивинцев! – Отец говорит, а сам в сторону смотрит. В ту сторону, где Мама в юрте сейчас, в окружении повитух, кричит, бьется... Прямо как тот нар под ножом Старшего Дяди. Отец про Маму думает. Про меня... не знаю, может, и думает. Но про Маму – точно. Он ее любит очень сильно. Потому и той-то праздник закатил, вся степь Орды Букеевской, с самим ханом-основателем здесь. Вот он, хан наш, напротив отца сидит, на кошке почетной, во главе дастархана, куырдак свежий ест странной железкой трезубой, на отца даже не смотрит. Зажевав кусок печени, запил дымящимся чаем, заговорил медленно, тихо – все в юрте замолчали, слушают, что хан Бокей скажет.

- Никто ни с кем не объединяется! Я, – хан Бокей поднял палец чистой, холеной руки, украшенной перстнем с двуглавым орлом, – Ни с кем не объединяюсь! Хива – головная боль среднего жуза. Их племя, их кровь, их родичи! Хивинцы в городах своих мечтают всех кочевых под свой фарман забрать, но к нам не лезут. Потому что за нами – Царь! А кто за кочевыми? После Сырыма никто против Царя в степи не пойдет, не посмеет. Вот пускай средний жуз со своей головной болью и разбирается. Сам. Без нас. У нас своих дел хватает...

- Каких дел, хан? – старый акын, недавно пришедший к нам из Сарыарка, возмущенно вмешался. Это он, как прибыл, подбивает отца собрать жигитов и помочь кочевьям среднего жуза против хивинского хана. Говорит, каждый степняк за свободу единой ордой выступить должен, и беда наша, если будем и дальше по жузам своим делиться, откажемся единым народом стать. Вот Отец и задумывается...

- О чем думаешь ты, хан Бокей, о каких делах, когда клинки жигитов твоих в ножнах заржавели? – продолжает возмущаться акын. – Где честь твоя, когда братьев наших в крови потопят сардары хивинские, вольный народ степей в рабство обратят, как сможешь терпеть ты это?

- Как смогу? О чем думаю? – взвился хан. Будь то не акын, а карапайым-простолюдин – не сносить бы головы дерзкому, строг наш хан Бокей, да и не смог бы другой собрать все племена жуза младшего, жуза буйного, в одну орду, да своим именем назвать. Но обычай степи чтит даже он – акына голову не хану рубить! Хороший обычай – потому как и ханскую голову только другой хан рубить может. А где в степи найдешь других ханов? Так что правильный это обычай, неудобный, но правильный, с него и своя голова целее будет!

- Мне головы моих жигитов дороже свободы этих голодранцев из среднего жуза! – кричит гневный хан. – Когда мы жунгар своей кровью остановили – где были эти твои братья? Когда Сырым встал за свободу степи – с кем они были? О чем думы мои, дела мои, спрашиваешь? А ты выйди, посмотри, как народ наш живет! Уже сколько лет не воюем мы, заржавели клинки, зато стада богатые, в каждом ауле-кочевье – той, как здесь, детей рожают, праздники справляют, женятся, всех склок да свар – кто кому место за дастарханом не уступил, и ты хочешь, чтобы я все это променял на поле битвы? Чтобы женщины мужей в юрты не дождалась? Чтобы дети без отцов росли? Этого хочешь ты, акын, говори мне? Этого?! – хан поднялся из-за дастархана, взгляд его – Небо-Тенгри в грозную пору, руки сжимаются в кулаки, смотрит на акына пристально, зовет к ответу.

Молчит акын. Зря молчит. Уж я бы нашел, что сказать. Но меня пока нет... Ничего, скоро – буду!

+++

- Скоро будет! – радостно потирает руки, выпачканные в бараньей крови, Младший Брат. Их у меня много, младших. Они пока – младшие, потому что меня еще нет. Родичи мои, жигиты, батыры, чьи клинки заржавели, но ножи – вот они, ножи, острые, полосуют по плоти животных из стад отца моего, режут мясо на беспармак, для которого младшие невестки вот уже и котлы поставили. А неподалеку котел поменьше – там шкворчит-жарится на внутреннем жиру куырдак. Нежные легкие и печень, сердце и почки – жаркое-награда для молодых жигитов за труд, за то, что под палящим солнцем без усталости режут-свежуют угощение для всех, кто пришел на этот праздник-той. Это про куырдак Младший Брат говорит – скоро будет, скоро уже накормят изголодавшихся, усталых жигитов орды Бокей Хана, вот уже второе поколение которых клинки обнажает и кровь пускает только по тоям-праздникам, чтобы барана-коня-верблюда зарезать, чем хан наш только гордится. Хороший у нас хан! И куырдак будет хороший – вон запах какой вкусный разносится от котла!

Другой брат улыбается, усталый:

- Скоро, говоришь?..

+++

- Скоро уже, кокеси (дорогая), давай, тужься! – кричит бабка-повитуха. Не со зла кричит, просто по-другому Мама ее не услышит – сама орет так, что аж полог юрты трясется. – Тужься, айналайн, смотри, батыр будет!

- Ааааа! – кричит Мама, будто не хочет батыра, а хочет просто, чтобы все быстрее закончилось. Мне жалко Маму, и я стараюсь ей помочь, толкаюсь, хотя мне совсем не хочется туда, к этим их делам, строптивым невесткам, которые мужей-батыров к своим койлекам-платьям пришивают, к крови, без которой не обходится даже праздник... Но маме больно, и я стараюсь...

+ + +

Я стараюсь, думает мулла-мырза, но они все равно верят в своего Тенгри больше, хоть и кивают согласно, и вторят моему аминь после каждой молитвы по-арабски, которую они даже не понимают, но согласно называют себя муслимами, они почитают своих аруахов, и как бы я ни старался, они все равно остаются самими собой... мои народом... Мулла-мырза поймал себя на том, что его это, по сути, никак не возмущает. Нет, он, конечно, понимает всю неправильность такого положения дел, но вот так, чтобы возмутиться всем сердцем – нет, не получается объявить в душе своей джихад всем этим древним суевериям, которые Пророк, да славится имя его, запретил своему джемаату. Степь живет своей жизнью, своими правилами уже тысячелетия, и в этом, верно, есть свой керемет, высший смысл, вложенный Создателем, и какая разница, как его называем мы, смертные, если он позволяет этому быть?

Сейчас должен появиться на свет новый человек. Кем он будет? Каким он будет? Отец этого нового человека позвал меня сюда, чтобы я вместе с шаманом выбрал ему достойное имя. Уже это – неправильно, казалось бы, но не у нас в степи. Мы живем в союзе. Вечном союзе противоположностей, которые на самом деле суть – одно и то же...

- Болды! Случилось! – кричит женщина, выглядывая из юрты, где только что кричала Мама.

Отец выбегает из шатра, вслед за ним степенно выходят Бокей хан со своей свитой, но Отцу все равно, он бежит в эту сторону, резко останавливается перед муллой.

Молодой мулла-мырза глотает комок в горле, подозрительно, будто ожидая возражения, смотрит на шамана. Говорит: - Пусть его зовут именем Пророка нашего, мир имени его, Мухаммеда...

- Махамбет, значит! По-нашему! – вмешивается шаман, и звонко хлопает окровавленной ладонью по мощной шее, такой толстой, что она сливается с затылком. По самому основанию шеи остается толстая линия, будто прочерченная кровью. Почему мне кажется, что эта линия прочертила мою судьбу?

Мулла-мырза недовольно качает головой – знал ведь, как чуял, вмешается старый язычник, не даст всему свершится благопристойно. Но – молчит. А я – кричу. Громко кричу. Мне уже можно. Я родился. Я – Махамбет!

+ + +

*Стоит холить и лелеять
сына, будто бы птенца,
если он, копьё не взяв,
не пошёл, обет свой дав,
по пути дедов, отца?!*

*Есть ли польза от богатства
рода, Родины, родни,
если их сыны-изгои,*

*как-то выпавши из строя,
после бедствия и странствий,
не нашли себе приюта
у ближайшего им люда?!
Есть ли прок от власти ханов,
златотронной красоты,
воли нет, коль у народа,
блага нет у бедноты?!*

Махамбет Утемисулы – «Стоит ли лелеять сына?»

(перевод Б.Карашина)

+++

История вторая

Ак Медресе

- Будешь говорить такие вещи – никогда не попадешь в Хусанийе! – мырза нависал над Махамбетом, подобный старому, толстому стволу дерева, уже прогнившему изнутри, но внешне все еще крепкому и потому самому себе казавшемуся грозным.

Попадать в Хусанийе, лучшее медресе Оренбурга, Махамбету не очень-то и хотелось. Да вот только с отцом не особо поспоришь. Старый Утемис уже изрядно потратился на мзду этому мырзе, лишь бы тот взялся за обучение младшего сына, упрямец с дерзким характером, находившего в себе смелость перечить отцу при всем семействе. Все надеялся уже стареющий Утемис, что уроки мулл окажутся действеннее отцовского камшы – витой кожаной плетки, не раз охаживавшей спину малолетнего бунтаря. Жены, души не чаявшие в остром на язык мальчишке, вечно за него заступались, и даже старшие братья, даром что своих детей уж завели, к малолетнему буяну относились по-особенному, и после каждой порки обижались на отца, так, словно это он их собственных детей уважению учить вздумал!

Это все шаман, его влияние – уж слишком много он возился с шустрым, крепким мальчишкой, забил ему голову старыми, никому не нужными вещами, сказками, историями про дерзких и могучих батыров, победителей кровавых сражений прошлого, любимцев Неба-Тенгри, черпавшими силу от самой Великой Степи! Сейчас – время мира, время спокойствия, и все эти легенды вызывают у молодежи одно томление духа, будоражат кровь, и без того беспокойную, а потому решено было – в мектеб его, подальше от старого колдуна с его сказками!

В мектебе, что велся в кочевье Утемиса, старшим, да и единственным учителем был мулла-мырза, тот самый, что присутствовал еще при рождении Махамбета, ел жирными пальцами беспармак за дастарханом его отца, а сам обо всем, что в кочевье происходило, докладывал мулле, что при самом Бокей-хане держался. Не любил мулла-мырзу Махамбет, а что того хуже – не боялся! За попытку учителя наказать плеткой подвижного

ученика, отвлекавшегося за уроками чтения Корана, боднул головой в живот, повалил на землю опешившего от неожиданного нападения мырзу, прыгнул на толстый живот, да так, что все дыханье отшибло! Кричал при этом: «Никто сына Утемиса, кроме самого Утемиса, бить не может!». Отцу, когда такое доложили, конечно, приятно было, однако мстительный мырза настоял, чтобы обещанное наказание строптивцу при нем совершилось. Пришлось Утемису сына в присутствии мулла-мырзы хорошенько выпороть, пока тот сам не остановил экзекуцию. А тот и не думал бы останавливать, если бы не заметил взгляды – волчьи, злые – устремленные на него со всех сторон. Жены утемисовы да невестки – с одной стороны, сыновья старшие, братья Махамбета – с другой, так смотрели на мырзу, что у того аж борода от страха встопорчилась. Нехотя остановил руку отцовскую, прекратил наказание, а мальчишка дерзкий все одно так посмотрел, что понял мулла-мырза – не справиться ему с этим. Вся спина в кровь исхлестана, так ведь ни единому стону не позволил вырваться из-за стиснутых зубов, дышал только – мелко, часто...

С тех самых пор вольготно было Махамбету в мектебе, совсем не доставал его мулла-мырза, не спрашивал ни о чем, вовсе будто нет того на уроках. Поначалу нравилось это мальчишке, а потом обидно стало. Пытался было учиться, на вопросы учителя отвечать – а тот и не слышит его, не замечает. Начал тогда всюю буяннить, уроки срывать. Не выдержал мулла-мырза, опять к старому Утемису пошел. Забери, сказал, сына, не могу я с ним, а он со мной. Зря он это сделал. Крепко рассердился старый Утемис, закричал на мулла-мырзу, мол, зачем же я держу тебя, зачем кормлю, если ты моих детей учить не можешь? Ну, так то, ясное дело, отцу только повод был. Выгнал он гниловатого мырзу из своего кочевья, а сам из Оренбурга другого нарочным письмом выписал. Что же до Махамбета, так пришлось к единственному человеку, который на мальчишку влияние имел, обращаться.

Вызвал Утемис к себе в юрту старого шамана, молочного ягненка-козы для него зарезать велел, своими руками пиалу кумысом наполнял за дастарханом, уважительно так говорил:

- Испортил ты мысли сыну моему, старик козлотородый, отравил дерзостью да смутой. Был бы я другой человек – сам бы тебя выпорол...

- Был бы ты другой человек, так я к тебе в юрту и ногой бы не ступил! – смеялся в ответ старый шаман. – Больше скажу тебе – не родись этот мальчишка в твоём кочевье, так я без твоего ведома каждый месяц у Небо-Тенгри за твои стада не просил бы прибывтка, здоровья детям твоим и женам не молил бы! Куда-тамак в твоей семье родился, тот, кто себя в жертву принесет ради Степи нашей, духа нашего, корней... А за бороду мою козлиную ответишь еще! За козла – коня зарежешь, на согым зимний, и все мясо с того коня отправишь в медресе, какое я скажу...

Удивился старый Утемис. Не было еще такого, чтобы шаман Великого Тенгри за муслимовские медресе просил, а тут, гляди-ка! А шаман знай себе смеется:

- Давно тебя знаю, Утеке, твой сын в тебя весь упрямым, ты же из-за того не поступишь правильно, не отдашь мальчишку мне в обучение?!

Вроде даже не спросил шаман, утверждал скорее, а все равно мелькала в глаза надежда, а вдруг одумается старый упрямец, пойдет против адата-обычая последних веков, отдаст буйного мальчишку в обучение шаману.

- Не поймут меня, осудят! Не сирота ведь, не увечный, благородной крови, отдавать такого шаману в ученики – против ханских обычаев пойти, против всей уммы!..

- Вот! – старый шаман вознес к шаныраку-потолку юрты узловатый, лоснящийся от жира палец: - От того у народа Степи и беды все, что Небу-Тенгри в услужение одних сирот, увечных да умом скорбных отдаем! От корней своих отвернулись, против крови своей пошли! И не подумай ты, что беды все от мстительности Неба-Тенгри, или Матери-Степи – нет им дела до глупости человеческой, и до неблагодарности нашей дела им нет. Сами себе мы хуже делаем, закон кочевника степного на закон кочевья пустынь променяв. Небо – оно над всеми одно, а вот воздух, вода, земля у нас разные. На чужом языке молитву возносим, сами порой не знаем, что просим, а все равно – просим!

- Неужто что плохое просим на арабском-то? – недоверчиво спросил Утемис, подливая кумыс в пиалу шаману. Тот покачал головой:

- Плохое ли, хорошее – кому как. Терпения просим, сами на себя покорность призываем, силы просим не для борьбы – для того, чтобы испытания безропотно сносить. Что просим – то и получаем...

- И что в том худого? – удивился Утемис. – На покорности людей наших вся власть держится! О том и хан Бокей говорил...

- Вот! – и узловатый палец опять взметнулся вверх, на этот раз еще и трясаясь в праведном возмущении старого служителя Тенгри. – Хан говорил! Хан, построивший свою орду не на доблести – на покорности! Истинный Абылкаира наследник, променявший шокпар-палицу воина на байтерек-державу правителя! И ладно бы, если тот байтерек сам, своей рукой взял, так нет, поклонившись из рук посланника царя орысов принял! Вольных степняков превратил в стадо смиренных пенде, пастух которых – Покорность!

- Зато – мир! – вскричал Утемис, и тут же замолк под пронзительным взглядом старого шамана.

- Мир, говоришь? Такой мир только кизяк тлеющий для костра новых, еще худших войн! Когда степняк становится пенде, разве девается куда-то прочь его дух? Пропадает гордость? Нет, все они внутри него, как волос, не проросший через кожу. Вроде не видно его, а он внутрь растет, и взорвется однажды раной гнойной, с болью, кровью грязной, которая убить может, с гноем давней слабости, унижения, обиды смешавшись! Может, и зря я на Абылкаира злобу держу, может, не о таком союзе с орысами мечтал он, да только, гляди, во что все это вылилось! И все еще хуже будет!

- Как хуже? В чем – хуже? Почему – хуже? – лицо Утемиса покрылось пятнами, непонимание вызывало ярость, но страх перед старым шаманом и стоявшим за ним древними силами пока еще сдерживал эту бурю чувств, бьющуюся об страх, как весной воды Жайыка бьются об глиняные дамбы, возводимые яицкими казаками там, где берег выходил к их станицам. И так же бессильно, как вода речная бессильна перед хитростью человеческой, терялась ярость перед этим хитрым страхом, что воспитывался в степняках дольше, чем помнили они себя в этой Степи.

- Степь – это воля, а Пустыня требует рабства! – шепотом сказал старый шаман, будто открывая хозяину кочевья страшную тайну.

- Тебе откуда знать, ты же в пустыне никогда не был?! – так же шепотом спросил Утемис.

- Я, может, и не был, а вот аруаки, духи предков наших, все знают, все ведают, везде бывают... - чуть закатив зрачки за верхние веки, и начав раскачиваться, начал было шаман, но тут Утемис вдруг рыгнул громко, и совершенно бесцеремонно прервал начинающийся было транс:

- А еще ты в медресе учился, и в гимназии оренбургской, у орысов, так я еще от отца своего слыхивал... Тебя, вроде, сам Тевкелев с собою туда забирал, когда ты еще мальчишкой был, как мой Махамбет. Сколько же лет тебе, шал? Ты, небось, еще и Абылкаира помнишь? У каких же наставников ты сам-то учился?..

- Учился, - совершенно обыденно кивнул шаман, и тоже рыгнул, отдавая должное то ли уму хозяина кочевья, то ли бешпармаку из молочного ягненка. Но вопрос о возрасте будто бы даже не услышал. И то верно, зачем чесать старые раны, когда жизнь так и норовит новые нанести?

– Так что какая тебе разница, откуда я что знаю? Ты же все равно мне сына в ученики не отдашь. Так пусть по-другому учится, путь мой сам пройдет. Отдай его в медресе. Да не в обычный отдай, а в Белый...

+++

Ак Медресе построили из камней старой ханской ставки Сарайчик, разрушенной еще орыским царем Иваном, которого свой же народ Грозным прозвал. Когда-то в этих местах кипела жизнь, отчаянные степные воины свозили сюда всю свою добычу, награбленную в походах на юг, туда, где проходил Великий Шелковый Путь. С выкупом приходили сюда за своими людьми даже посланцы далекого Рима, циньские ушлые посредники дела свои темные решали, и даже порой с той стороны Хазара, через все моря пройдя, заходили торговые ладьи ширваншахов из Города Ветров – Баку.

Ныне только ветер гулял среди развалин, тугайная растительность пробивалась через древнюю кладку стен, обнажая человеческие черепа – никто не хоронил защитников ханской ставки, уничтоженной волею грозного Ивана. Только могилы семи ханов чтили степняки, обнесли кладкой из белого камня, да наглухо запечатали, чтобы никто не тревожил кости великих предков, ставших могущественными аруаками – хранителями этой земли. Даже казаки яицкие, даром, что никого, кроме Бога своего да фискала налогового, не боятся, а и те здесь станиц не ставили, промысла красной рыбы не вели. Потому и поставили здесь беглые суфии свой медресе. Бежали они отовсюду – кто от гнева султана османского, из Коньи Анатолийской, кто из Тебриза, где велением персидского шаха с них за ересь кожу живьем сдирали. Здесь, у берегов Ак Жайыка, под сенью Ханской Ставки Сарайчик, да под защитой древних аруаков, прятались, тайны учения своего храня.

В ученики мало кого принимали, за обучение же брали не золотом или рублем орыским, но только припасами разными, от съестных, и до инструментов, что в хозяйстве сгодятся. Оружия только не принимали. И как-то так выходило, что выходцы из медресе этого потом при самых важных властителях советниками делались... Или же совсем наоборот, в шаманы уходили. Но и те, и другие, всю свою силу, значимость, уважение и страх, что к ним испытывался, направляли на то, чтобы Белый Медресе оставался неприкосновенным. Вроде есть он, и каждый о нем знает, а как спросишь кого – молчат, только головой качают, мол, не слышали про такое, не ведаем, да и сами мы не местные, из Сарыарка кочевьем пришли, в Сарыжайлау уйдем, можем кумысу налить, куртом угостить, а больше ничего не можем, как-то так вот...

Утемис сына в Ак Медресе засылать и не собирался, в его мечтах было другое заведение – оренбургский Хусанийе, откуда выходили самые почитаемые муллы-мырза Букеевской Орды. Однако прав был старый шаман, потому как с таким своим характером дерзкий мальчишка мог весь свой род опозорить, отца своего насмешкою сделать для всей образованной Орды. Нет, такого допустить Утемис не мог! К тому же, два года назад, когда ходил он с паломничеством в Огланды, к святому адайского рода Бекету Ата, и взял с собой маленького Махамбета, Пир Бекет благословил мальчика особым вниманием. С самим Утемисом, почитай, и не говорил вовсе, все то недолгое время, что провели в его гостевой юрте, суфийский старец уделил этому ребенку, сыну пусть уважаемого, но все же – не более чем старосты кочевья. Но помнил Утемис, с каким уважением после этого смотрели на него все те многочисленные паломники да почитатели святого, помнил и то, как отношение самого хана Бокея, охладевшего было к своему старому соратнику, вновь потеплело. Может, есть в этом высший керамет-польза, и лучше уж отдать мальчишку к суфиям в обучение? Потому и согласился старый отец, скрепя сердце, на все условия шамана.

- С ходжой-настоятелем я сам договорюсь, то не сложно будет, на твоём сыне благословение самого Пир Бекета, так что, как весть от него получим, бросишь все дела свои, и сам сына на коня посадишь, сам его повезешь, с рук на руки ходже-наставнику передашь. Таков адат, а до того – жди!

Ждать же пришлось хоть и недолго, всего-то неделю, да только к концу той недели все кочевье извелось от буйного нрава десятилетнего юнца. Начать с того, что подговорил он старших братьев на дерзость неслыханную – напали ночью на табун жылкыши-коневодов из рода тама, увели, еще и пастуха, пытавшегося на защиту добра своего встать, его же собственной камшой огрели поперек лица, так, что у того на всю жизнь шрам теперь останется. А у пастуха того, между прочим, и фарман-дозволение от самого Бокея хана имелось на проход с правом выпаса по землям Орды, и примчался он на рассвете, все кочевье переполошил, и тряс он тем самым фарманом перед носом красного от гнева Утемиса, а из шрама на лице его стекала кровь, тоже – красная...

Вызвал сыновей старших, а тут перед ними наперед мальчишка выскакивает, головой на не по годам толстой бычьей шее трясет, я, говорит, всех подзудил, нет вины на братьях, меня наказывай! И плеткой, значит, я его... Ну, коневод обиженный, понятное дело, на мальчика и не смотрит, ему-то надобно старших жигитов из рода обидчика наказать, да только как заметил это малый, выхватил из-за пояса у того камшу, и как размахнется, как протянет алую полосу поперек свежего еще шрама, да с оттяжкой, так, что край губы разорвало жалобщику! Всего разок ударил, и стоит, повернувшись к отцу – вот, мол, видел, что я виноватый? Меня наказывай!

Утемис растерялся аж от дерзости да отваги такой, в сердце своем одно желание чует – обнять мальчишку, к груди прижать за отвагу, а сам видит, как сыновья старшие вокруг мальчишки собираются, собой, значит, огородить хотят. Нечто и впрямь против отца родного пойдут, коли наказать младшего решит? А ведь должен, должен наказать, иначе – никак!

Тут вышла вперед жена старшего сына, да как бросит в окровавленное лицо коневоду-жалобщику монисто свое, из золотых орысских червонцев, и говорит так:

- Кан-багасын толемин! Цену за кровь плачу!

Вслед жена другого сына, браслет золотой кидает, прямо по носу обиженному, и тоже кричит:

- Кан-багасын толеймин! За кровь и обиду плачу!

Опомнился тут Утемис, бросился вперед, пока невестки его все свое золото за глупость мальчишескую обидчику не отдали, схватил того за плечи, в шатер свой уволок, а тот за монисто схватился, боится, видать, что отнимут, еще и за браслетом, что в пыль упал, наклониться норовит. А Утемис ему и шепчет: - Если за обиду золотом возьмешь, тогда половину табуна себе оставлю! Сам думай!

Сам сказала, а думать жалобщику времени не оставил, в юрту свою затолкал, и там уже нож-ханжар вытащил, к лицу коневода поднес, прошипел змеей гремучей:

- Ты с кого цену крови брать решил, собака? С Утемиса Берша? Мой род цену крови только кровью платит!

Понял пастух из рода тама, что перегнул он палку, перешел границу дозволенного, и если не придумает чего – всего лишиться может: и табуна, и даже жизни, а того хуже, меж двумя родами войну развяжет! Однако обида за два удара плетью по лицу уже и не лицо – сердце жжет кочевнику, волосом сквозь гной душевный пробивается, словами ядовитыми внутри, но сладкими снаружи:

- Ты достойный, уважаемый человек, за тебя Бокей хан только хорошее говорил всегда, я на милость твою рассчитывая пришел, голову перед тобой склоняю, справедливости прошу, а если считаешь, что ничего я не достоин, так тому и быть, только ведь не твой род цену заплатил, невестка твоя из своих украшений за кровь мою платила, нет на твоём племени пятна, а женщины, они такие, не понять им гордости мужской, но и ты гордость женскую не топчи, адат-обычай соблюла она, позволь и мне соблюсти, только это вот... - и потряс тихонько монисто – возьму, коли разрешишь....

Хитер тама-конеvod, ведь в монисто этом червонец – на три таких табуна хватит, однако богат Утемисов род, что ему нынче червонцы, когда из такой кучи верблюжьего кизяка надо уже не чарык – шапан спасать! Задумался старый Утемис, отвел ханжар от лица, и без того порезанного, кивнул медленно. Добавил только:

- Табун твой заберу. Своим скажешь, что продал его мне. Иди давай, чтоб ноги твоей тут не было!

- А коня, агай, коня мне дашь, хоть самого плохонького? – жалобно попробовал было хоть немного увеличить свою на треть уменьшившуюся прибыль конеvod.

- На каком сюда прискакал, на таком и уедешь! – рыкнул Утемис, и лицо со шрамами исчезло-испарилось из юрты хозяина кочевья, оставив после себя сладковатый запах лести, страха и гнильцы.

А Утемис взмолился – не богу своих предков Небу-Тенгри, но уже привычному Кудай-Аллаху, с просьбой быстрее принести ответ из Белого Медресе.

+++

Через два дня шаман явился в кочевье Утемиса. Именно, что явился, пешком, с неведомой стороны, причем уверен был хозяин кочевья, что отправь он лучших своих охотников-жигитов найти следы шамана на подступах к аулу – ни с одной из восьми сторон света не найдут. Не удивлялся, впрочем. Да и чему удивляться, если силы Великой Степи и Неба-

Тенгри велики, и свидетелем тому само выживание рода степняков на этих жестоких просторах, то и у служителей сил этих должно быть тайному могуществу, недоступному уму что чабанов, что биев.

- Заждался? – одними глазами смеялся шаман, а Утемису не до смеха было. Схватил за грудки ветхого шапана, встряхнул старика. А тот возьми, да и схвати хозяина кочевья за запястья, и начни сжимать сухими, крепкими, как ветки карагача, пальцами. Застыли на несколько долгих, наполненных болью от напряжения в мышцах мгновений – большой, дородный Утемис, не отпускающий ворот шапана, и щуплый старик с руками узловатыми, мышцы сквозь прорехи в рукавах черными змеями виднеются, под старческой кожей бугрятся, и глаза старикивские смеются, а губы шепчут:

- Видел я по пути сюда табунщика без табуна, с лицом, шрамами расписанным. Махамбета рук дело?

Кивнул Утемис, ворота шапана не отпуская. А старик вдруг руки разжал, сам обмяк, вмиг смех в глазах пропал. Утемис аж опешил, не успел рук ослабить, треснула ветхая ткань, оторвалась, осталась двумя лоскутами в сильных руках его. Старый шаман же, не обращая внимания, сел прямо на землю, в пыль опустил руки, загреб полные горсти, в голову свою лысую, кожу чуть ли не в кровь раздираяючи, втирать стал, причитая:

- дурак я, старый дурак... опять опоздал... всегда опаздываю!..

Вот тут страшно стало Утемису, разжал сжатые до того кулаки, двумя серыми ящерицами выпали-легли в пыль земную лоскутки от шаманова воротника.

- Да что такое то случилось? – спросил шепотом.

- Судьба случилась! – огрызнулся шаман, будто обвиняя отца в том, что его сын натворил. Опомнился, увидев, как округлились утемисовы глаза от удивления, взял себя в руки, вскочил с земли, схватил хозяина аула за руку. – Веди в шатер! Кумысом пои! Мясом корми! Согласился ходжа-настоятель Ак Медресе сына твоего принять. Так что накорми меня, суюнши-подарок за весть радостную вручи, спать в своей юрте оставь, как гостя дорогого, а сам, не мешкая, в дорогу собирайся, сына в Хан Ордасы Сарайчик повезешь, там тебя настоятель ждать будет...

- Эээ.. что, и в самом деле в моей юрте спать будешь? – не веря собственным ушам, в полном изумлении спросил Утемис. Знал ведь старый адат-обычай – не спят шаманы в шатрах ханских, только под открытым небом ложатся, в любую погоду. Старик в ответ оскалился злой, невеселой улыбкой:

- Ойбай, Утеке, совсем шуток старика понимать перестал! Куда ты без меня поедешь? Не найдешь ведь даже дороги к Белому Медресе, не пустит тебя Степь без моего покровительства!

Заметил зарождающуюся было обиду в глазах хозяина аула, веселее уже продолжил:

- Ну, это я только насчет ночлега пошутил. А мясо поесть, кумыс выпить перед дорогой в твоей юрте не откажусь! Пусть Махамбет, и все остальные сыновья твои, с нами за дастархан сядут. И невестки твои, и внуки. Благословение-бата сегодня всему твоему аулу будет – Утемис сына в Ак Медресе везет, учиться!

+ + +

- Учиться будешь, сынок! Человеком будешь грамотным, человеком станешь нужным...

- Это потому, что все добро старшим братьям достанется, да? – прервал мальчишка речь отца. Утемис до крови прикусил губу: сына он посадил в седло прямо перед собой, лошадь шла ровной рысью, и наказать его прямо сейчас не представлялось никакой возможности. А не накажешь сейчас – так потом и вовсе забудешь. И он – забудет, глядишь, и не поймет даже, за что наказывают.

- Везучий ты родился у меня, сынок! – сказал только сквозь зубы. И удивился спокойному ответу мальчишки:

- Это потому что я – куда-и-тамак, мне шаман-аке все объяснил. Меня Степь хранит, пока мое время не придет. А за это удача мне всегда будет!

Рассердился Утемис, хотел было ударить пятками коня, нагнать шамана, пылившего на лучшей лошади из табунов Утемиса далеко впереди, охаять того за мысли мрачные, что мальчишке внушает. Да только нельзя – дорогу открывает шаман в запретное для всех место, в Ак Медресе. Да и не догнать его – не выдюжит конь под ними, двоих ведь несет, Махамбет даром что маленький, а костью крепок и тяжел. Коня же всего одного взял, потому как не след в эти земли большим числом ездить, - казаки яицкие след степного коня знают, так и рыщут, чтобы напасть да ограбить, большим же числом да с оружием степнякам-хозяевам этой земли ездить запрет положен царским указом, подтвержденным фарманом самого Бокей-хана. Если ты земле своей, степи своей не хозяин, так гоже ли злобу на малом ребенке ли, на старике ли вымещать, по мужеству ли дело это? Нет, опять не получается никого наказать. Остается снова скрипнуть зубами в бессильной ярости своей, да процедить:

- Эх, забыл бы ты про все эти страшны вещи, сынок!

И еще больше удивился ответу ребенка малого:

- А я и сам хочу забыть, отец! Думаешь, легко жить, зная, что твоя жизнь не тебе принадлежит? Что ты – не для себя, а для чего-то, для кого-то?! Забыть хочу, все испытываю удачу, насколько ее хватит, как воду из пиалы, а донышка у пиалы той все нет, и нет...

Будто глаза открылись у старого Утемиса, словно миг он увидел, понял, отчего сын его буйнит, почему дерзит. Захотелось защитить мальчишку от неведомой, пусть великой, но страшной судьбы, которую предрек ему шаман старый, чтоб его стаду век приплода не видеть! Осекся в проклятии невольном, вспомнив, что негоже шаманов проклинать, обратно вернется все зло, что святому человеку пожелаешь, да и нет у шамана никакого стада, не положено им, святым, стада иметь! Кстати, а почему у мулла-мырзы тогда они есть: и бараны, и кони, и даже туйе-верблюды, которых забесплатно чабаны его кочевья пасти обязаны были, пока не прогнал его Утемис из своего аула? Ведь все забрал с собой мулла-мырза, до последнего ягненка вытребовал, уходя! Почему они такие разные – старые святыи Степи, и эти, служители Кудаи-Аллаха?..

Мысли об этом захватили, закружили, заплутали, унесли прочь от сына, молчавшего всю дорогу, вплоть до самой станицы Яманхалинской. Впрочем, еще за версту до казачьих хуторов шаман повернул коня, так что сделали большой круг, огибая станицу, чтобы не попасться патрулям войска уральского казачества: казак яицкий до фарманов губернаторов всяких часто глух бывает, а ограбить кайсака на хорошей лошади да с богатой сбруей ему не впервой. Кто найдет потом в степях кости старого кипчака да ребенка, даром что близкий к хану Бокею человек? У казаков-староверов свой закон, свое

понятие, и ежели могут они закон государя орысского в чем нарушить – не задумываясь сделают это, была-б надежда, что наказания за тем не последует никакого!

Всякий раз, когда задумывался Утемис о казаках, что у берегов Жайыка обретались, казалось ему, что прав шаман, а муллы ошибаются. Вот ведь, вроде, орысы Ису своим богом-кудай почитают, тоже, значит, как муллы говорят, народ Книги! И все равно между собой в своей же вере разобраться не могут! Не ходит казак яицкий в килису-церковь, в избах особых молится, даже хлеб со своими же единоверцами-орысами, которые в официальную килису ходят, делить не желает, из-за того, что по-иному молитву Исе творит, император орысский его особой данью обложил, и значит, нет у народа орысов единства в вере, как нет его и у степного народа. И где-то тут кроется ключ к пониманию того, что следует сделать всем, кто с степи живет, степью да рекой кормится, но будто страх сковывает мысли старого главы кочевья, не пускает за запретную границу, обратно велит бежать, под тень великого хана Бокея, который плохо ли, хорошо ли, а держит всех в единстве, пусть даже единенье то на страхе перед ружьями гарнизонов орысских строится. И где-то там, в глубине этой тени мелькает гущей тьмой совсем уж крамольная мысль: а не задумываются ли о том же и казаки?..

- Казаки! – шаман скакал навстречу, предупреждая, махал над головой плетью-камшой, изображая, как яицкие башибузуки саблями своими над головами крутят.

Помяни шайтана в степи, он и появится! Вот надо было о них сейчас думать, да?! Обругал сам себя в сердцах старый Утемис, остановил коня, огляделся. Места вокруг не то, чтобы совсем не знакомые, однако не часто водит сюда он кочевье свое, а все из-за тех же казаков, гоняющих степной народ от реки, несущей в себе главный их прокорм – рыбу красную. Куда теперь схорониться, куда идти, чтобы на глаза разъезду не попасться? Велика степь, а податься в ней некуда от врага! Наверное, потому и выживал в ней всегда не тот, кто бежал, а тот, кто смело на врага своего шел. Да только изменилось время, большая власть свои законы ставит, смелому с государством геройствовать не в мочь, государство героев только мертвых любит. Живыми же только осторожные да покорные оставаться должны, и в том залог прочности всякой власти!

Жаркой зыбью дрожит воздух над степью, желтой всюду, кроме береговой линии – зелена она, манит защитой да прохладой, только далеко, не успеть, не доскакать, а в мареве миражом смертельным проявляются дрожащие пока вдали фигуры конных казаков. Страшно Утемису – не за себя, за сына, который вот так вот, глупо, из-за его, между прочим, глупости, с жизнью расстаться может. Посмотрел отец на Махамбета, а тот сидит впереди, за луку седла ухватился, спокойный вроде, нет на лице страха. Доверяет, значит, отцу! Считает, что защитит его староста аульный, хозяин кочевья, который и сам не помнит, когда последний раз саблю-кылыш из ножен для сечи смертельной вынимал!

- Не вынимай! – шепчет, а будто бы – кричит шаман, за приметив, как сжимает Утемис рукоять меча своего. – Не трогай оружие, ради Тенгри! Ради Кудая, ради сына, ради всего святого – не трогай оружие!

Утемис почувствовал, как мальчик положил свою руку поверх его, спокойно так, и будто без усилий каких, хотя крепко сжимала рука старика рукоять дедовского меча, последний раз испившего кровь врага еще во времена восстания Срыма Датова, а тому уж полвека как прошло! И вот берет детская ручка отцовскую большую руку, и легко снимает ее с рукояти, отводит в сторону, подтверждая шамана требование. А Утемис и слушается их обоих, будто не он верховодит людьми привычен, будто не его старостой аульным по

праву рождения да за мудрость на кошму возводили. Слушается сына, слушается шамана. Шаман же странные, невиданные еще старым Утемисом никогда, действия творит. Вкруг утемисова коня кругами скачет, из кожаного мешочку, что на поясе, пыль пахучую раскидывает, слова какие-то выговаривает... И вроде знакомы слова эти, чем-то в груди отзываются, а смыслу – не помнит старый Утемис. И дух вокруг тяжелый встает, будто полынь кто руками растер да к самому лицу поднес. Аж слезы из глаз пошли!

И видит Утемис сквозь слез пелену, как из марева жаркого появился разъезд казачий – пятеро всадников, при саблях, ружьях да пиках. Совсем близко подскакали, а лиц не разглядеть – все в тумане из-за слез этих проклятых. И голоса слышны, будто кто голову ему подушкой накрыл, и слабый звук речи казачьей через ту невидимую подушку к нему пробивается:

- Чай, нечистая сила тут, говорю тебе, Митрич... Христом-богом...

- Не поминай всеу!..

- Так ить тутошки были, Христом-богом...

- Не поминай, кому говорю!..

- Все ить видели, аль глаза мои мне вруть?..

- Глаз не собака, брехать не станет!..

- А можа, показалось? Можа, навь степная? От жары, опять же...

- Кака те навь, когда все, почитай, видели – два киргиза, на конях, один впереди, другой, видать, с бабой аль дитем, потяжелемше, следом...

- Так ить нету!.. Сгинули!..

- Сам ты сгинул! Следы, вишь, есть, потоптано конями...

Дунул ветер, откуда ни возмись, зашуршал жухлой, обожженной солнцем травой, пылью по голой степи, следы конские заметая, только вот дух полынный никуда не делся, и марево со слезами так и стоят перед глазами, а казаки тог пуще меж собой ругаются:

- Да где, следы-то?

- От ить, тутошки были, сей миг ветром их...

- Каким ветром, Колыван?! Ветра в степи ужо третий день, почитай, нет!.. напекло тебе!..

- А я говорю – нечистая сила!..

- Ох, договоришься ты у мя, Колыван, старцу скажу – ночь в молельной проведешь за часословом! Из тя самого духа нечистого выгонять будем! Ишь ты, нечистый ему навь кажить, ум смущает!..

- Да как же так.. да что же это?!..

- Поскакали отседва, артельные, видать, и впрямь припекло, духом полынным разит, аж не в мочь... а ить не время для полыни... можа, вправду, согрешимши, всем ночь за часословом стоять...

Ускакал, отдалился казачий разъезд, но тихо стоял шаман на стременах, ждал, и только когда совсем пропали из виду, дунул на ладонь, и миг исчезли: и слезы, застилавшие взгляд, и дух полынный, от которого аж дыхание сперло в груди!

- Что?.. Что это было? – Утемис закашлялся, а шаман подъехал близко, по спине похлопал, протянул воду из кожаного бурдюка:

- Полынь, сушеная да толченая в порошок... - ответил, а глаза опять смеются, будто не над ними всеми еще несколько минут назад висела смертельная опасность.

- Не про то я спрашиваю! – рассердился Утемис, которому сейчас очень нужно было на кого ни будь направить собственную злость, родившуюся от собственного же страха.

А шаману – хоть бы что! Смеется:

- У муллы своего спросишь! – ответил, и вперед поскакал. А Утемис только вслед глядит, коня шагом пустил, дышит тяжело, сердито. Махамбет, мальчишка, к отцу повернулся, посмотрел снизу вверх, как у того ноздри от злости раздуваются, подбородки же аж дрожат. Тихим голосом заговорил Махамбет, сын Утемиса:

- У всего свои аруахи есть, аке. Наш шаман аруахов полыни просил, те глаза казакам в сторону отводили, ум затуманили, так что не видели они нас, а что видели – понять не могли.

- У травы – духи предков? – недовольно проворчал Утемис, да не потому, что не поверил сыну, а так, больше для порядку, чтобы шибко умным себя малой не возомнил. Махамбет же, словно понимая, ответил просто: - У всего, аке, и у травы тоже. Она же живая, рождается, умирает...

И кивнул, словно закрывая разговор. А Утемису уж и не хотелось продолжать. Хотелось быстрее добраться до медресе, сдать на руки, что называется, мудрым людям на обучение сына своего, родного, а кажется теперь – такого незнакомого! Пришпорил пятками коня Утемис, ускорился, догнал шамана. Шаман посмотрел на старосту аульного, ничего не сказал. Только кивнул, алга, мол, вперед едем! Утемис в ответ наподдал пятками по бокам усталому уже коню. Тоже – молча.

С тем и поскакали дальше.

+ + +

Степь, зеленевшая с приближением к берегу Ак Жайыка, словно наполнялась жизнью: стали видны следы сайгаков, совсем свежие еще, суслик бесстрашно стоял у норки, будто не замечая парящего над ним беркута, уж желтой лентой по бледно-зеленой чахлой траве проползал к корням карагача, но никаких даже намеков на то, что здесь обитают люди, заметно не было. Развалины Ханской Ставки - Сарайчика остались позади, к ним даже заезжать не стали, торопясь. Но Белый медресе не явил себя Утемису во всей красе, хоть и питал старый кочевник надежду: уж после чуда, случившегося в степи с казачьим разъездом, так и хотелось продолжения, будто должно было это путешествие и дальше становиться частью какой-то старой сказки, легенды, предания из тех, что бабки-апашки рассказывают зимними вечерами, собираясь в юртах у старших жен. Не только детишки, но и старшие жигиты, которым удалось в обход обычаев оказаться на таких мажилисах-собраниях, с интересом вслушиваются в затейливые или простые, но всегда берущие за самое нутро истории. Утемис любил сказки, которых, правда, становилось все меньше. Не любили муллы степных сказок, считали их харам-запретом, наследием языческой

древности, всячески поносили рассказчиков, предлагая взамен истории из жизни пророка, мир ему... Ох же ты, погляди, совсем, как шаман думать стал! – поймал себя на мысли Утемис, одернул, и застеснялся. А шаман, окаянный, вот он, тут, только вспомни!

- Приехали, агай! – почтительно так разговаривает, старшим величает, словно мысли прочитал, почувствовал раздражительность к себе, что в сердце кочевого старосты разрастается.

Мысли, кажись, и вправду читает шаман, ближе подъехал, совсем рядом встал, к уху наклонился, шепчет:

- Здесь место такое, негоже дурное мыслить, вежливым быть надобно тут, вот и давлю на горло песне, а не то услышал бы обращение, какое заслуживаешь...

- Не изменился, тазша (лысый), какой был, еретик, такой и остался! Хоть бы здесь себя в руки взял! – голос, чуть дребезжащий, будто из треснутой домбры кто-то звуки извлекает, пытаюсь наигрыш-кюй сыграть, не умеючи. А обладатель голоса – седой, как лунь, бороденка редкая, раскосые глаза-щелки в сторону шамана смотрят, сверху вниз, даром, что шаман на коне. И то немудрено – сидит старичок на ак наре, белом верблюде-великане, будто с небес взирает на смертных внизу. А на него самого смотреть – странное дело! – мочи нет, будто слепит свет, исходящий из-за его спины, то ли блеском солнца в водах Ак Жайыка, то ли все дело в дрожащем мареве за ним, мешающем разглядеть, что же там такое. Прищурился Утемис – пропало марево, ничего не дрожит, обычный лес тугайный, за густыми ветвями которого сверкают быстрые воды реки. Только вот – и старика никакого нет, получается! А как шире глаза откроешь – вот он, старик на огромном белом верблюде, и стена дрожащего воздуха за ним. Будто сама судьба-тагдыр говорили старосте кочевому: хотел чуда? Получай! Вот тебе старец в седилах, как в сказках апашек, на дивном, белом, как снег, наре, и говорит, гляди, как настоящий колдун-абыз, твоего шамана плешивым обозвал, а на такое даже сам Бокей-хан не осмеливается! А сам-то плешивый смущен, даже конь его смирный стал, стоит, будто вкопанный, с хозяином позор-маскара разделяя.

- Уау, маскара, позор всей нашей братии, тазша-бала, кого ты к нам привел на этот раз? – старик на верблюде, вроде бы, улыбался, будто шутил, но была в голосе его такая властность, что смеяться над шуткой было боязно.

Еще мигом раньше был шаман – сама покорность и смирение, и вдруг будто взорвался бураном степным, зимним, сверкнул льдинками во взгляде, тряхнул лысой головой, замахал руками, заговорил дерзко:

- Уйбай, шал, муллы, что в законе, меня позором людским считают, муллы что от закона бегут, меня позорным обзывают! Что вы за люди такие?! Вам угодить может только тот, кто ничего не делает, прям как вы сами, только языком молоть горазды!

- А ты, значит, делаешь? Что же ты делаешь, колдун-недоучка? Сам-то на что горазд, беглец, оставивший науку, так и не познавший основы веры?!..

- Да с вашими-то требованиями, пока вы меня обучившимся признали бы, все время мира потерял бы! А мир на месте не стоит, в мире все меняется, и нам меняться пристало! С миром жить надо, в мире жить надо, чтобы от него не отрываться!.. – продолжает шуметь шаман. А старик с еще большей ехидцей:

- Вот ты и оторвался! Сбежал, учебу бросил, чего ради?..

- А вот ради него! Ради народа своего...

- Молчи! – сделал рукою движение старик, и поток слов шамана иссяк вмиг, будто ручей камнем завалило. Не по своей воле замолчал шаман, видно, не говорит, а словами своими будто давится, вырваться хотят они, да не могут. А старик на Махамбета пристально смотрит, прищуривается, будто не на ребенка – на солнце глядит.

- Куда-й-тамак, так вы это называете, кажется? Жертва вашему Тенгри, который для нас – Танры... Вижу теперь, зачем уходил... за кем уходил, вижу... Пир Бекет нам о ребенке этом тоже говорил. А ты его учиться, значит, привел? Что сам не обучаешь? По-своему, степному закону, чего себе преемника не растишь?

- Да все потому же! – буркнул шаман, вмиг успокоившись, будто весь воздух из него вышел вместе с силой да яростью. – Не дают его мне, и не дадут. Я ж позор, понимаешь! А позор-то истинный в том, что у своего народа я не в чести, да что там я – Творец не в чести!

- Просто они его теперь учатся по-другому называть, - мягко, будто ребенка успокаивая, сказал старик, продолжая пристально разглядывать Махамбета. И вдруг добавил резко: - Иди ко мне!

И почудилось Утемису странное, невозможное: будто бы вытянулась рука старца, с высоты роста верблюжьего, удлинилась, схватила мальчишку за ворот, сжала, и в воздух подняла, к себе, в ауыт, седло верблюжье, посадит сейчас...

Моргнул: нет, привиделось, вот же, Махамбет сам с коня спрыгнул, сам за край жазы, потника верблюжьего, ухватился, прыгает... и тут только его старик, быстро наклонившись, за ворот схватил, помог, к себе посадил.

- Я, На Сим ибн Насим, последний суфий Поднебесной, настоятель и ходжа Белого Медресе, спрашиваю отца Махамбета, явившегося к воротам школы нашей. Отдаешь ребенка мне в обучение?

- Ох ты, меня заметил, наконец, ко мне обращается!» – то ли с раздражением, то ли с восторгом, непонятно как смешавшимся в душе его, подумал Утемис. Но ответил, как шаман еще в ауле учил:

- Я, отец сыну своему, Махамбету, Утемис, из рода Берш, колена Жайык, отдаю тебе сына на обучение. Мясо – тебе, кости – мне!

Довольный, кивнул старик, и словно забыл об Утемисе. Снова на шамана глядит, уже серьезно так, без ехидцы в голосе, обращается:

- Правильное дело ты сделал. Здесь ему место, здесь учиться должен, чтобы народу своему пользу принести. Судьба его по-всякому обернуться может, но что должны, мы сделаем. Ранее, чем через пять лет, не выйдет он отсюда завершившим обучение свое. Но каждое лето в этот день можете приезжать к этому месту, и забирать его к себе на побывку, с тем, чтобы ровно через двадцать две луны возвращался он обратно. Попрощайся с отцом, Махамбет!

И тут снова удивился Утемис, хотя, казалось бы, чему еще тут удивляться, когда весь день одни чудеса творятся, словно в сказке волшебной, старинной. Легко, будто всю жизнь на верблюдах ездил, соскочил Махамбет с ауыта, соскользнул по богато расшитому узорами

шелковому жазы на землю, подбежал к стремяни отцовскому, прижался к носку сапога пыльного лбом, как полагается самому послушному из сыновей, молвил покорно:

- Аман бол, аке! Сениминди актаймын!

Просит, значит, отпустить все обязательства ему, будто не в обучение – на войну идет, на смерть идет! И сам отцу счастливо оставаться желает. И не хочется, но сами губы выговаривают:

- Аман бол, балам!

Благословил, значит, отец – сына. Сын же, будто только того и ждал, от сапога отпрянул, к верблюду белому вернулся, но обратно в седло залезать не стал, дождался, пока старик развернет великана своего, за край потника ухватился, да так пешком, рядышком, и ушел в дрожащее марево. Миг, другой, моргнул Утемис: и уж нет ни старика на белом верблюде, ни Махамбета. А остались только он сам, да шаман, у которого глаза отчего-то блестят влагой, чему никто еще и никогда в этой жестокой степи свидетелем не был.

+ + +

*Снегом вьюга хоть закружит,
Разве заросли завьюжит?!
Кто с одеждой тёплой дружен,
побойтся разве стужи?!
Устоит пред вероломством
стяг над домом без потомства?!
Там, где пал скакун на скачках,
без уместен старой клячи?!
Тех, кто страх и робость пряча,
хоть и чуя неудачу,
неосознанно иль зряче,
бросив жён, детей, покой
всё же шли на смертный бой,
как нам можно обозначить:
как безбожников, героев
или, может быть, иначе?*

Махамбет Утемисулы – «Если вдруг закружит вьюга»

(перевод Б.Карашина)

+ + +

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

БЕКЕТ АТА

Ворон бегаёт по заснеженному огороду, оставляя следы. Может ведь летать, так нет же, бегаёт. Издевается! Я хожу с мотыгой, убираю снег с дорожек между грядками. Мог бы сейчас сидеть в теплой келье, читать книгу, или быть на уроке медитации самого ходжи На Сима. Но нет же, хожу тут, по огороду, уже простывший, нос забит, глаза слезятся, а я еще и ноги морожу, а все почему? Потому что, как и этот вот, ворон, издевался. Над таким же учеником-талибом, как и я. А я что, виноват, что тот стихи дурные пишет? Нет, ну правда, что за строчки такие:

«Я прошу наказания, ведь я виноват.

В сердце – боль и стенанья, ведь я виноват.

К очищению мне путь открывает признание,
и мое покаяние – ведь я виноват!».

Нам как-то ходжа рассказывал о шиитах, что в вечном джихаде с последователями сунны Пророка, Мир Ему, за убитых во время намаза имамов Гасана и Гусейна. Так они в день смерти этих имамов уже которое столетие себя цепями хлещут, говорят, даже получают от этого высшее наслаждение. Вот и эти стихи, будто кто сам себя отхлестать решил! Меня и понесло, когда этот стихоплет из моего же, кстати, рода, позор бершей, воистину, начал читать свои вирши. Не выдержал, прервал, переименовал под фарсидского поэта Хайяма Нишапури:

«Я испил этот кубок до дна – виноват!

И уж только за то, что желал – виноват!

Так случилось в судьбе: отрицай, признавайся...

Все равно только будешь кругом – виноват!»

Нет, ну смешно же! Все ведь рассмеялись, даже сам ходжа На Сим улыбку спрятать не смог, уж я то глазастый, заметил! А все равно велел в наказание за гордыню снег в огороде убирать. Еще проводил так, стихами:

«Даже если к стихам ты имеешь талант,

Даже если Хайям для тебя – друг и брат!

Все равно в огороде помашешь мотыгой.

Потому что гордынею ты виноват!»

А вообще мне рубаи плохо даются! Все мне кажется, что эти правила душат сам смысл, это как пытаться вогнать дыхание полной грудью в строгие дыхательные упражнения, которые мы выполняем перед каждой молитвой-намазом. Я как-то ходжу На Сима спросил: «Вот вы все время говорите, что суфий учиться сам писать правила жизни, тогда почему нас заставляете все делать по правилам? Зачем этот намаз мы совершаем по правилам суннитов, если вы сами рассказывали ривайет про Вейсея Карани, которому Пророк, Мир Ему, разрешил совершать молитву так, как тот сам считает нужным?». А ходжа мне в ответ: «Потому что Вейсель Карани УЖЕ знал, КАК надо молиться, и умел делать это настолько в совершенстве, что в поисках еще более совершенного поклонения начал искать свой путь! Прежде чем ломать правила ради создания новых, более совершенных, надобно старые выучить. Понял?». Ну, я ему ответил, что понял, мол. А он меня все равно отправил огород копать. То ли в наказание, то ли – для лучшего понимания. Какая разница, когда остальные в тепле книги читают, или дыхательные упражнения делают, а я тут с мотыгой за вороном гоняюсь?!

- А разница в том, что так в твою упрямую голову может быть войдет, наконец, мысль, что изучать правила в тепле лучше, чем зазря спорить с учителем о том, как нарушать эти самые правила! – ходжа подкрался незаметно, хотя шел ведь издалека, от здания мектеба до огорода сто шагов, никак не меньше! Как ему это удается? И он что, мысли мои читает? Нет, об этом я его спрашивать не буду, не интересно мне это. А вот что мне интересно:

- Ходжа, а разве плохо то, что я спорю? разве не в этом путь к поиску истины? Разве спорит с учителем - запрещено?

- Не запрещено... ты не отвлекайся, продолжай работать! – идет рядом со мной, словно урок ведет, смотрит себе под ноги, но я-то уже знаю, что он все замечает, меня не проведешь! Я и работаю, а он – говорит:

- Запрета на спор нет, но последствия спора с тем, кто знает правила лучше тебя, должны быть тобой усвоены. Как правило, эти последствия оборачиваются наказанием для спорщика...

- И что же теперь, значит, все же не стоит спорить? – не выдерживаю я. Зло взяло, бросил мотыгу, смотрю на него, а он хитро так улыбается в ответ:

- А это уже тебе решать! Стоит твой спор последующего наказания? Стоит истина, которую ты узнаешь, того, чтобы поморозить ноги, например?

- Стоит! Истина – она всего дороже! И нет цены, которую нельзя было бы заплатить за познание...

- Того, что снег морозит ступни, а уборка снега зимой в степи – бессмысленное занятие? Эта истина стоит твоих мучений? – все еще хитро улыбается ходжа. И тут до меня доходит. Я – баран! Нет, хуже – я осел, потому что баран хотя бы может не работать, а осла еще и работать заставляют за его глупость! Прямо как меня! Как же я сразу не понял?! Хватаю мотыгу, сдерживаю себя с трудом... дышу, как учили... самым смиренным, каким только умею, голосом выдаю в ответ:

- Истина познания того, что через терпимый холод сейчас я научусь выносить более тяжкие морозы? И если Степь находит смысл в том, чтобы посылать снег, может я найду смысл в том, чтобы убирать его? Разве не за этими, внешне бессмысленными действиями, и кроется истинный смысл всего бытия, Учитель?

Ох, как я люблю такие мгновения! Не часто они случаются, за все полгода моего пребывания в медресе это лишь третий раз, когда мне удалось такое! Ходжа смотрит на меня, и челюсть его медленно опускается. Пар от теплого дыхания выдает – и он тоже выполняет сейчас дыхательное упражнение, чтобы обуздать чувства.

- Есть такое слово у древних греков, называется «демагогия»! Ты будешь великим демагогом! – ну вот, взял себя в руки, опять какую-то каверзу выдал.

- Слово-то, небось, ругательное? – с недоверием спрашиваю.

- Ничуть, как можно! – возмущается ходжа – «Демагоги» - люди, говорящие от имени народа. Способные настолько хорошо владеть как формой речи, так и знаниями смыслов, чтобы управлять настроениями слушателей, как бы много их ни было! Впрочем... - на миг задумался, - Как ты сумел обернуть смысл урока из смешного в великое, так и народ может поступить с точностью до наоборот, обернув великое – в смешное, и возможно, когда ни будь демагог и станет словом ругательным, а те, кто владеют словом и речью, будут в меньшей чести, нежели косноязычные невежи...

«Демагог» - я пробую чужое греческое слово на вкус, и оно мне не нравится. Нет, не хочу быть демагогом! Мой родной «акын» нравится мне гораздо больше. А еще лучше – «жырау»! Есть в этом слове, в этих звуках, рвущийся от полета стрелы воздух, дрожь тетивы, и будто слышится клич воина... Я буду – жырау! А демагогов пусть греки оставят себе!

- Я буду!.. – только начинаю говорить, как ходжа прерывает меня:

- Конечно, будешь! Как желаешь, назови то, чем собираешься заняться, но суть от этого не изменится.

- Неправда, ходжа! Название важно! Имя – важно! Слово, в который мы облакаем смысл, способно изменить сам смысл!.. – спорю с учителем, яростно, от всего сердца, опять спорю, а ведь знаю, что нельзя так, но смотрит на меня в ответ ходжа взглядом чуть удивленным, и даже ласковым, улыбается, бормочет в белые усы:

- Прав был Пир, как всегда, прав. Мальчишка сердцем чует купия-тайну, суть того, что невежи называют колдовством, волшебством суфиев... - и уже громче, для меня, добавляет: - Оставь мотыгу, следуй за мной.

Сказал, и ускорил шаг, так, что бежать за ним, догонять пришлось. Вслед кричу:

- Куда пойдем, ходжа?

А он не оборачивается, не говорит ничего, только идет в направлении мечети. Зачем, ведь полуденный намаз уже совершили, а до икинди еще часа два есть?!

Недалеко от входа Учитель задерживается у дестемаз-чешме: хитрое сооружение из труб, подводящих воду от напорной башни, и белого камня, для омовения идущих на намаз. Догоняю его, оба принимаем малый абдест. Вода на морозе обжигает лицо, уши, руки, омытые по локоть, ступни, дыхание прочищается, мысли становятся яснее.

На пороге мечети – пара башмаков, кто-то из послушников каза - пропущенный из-за работы намаз отмаливает. Проходим внутрь, видим, как чья-то фигура в темном углу сежде-поклоны бьет, тихо слышатся «Кульху Аллаху эхад! Аллаху Самед! Лям Йяллид, вя лям Йюлляд, Вя Лям Йа Кюлляху в' Аллаху эхад!» - слова «Эль Ихляс», последней суры Куран-и-Керим.

Проходим мимо, дальше, идем в сторону михбара, пустой ниши, указующей в сторону Мекки, у башенки минбара-кафедры ходжа останавливается, заходит внутрь, манит меня за собой, одними губами, беззвучно произносит: «Следуй за мной». Наклоняется, приподнимает край ковра, под которым – плита с небольшим кольцом. Приподнимает, и я с удивлением обнаруживая, что крученая лестница, ведущая наверх, к площадке минбара, с которой обычно читает свою пятничную проповедь имам, идет еще и вниз.

Ходжа спускается в темноту, и я следую за ним. Странно, но в воздухе узкого, идущего под землю прохода, я не чувствую ни спертости, ни затхлости, наоборот, откуда-то дует свежий, холодный поток воздуха. Шепотом спрашиваю:

- Этот путь ведет в Мечеть Аль-Харам, Учитель?

Внутренний «двор», Мечеть Аль-Харам, куда запрещен доступ обычным послушникам, и только ходжи-учителя имеют право бывать там – считалось, что у нашей мечети ее либо вообще нет, либо она очень маленькая, и вообще находится под землей, ведь за стеной, обращенной к Кибле, в сторону Мекки, никакой другой закрытой стены с двором не пристроено! Разные слухи ходили среди учеников-талибов и послушников Белого Медресе, и вот мне, десятилетнему мальчишке, позволили прикоснуться к еще одной тайне этого удивительного места! Возбуждение охватило меня, и еще больше усилилось от ответа Учителя:

- Мечеть Аль-Харам, говоришь? Гм... ну, можно и так сказать. Тебя призвал Пир Бекет! Мы идем на зийрет к нему.

Язык мой словно присох к горлу. Ставка Пир Бекета, великого суфия, находится далеко отсюда, в Огланды, не меньше, чем неделя пути на самых быстрых лошадях, и это сколько же людей, сколько лет должны были рыть подземный ход туда? И сколько времени нам понадобится, чтобы идти туда пешком? Не ждут же нас там, под землей, лошади, в конце концов?

Мы продолжали спуск по узкой крученой лестнице вниз, под землю, я все еще ничего не мог сказать от изумления, а Учитель – он молчал, и только чалма его будто светилась внизу, в этой крошечной темноте, в которой я не мог разглядеть даже своих рук. Холодный сквозняк тянул с самого низу, но дыхание мое было чистым, и даже в горле перестало першить, хоть еще получасом ранее там, в огороде медресе, я чувствовал себя простуженным.

За мыслями о внезапном исцелении даже не заметил, как путешествие наше из спуска по лестнице превратилось в шествие по узкому коридору, все еще круто ведущему вниз... нет, вот уже и полого... почти ровно! Все еще темно, а чалма ходжи будто изнутри светится. Слышу шаги – свои, его шагов не слышно, будто ходжа не идет, плывет над странным полом этого странного коридора, отчего-то совсем не холодного, даже ноги согрелись. Может, под землей всегда так тепло? На уроках ходжа рассказывал нам о книге Абуль-Изз Исмаила Аль-Джазари, «Китаб-уль-Хаяль», в которой тот предполагал, что глубоко под землей находятся огненные моря, которые греют нашу землю изнутри. Может, мы уже спустились так глубоко, что жар этих огненных морей пересиливает морозную зиму сверху? А как вообще глубоко мы опустились? Я подумал о том, что потерял счет времени, и уже не ощущаю вокруг себя стен коридора, и даже теплой земли под ногами. Есть только прохладный сквозняк, упорно и ровно дующий в лицо, словно пытающийся помешать моему продвижению вперед, и белесое пятно – одеяние ходжи На Сима, идущего впереди меня. Весь мир исчез, пропал, собравшись в одно белесое пятно

света во тьме, и свет этот – мой Учитель, ведущий меня к моему Пиру, к вершине познания, пока еще чужой мудрости, которой предстоит стать и моей тоже...

- Верные мысли облегчают путь идущему, приближают к цели, сокращают время в дороге! – голос ходжи На Сима казался довольным, хотя и звучал приглушенно, будто говорил он со мной совсем уж издали, хотя, казалось бы, вот же он, руку протяни, и коснись туманного пятна впереди, которое – спина впереди идущего наставника. Но нет никакой спины впереди меня, а значит, нет и наставника, и даже самой руки, которой мог бы его коснуться – нет, а значит нет и ученика, есть только сознание, идущее по темному пути за туманным намеком на свет впереди.

И когда я понял это – наш путь закончился. Туманное пятно вновь стало широкой спиной ходжи На Сима, стены узкого коридора блестели потеками влаги в красноватом свете, исходившим из расширяющегося прохода впереди, а пол – вот он, под ногами, шершавый и действительно теплый. И только холодный сквозняк никуда не исчез, только усиливался с каждым шагом, уже и в самом деле создавая сопротивление, мешая идти, словно встречный подземный ветер не хотел пускать нас к проходу. Но он же и усилил, донес слова Учителя:

- Чем ближе к цели, тем сильнее сопротивление идущему.

Язык мой вновь повиновался мне, я смог разлепить, казалось, склеившиеся навеки губы, спросить в ответ:

- Почему?

- Чтобы идущий не забывал о цене, заплаченной за достижение цели. Чтобы достигший цели стал сильнее того, кто только отправился в путь. Чтобы... да откуда я могу знать, я же не Пир! Вот Пир, у него и спросишь!

Пир Бекет, великий ходжа, наставник наших наставников, учитель учителей, сидел в глубине большой подземной залы. Седьмая зала, заветная мечеть аль-Харам четвертой джаами, построенной Бекет Ата в нашей степи, в эту залу он проходил только с самыми близкими учениками, или особыми гостями из числа паломников. Причем особенность их определял он сам, и не зависело это ни от богатства, ни от знатности рода паломника. Хану или бию могло быть отказано в посещении седьмой залы, а какого ни будь знахаря из пастухов, что травами верблюдов да овец лечит, мог святой старец сам в заветный зал проводить, и о чем там с ним беседу вел, никто не знал. Я помнил это, потому что уже был здесь. Два года назад, вместе с отцом, я был одним из тех, кого Бекет Ата, Святой Адай, взяв за руку, отвел от отца и братьев в сторону, к большому ковру, который был пологом, отделявшим залы друг от друга... Мы прошли тогда пять таких проходов, и я помню, каким изумленным взглядом провожали нас редкие мужчины и женщины, встречавшиеся нам по пути. Чем дальше мы шли, тем меньше их было. И что странно, я хорошо помню все, малейшие подробности убранства каждой залы, а вот о чем Старец говорил со мной – не помню. Вообще. Кстати, об убранстве залов – я заметил, что зал, в котором мы оказались сейчас с ходжой На Симом, отличается, совсем чуть, неуловимо, но отличается. По ощущениям, будто бы я там, вот, и стены те же, белый известняк, и ковры, будто не менявшиеся со времени двухлетней давности паломничества, но все мои чувства кричали мне, что мы в совсем ином месте, и место это находится так же далеко от Огланды, как и от нашего Ак Медресе, что остался в Сарайшыке.

- Потому что ты в кармане Мира, мальчик! – голос Старца ничуть не изменился, и если я и забыл, о чем мы с ним говорили, то уж сам голос не забыл бы и не забуду никогда! Сухой, но при этом полный силы, и тяжелый, как шуршание снежных сугробов, пластами сходящих со своего места от собственной же тяжести после первого большого снегопада на пастбищах-кыстау в Индерборе, куда мы отгоняем скот на зимнее кочевье. А говорит Пир Бекет быстро, будто вода речная во время весеннего паводка, и смысла в словах столько же, не удерживаются они в звуках и формах этих слов, выплескиваются прочь, переполняя, как из переполненного русла и рукавов-ериков своих Ак Жайык, того и гляди, затопят сознание, завертят в водоворотах ускользающих значений, затянут в глубину неведомую, где и потеряешься во тьме собственного невежества. Тут главное – остаться на плаву, не сдаваться, слушать, чувствовать, как реку чувствуешь, и плыть вместе с ней, не борясь почем зря растрачивая силы, но вместе с потоком идти вперед, зная, что впереди непременно будет берег понимания. И направлять себя в этом потоке, как гребками рук, движениями ног – вопросами:

- Разве есть у мира карман, Ата?

- А что же он, думаешь, мир наш, голый совсем ходит, что ли? – смеются снега и сугробы, река и половодье, несут-ведут к берегу-знанию: - Мир в пространство, как старик в зимнюю одежду, закутан, и карманов у него в одеждах не мало, знай только, ищи карман по себе, чтобы от твоего пути недалеко был. Между складками ткани одежды той – путями жизней человеческих, сквозняками чистого воздуха бродят смыслы и знания, клопами копошатся сомнения и страхи, а Мир-старик складки те в карманы скручивает, в них самые любимые свои смыслы прячет, значения складывает, чтобы клопы, значит, не заели.

- А смыслы эти, Ата, в виде залов, получается?... – робко перебиваю, стоя почти у самого михраба седьмой залы – Мечеть аль-Харам, и ощущаю себя грешником и еретиком, хотя это вроде бы не я, но сам святой в пустой нише уселся, там, где только божественной пустоте быть полагается...

- А спину да то, что пониже спины у имама, когда они во время намаза перед глазами твоими, ты, значит, за ересь не считаешь, и не смущает тебя это?! – смеется Святой Старец, и от святотатства такого в сторону святая святых – имама да намаза – меня, буяна известного, да строптивца, передергивает. А Великий Пир Бекет продолжает, говорит, потрясая само мое представление о святости: - Ты не спине имама молитву возносишь, и не пустоте в михрабе, так чего волноваться за цвета и узоры на ткани одежды Старца-Мира, когда ищешь ты возможность познать, что под тканью одежд из иллюзий и снов человеческих? Зал этот – твой сон, мое представление о том, каким этому карману выглядеть должно тем, кого я сюда провести смогу. Потому как настоящая Мечеть аль-Харам моего храма там, в Огланды осталась, а это – точное подобие ее, в кармане мира, куда привел вас мой зов, да твои с наставником стремления к познанию истины.

- Далеко ли мы от Огланды, Ата? – спрашиваю, а сам своей дерзости дивлюсь. Пир Бекет же только улыбается, точно знаю, что улыбается, хотя не могу и разглядеть лица его от игры теней, который в этой зале из иллюзии белого известняка больше, чем света от небольшого светильника, что за спиной Старца в глуби михраба расположенным вдруг оказался.

- Слышишь, На Сим, а правильные вопросы задает мальчишка! Не ошибся я в нем! – довольный звучит голос Бекет Ата. В ответ ходжа ворчит недовольно:

- Да что правильно-то, Пир ходжа? Обычный у него интерес, как у всех мальчишек, чуда ему хочется, вот о чуде и спрашивает!

- Конечно! Всем в мире чуда хочется, разве ты не такой? Разве не за чудом ты пришел еще мальчишкой семилетним к Учителю Ма Лайчи в школу «Куфия»? И разве не чудом стало, что последний из живых наследников династии Мин исчез, а вместо него появился Мастер На Сим, которого до сих пор маньчжурские генералы без дрожи вспомнить не могут? – Пир Бекет обращается к ходже На Симу, вроде, , хвалит его, только в голосе теперь злой какой-то смех, а пламя в михрабе всполохами алыми, кровавыми, выше поднялось будто, и тени в зале сгущаются, пляшут по белым известняковым стенам фигурами воинов, схлестнувшихся в смертоубийственной сече.

- И почему это меня не радует? – с печальной улыбкой отвечает ходжа. И сразу вся злость исчезает, и тени пропадают, и огонь в нише михраба горит тепло, уютно, по-доброму. И голос звучит у Пир Бекета снова с прежней доброю:

- Знаю, что не радует. Потому что тебе после меня Пиром быть.

- Место твое мне не занять, Пир Бекет! Я на своем месте, в своем медресе...

- Да уж, действительно, не занять... - сокрушенно качает головой Святой Старец. – Если ты медресе все еще в речи – «своим» называешь, рано тебе. А ведь все в тебе есть для Восхождения...

- Взойти на вершину, чтобы оставить мир? Оставить их? – ходжа спорил с сам Пир Бекетом, вдруг с удивлением для себя осознал я. Значит, не я один такой дерзкий?! И злорадной змеей мелькнула мысль: «Эх, вот послал бы его сейчас Ата в огород с мотыгой, на мороз, снег убирать!»...

- Мир? Не мир, но страсти мирские! Собой одним пытаешься все прорехи в истрепавшейся ткани одежд Старца-Мира заткнуть? Нет в том смысла! Снег убираешь в зиму, вот чем ты занят, На Сим! – вдруг попенял Ата моему Наставнику, а тот возьми, да и повтори мои слова:

- Если зима находит смысл в том, чтобы снег был, то почему бы и мне не искать смысла в вечной его уборке, Великий Пир? – и улыбнулся мне ходжа На Сим ибн Насим, и так хорошо мне от этого вдруг сделалось. А Пир Бекет, вместо того, чтобы осерчать на ходжу за дерзость его в споре, да придумать наказание похлеще зимнего огорода, вдруг возьми, да и засмейся:

- Хорош ходжа, нечего сказать – своему Пиру урок дает, который сам же от своего ученика получил! А значит, не ошибся я и в этом поначалу – достоин ты зваться Пиром, и Восхождение свое, видать, давно совершил, да только не остался на вершине, вернулся в мир, к людям, к страстям.

- Мои это люди! – кивает в ответ ходжа На Сим, - Мой мир, мои страсти... Куда я от них, на какую вершину сбегу от ответственности, что всякое познание на меня возлагает? Вот, ребенок этот...

- Да, ребенок этот! – будто спохватился Бекет Ата, внимание на меня обернув. Странное дело, глаз его не вижу, лица не различу, а что смотрит на меня пристально – чувствую всей кожей. Будто самым воздухом в зале обнял меня, и ощупывает, да не тело, а саму душу, мысли мои самые потаенные перебирает теплыми, чуткими пальцами, словно

бусины на четках молитвенных. – Ребенка я сейчас видеть хотел, пока не поздно для него, на перепутье он... Иди сюда, бала!

Я подошел ближе, совсем рядом встал, но видеть самого Святого стало еще труднее – пламя оказалось прямо у него за спиной, жар аж чувствую, а вот свет померк, пропал, и стал весь Пир Бекет для меня одним темным пятном, от которого странный дух гуль-аб - розовой воды тонко так чувствуется. А Бекет Ата меня за руку берет, и я чувствую, что пальцы у него сухие, шероховатые, и кожа на них, будто истончившаяся вконец, как у совсем старых людей бывает. И голос Старца вдруг изменился, стал шелестом горькой полыни по осенней степи:

- Веры в тебе нет, одним сомнением вперед движешься. И хорошо это, и плохо. Хорошо, потому что сомнение не даст тебе с пути Судьбы твоей сбиться, всегда будешь правду искать сам, свою, и пока сомневаешься, не обманут тебя, не сведут с дороги. Но вот учить... учить тебя тяжелее будет, станешь ношей невыносимой для наставников своих, ведь школа наша, знание наше – от веры, не от сомнения, как это в обыкновении было во времена предков наших. По-хорошему, тебе бы шаману в ученики податься, но не судьба... Не Судьба!..

И вздохнул сокрушенно, так, что мне даже жалко его стало, хотя, вроде бы, он сам меня сейчас жалеет. Ну, когда старый мудрец ребенка жалеет – это-то понятно, а вот десятилетнему, еще в свой мушель-жас не вступившему, куда старца жалеть, да еще и Святого? А мне его все равно жалко. И я говорю, искренне, от всего своего сердца, которое с таким жаром стучит сейчас, будто стенки тюрьмы-судьбы, мне написанной, разбить пытается:

- Я поверю, Ата! Обещаю, я сильно постараюсь, и поверю, честно! Мне бы – доказательство, мне бы хоть одно чудо!..

- Чудо ему?! – возмущенно восклицает Учитель. – А прохода через карман мира тебе мало? Какое еще тебе чудо нужно, наглец малолетний? Мотыгу бы тебе в руки, да в сад, снег разгребать, за дерзость твою!

- Не ругай мальчишку, - шелестит голос Пир Бекета. – Он тебе помочь пытается, твою дорогу облегчить. Не умом, так сердцем чувствует, какой груз ты на себя валишь ради его народа, который стал для тебя – своим...

- За свой выбор я сам в ответе! А он пускай... он! – и вдруг прервался ходжа На Сим, будто ком сглотнул мой наставник, и уже другим голосом, сиплым, продолжил, и слышался в голосе том какой-то страх, что ли? – Что увидел ты, Пир Бекет? Что в будущем мальчика такого ты узрел? Открыта тебе Книга Бытия, и ведаешь...

Бекет Ата ответил устало, чуть слышно:

- Ничего я не ведаю теперь. Вот уже третий день – ничего не ведаю про будущее. Я сам теперь – часть прошлого, в настоящем я - то есть, то ли нет, и то – по вере обращающегося ко мне, а уж грядущее мне теперь и давно закрыто. Только чувствовать могу, что Судьбу свою верой мальчишка этот изменит... изменил... К лучшему ль, к худу – не знаю. Но сделаю то, что должен, то, зачем позвал.

Замолчал Бекет Ата, будто вздохнул тяжело, а вдоха-то и не слышно, тишина одна, сухая, такая, наверное, только тут, в кармане мира бывает. А сам, смотрю, рукой по одеждам

шарит, будто карман ищет. Что-то извлекает, кажется – не поймешь ведь в этой мешанине теней и силуэтов, хоть и близко стою, а будто сон вижу наяву.

- Три подарка я тебе сделаю, мальчик. Первый – это знание о карманах мира. Судьба твоя великая, значит, и враги сильные будут. Уставать будешь на пути своем, усталому же путнику нужно всегда место укромное – схорониться, передохнуть... Никто тебя не поймает – если сам не захочешь пойманным быть.

Сказал, и в ладонь мне бусину положил – камушек обкатанный. Такие камушки в степях Мангышлака часто встречаются, говорят, это от того, что раньше степь наша дном великого моря была. Камушек в ладонь мою словно впечатался, будто след оставил. А Пир Бекет продолжал:

- Второй подарок советом будет. Слушай меня внимательно, от этого судьба твоя зависит. Сомнения своего не теряй, мальчик! Степняком родился, значит в сомнении извечном сила твоя, в вечном поиске истины, правды, человеческой ли, всего ли мира, от земли и до неба – всегда ищи, и поиск твой вечным должен быть. Путь веры слепой не для тебя, и не для народа нашего, это я еще понял, когда настоящее для меня в будущее не обратилось. Не верь – знай! А потому – учись, и учебы не бросай ни за что! Пусть мучением станешь ты для наставников своих, пусть невыносимо тяжелой будет ноша эта для учителей, что неверующему знания давать возьмутся, но в том залог истинного познания, чтобы дети наши лучше отцов жили. Слепая вера в прошлое смотрит, сомнение же – вперед ведет, знание рождает. Через сомнение мир принять – тяжело, но достойно мудреца и батыра, через веру слепую с миром мириться – удел слабого человечка-пенде! Какие бы блага тебе не предлагали в жизни – сомневайся. Надежны для степняка степь под ногами коня, да небо над твоей головой, но и они надежны – здесь и сейчас. Помни, что и степь когда-то была морем, а небо может закрыться тучами и ударить грозой.

- На что же тогда опираться, Ата? – спрашиваю, потому что растерялся. А Старец вот, он не теряется, сразу ответ находит:

- А на что ты всегда опирался? На себя, на сердце свое, на понимание того, что верно, что правильно, ведь знаешь ты, где у тебя рука правая, чувствуешь, где сердце твое стучит, и что его биться заставляет. Простые знания – самая верная опора для степняка. И если чувствуешь, что говорят тебе что-то, пытаются обосновать это самым правильным, единственно верным, то помни, что нет у степняка единственно верных путей, ведь вся степь перед ним, все дороги открыты, и единственный, как тебе говорят, путь, может оказаться нужным не тебе, но тем, кто тебе его предлагает. Выбирай свою дорогу сам, бала... через сомнение – выбирай.

Сказал, и еще одну бусинку в ладонь мне вложил-впечатал. А я сжимаю бусинки в руке, чувствую, как они трутся друг о дружку, уютно, будто знакомятся. Бекет Ата же продолжает:

- Третий подарок будет исполнением твоего желания. Чуда ты просил, бала, чудо и получишь. Вернее – доказательство его. Пойдешь вместе с наставником своим через этот полог. Увидишь то, чего, как тебе казалось, быть не может, не должно. Поверишь. Только не вздумай на чудо это опираться, чтобы веру обрести. Только – знание твой путь. Только – знание! Иди же теперь. Веди его, На Сим!

Последнее – это он уже Учителю. А тот смотрит недоверчиво, блики от сполохов огня в михрабе на лице играют, и кажется мне, что ходжа сейчас сердится.

- Как обратно вернемся, Пир Бекет? Или второе чудо на меня возложить решил? Знаешь ведь, не люблю я этого...

- А ученика своего любишь? Хочешь, чтобы остался он с тобой? Так яви ему чудо! Пусть поверит в тебя! Хотя бы – в тебя! – сказал Старец, и вбил мне в ладошку третью бусину-камушек. Как будто огнем ожгло ладонь, таким чужим он показался в моей руке, этот третий подарок Пир Бекета, Великого Старца, мудреца суфийского, что сам храмы веры строит, а меня к сомнению призывает. А я смотрю на своего учителя, и вдруг понимаю, как они с шаманом похожи. Оба против своих учителей пошли, надежды их не оправдали, только шаман мой – мне понятнее, яснее. Вот, как Бекет Ата сказал, сердцем чувствую, как свою правую руку ощущаю, что шаман делает, чего хочет. А ходжа – как будто потерянный, между тем, что его школа требует, и тем, во что он верит. Как будто на холодном камне цветок вырос, так и его путь к истине из холодной, будто чужой ему веры растет. Но растет, и это уже – чудо. Видимо, за таким чудом и шел он когда-то, когда был мальчиком, как я... об этом, наверное, Бекет Ата рассказывал...

- Идем! – ходжа подошел ко мне, взял за другую руку, а мне руку Пир Бекета отпускать отчего-то не хочется. Он сам отпустил, добавил:

- Хочешь чудо узреть, умей отпускать то, за что до того держался, что отпускать меньше всего хотел. Иначе никогда чуда и не получишь, останешься с тем, что имеешь.

- А если то, что я в руке своей держу, уже само и есть чудо? – вырвался у меня вопрос, который я даже задавать не думал. Усмехнулся Бекет Ата, я его лица не вижу, но чувствую, улыбается мне:

- Умный мальчик! Но иногда чудеса, что мы имеем, могут сами от нас уходить. С этим тебе тоже предстоит научиться жить. Иди...

- Мы еще встретимся, Ата? – это я уже через плечо ему, чуть ли не кричу, голос мой среди стен белых мечется, сполохи огня в михрабе вторят ему, светом алым да тенями подтанцовывают, а ходжа тянет, тащит меня прочь от Пир Бекета, к которому сам и привел, в сторону прочь от михраба, к ковру пологу, что должен вести в соседнюю, шестую залу подземной мечети в Огланды, какой я ее помню... Не успеваю услышать ответ, учитель полог откинул, прошел, и меня за собой...

Вот и встретились! Не в шестой я зале, а все еще в седьмой, но теперь – самой настоящей, реальной, такой, какой она должна быть по моим воспоминаниям с первого зиярета в это место два года назад. Все так, все правильно – чувства мои не обманывают меня! Вот и Бекет Ата здесь! Только...

Лежит, закутанный в саван белый, а лицо такое, словно спит, но ходит вокруг имам с маленьким кумис куманом – серебряным кувшинчиком для благовоний, обрызгивает тело Пир Бекета гуль-абом, розовой водой, отчего цветочный дух по всей зале стоит, но не тяжел он, как то обычно бывает на похоронах, а будто настоящий розовый куст расцвел, и аромат источает. Я такой куст дикой степной розы в степях близ Уральска видел, хотя всего один раз там был, мы ездили с отцом на большой праздник-той в кочевье Бокейхана... я запомнил этот аромат на всю свою жизнь, и сейчас он снова вернулся ко мне, как запах самого раннего детства. Только вокруг не было весны – даже тут, под землей, чувствовалась зима, царившая снаружи. И праздника не было – потому что здесь прощались с телом Пира Бекета... моего Бекет Ата! Мне казалось правильным – Ата ведь

сказал мне, чтобы я делал только то, что считаю сердцем правильным! – думать так. Не с ним самим, но с телом прощались люди, собравшиеся тут. Хотя и не все!

Вот, плачет невестка Великого Целителя – немолодая уже женщина, жена его старшего сына, та самая, которая доила кобылицу, из-за чего Пир Бекет опоздал открыть карман в Бухару и Самарканд, где его ждали больные в надежде на исцеление. Это я сейчас понимал про карман, а в легенде, которую повторял каждый новичок-послушник в Ак Медресе, это называли чудом. Чудесным считалась способность суфийского Пира, наставника наших наставников, за одно утро появляться у ворот трех разных мечетей – от Самарканда и Хорезма до Азова, чтобы исцелить страждущих. Эта женщина сейчас плакала искренне, она раскачивалась на одном месте, судорожно сжимая натруженные руки степнячки, издавая протяжный, высокий, еле слышный вой, который поглощали темные ковры, развешанные по белым стенам седьмой залы. Она прощалась со своим свекром, и, хотя при жизни его тела становилась каждый день свидетелем чудес, что он творил, сейчас она забыла обо всех них, и не могла уверовать в самое главное чудо, о котором я начинал догадываться сейчас!

Имам, что окропляет розовой водой тело, которое покинул могучий дух – он прощается искренне, хотя совсем не плачет. Я будто чувствую его мысли, деловито-спокойные, соразмеряющие выгоду от того, что не будет больше чудес, смущающих умы, нуждающихся в объяснениях богословов-недоучек, все жизненные заботы которых сведены к службе политике ханов, и собственной наживе. Он никогда не признается в этом, но на самом деле сердце его довольно тем, что беспокойный Пир Бекет ушел из настоящего – в прошлое, а особенно доволен своей ролью во всем этом спектакле: ведь именно он выполняет этот важный с точки зрения его веры обряд. И на всю свою жизнь теперь, благодаря этой роли, он обеспечен почетом, уважением, лучшими кусками мяса с чужих дастарханов, первой пиалой чая, и самым богатым халатом-шапаном на тоях-праздниках!

Так где же тут обещанное чудо? Нет здесь чудес, а есть только люди, обыкновенные, какими они всегда и были, со зрячими глазами и слепыми душами, живущие среди чудес, но не способные их разглядеть, меняющие богатство множества путей к Истине на свое жалкое представление о том, что есть настоящее, что во времени, что в мире вокруг.

Ходжа На Сим будто мысли прочитал:

- Что, не видишь обещанного чуда? И не увидишь! Не здесь оно. Идем, дальше идем. Чудо не здесь тебя ждет...

Отодвигает полог, ведет меня дальше, через шестую залу, пятую, четвертую... Мы проходим через залы, полные людей, но я уже погружен в свои мысли. Мне десять лет, но я кажусь себе старым. Мне не кажется чудом знание о карманах мира. Я не поражен тем, что говорил с аруахом Пир Бекета, когда в Мечети Аль-Харам омывали его тело. Что со мной не так? Чего я хочу достичь через свое сомнение, на что буду опираться, если во мне нет веры, которая сделала Пир Бекета и ходжу На Сима такими сильными? Ведь они сильнее моего друга- старика шамана, разве нет? Или я чего-то еще не знаю?

- Ты ничего не знаешь, мальчишка! И прекрати думать вслух, однажды тебя это или погубит, или сделает поэтом... или и то, и другое одновременно!

Учитель смотрит на меня рассерженно, даже остановился, бурчит недовольно:

- Нет, это же надо иметь такую наглость, а? Дух Пир Бекета, проход через карман мира его не заставлял так с разинутым от удивления ртом стоять, как знание о том, что ходжа не мысли его читает, а это он сам такой дурак, что вслух думает, да?

Действительно, рот у меня разинут, в ответ только киваю. Ходжа опять тянет за собой:

- Пошли, я тебе еще чудо показать должен настоящее. А потом – домой, скоро время намаза, мне за имама стоять сегодня!

Покорно плетусь за ним, воздух вокруг все свежее с каждой пройденной залой, приближающей нас к выходу из подземной мечети. Прохлада зимнего дыхания словно прочищает мне ум, я начинаю замечать, что людей вокруг не меньше, и еще замечаю что-то особенное, отличное от того, что видел в Мечеть Аль-Харам...

Вышли к свету внезапно, солнце отражается от снежного покрова гор и холмов вокруг, безжалостно режет глаза, и даже мысли, рассекая, заставляя их прерваться, чтобы смениться новой: здесь и есть настоящее ЧУДО!

Разноцветными пятнам по снегам разбросаны сотни... нет – тысячи паломников! Они молятся, закрыв глаза. И – никто из них НЕ ПРОЩАЕТСЯ! Они молятся, а я будто слышу их мольбы, просьбы, обращенные не к Богу пороков Ибрахима и Нуха, и всех прочих, неизвестных мне батыров пустынных бедуинов, но к аруаху Пир Бекета. И у каждого – своя просьба, своя беда, своя болезнь, и с каждым здесь Пир Бекет говорит, не словами, но сердцем говорит, внушая успокоение, и если хватает сил его, ограниченных лишь тем, что он теперь уже только в прошлом, то помогает. Если же выше сил его беда, то дарит хотя бы возможность примирения с потерей. Но не в этом истинное чудо – ведь еще от шамана знаю я силу аруахов моей Степи, и знаю, на что способен дух суфия, сумевшего изучить школу прошлого, разрушившего правила в настоящем, и заложившего фундамент школы новой – для будущего. Знаю, и потому не поражаюсь этому, я, десятилетний старик, рожденный куда-то там для духов Степи, и примирившийся со своей судьбой, но не с судьбой моего народа.

Народ и его ВЕРА – вот ЧУДО, изумляющее меня, вот настоящий третий подарок от Бекет Ата. Третий камень-бусина в ладони обжигает кожу, два других сопротивляются ему, пытаются охладить, но он сильнее, он спорит, бьется с ними, в нем не знание, но ЧУДО, и рождающаяся от этого чуда – ВЕРА! Та вера, на которую я могу опереться, вера на лучшее, чтобы ни случилось, живущая в людях, вера в лучшее в них самих, ведь знают же они, знают, не могут не знать!

Воздух морозный пробрался до самого горла, вновь першит оно, и сиплым голосом спрашиваю я Учителя:

- Когда, ходжа?... Когда он умер?

Учитель, щурясь от слепящих лучей зимнего дня, не смотрит на меня, отвечает рассеянно:

- Да уж третий день сегодня... до заката тело земле предадут... Что, узрел, наконец, чудо свое?

Наконец-то, обернулся ко мне, посмотрел в лицо мое, присел, взял за плечи, за руки, сжал в своих, больших, таких нужных мне сейчас, добрых руках наставника, заговорил:

- Опасный это подарок, мальчик мой, потому как с первыми двумя его дарами не дружен, вразрез, против них, как великая разрушающая сила – против несокрушимого щита, и что

из них – разрушение, а что – щит, каждый раз меняется. Знание ли, или вера, сомнение, или ощущение истинности выбора – каждый раз меняются они местами, всегда в борьбе между собой, и для твоего юного разума, боюсь, рано этот груз принимать, но Пир Бекету видней, а может, позже он просто не смог бы уже так, чтобы сумел ты коснуться его, дары принять не только умом, но и сердцем... Мы ведь тоже не всеильны, и победа над смертью телесной даже самому могучему духу нелегко дается. Так что принимай дары, пользуйся ими с осторожностью, и если сумеешь ты примирить в себе их силу, то исполнишь и судьбу свое, предназначение. А если не сможешь – быть тебе учителем, как мне, как многим, кто если не словом, так хотя бы всей своей жизнью урок людям преподнесет... Понимаешь?

Нет, не понимаю – качаю я головой, уже не в силах сказать простуженным горлом ни слова. Ум десятилетнего старика, кажется мне, сейчас сломается, как хребет белого верблюжонка, нагруженного целым остовом юрты, грузом, какой только большому, взрослому нару-туйе поднять возможно. Я чувствую, как мир вокруг меня начинает кружиться, и жар от камушка в руке распространяется по всему телу, горят уже щеки, лоб, глаза слезятся, и все в них туманится...

Напоследок, прежде чем потерять сознание, слышу, как Учитель бормочет, вроде сердито, но в голосе его только страх: - Некогда церемониться! Давно я этого не делал... Ох, старик, тяжек же твой прощальный подарок, ну да ладно...

Захлопывается ткань одежды мира, сворачивается складками, будто постирали ее, а теперь перекручивают, чтобы вывесить да высушить бельем на морозном ветру, из провала в темноту кармана мира рвется злой и холодный ветер-сопротивление Идущему-К-Цели, но тепло в руках Наставника защищает меня, а мигом позже и жар от третьего камня, сжатого в ладони, из болезненно-жгучего превращается в целебный, и вновь простуды – как не бывало, и слезы в глазах высохли, но без толку, потому что весь этот долгий миг – тьма вокруг меня. Тьма, какая бывает только в кармане мира...

Наставник и вправду не стал церемониться, открывая карман, вернувший нас в Ак Медресе, а может, и не карман это был, а самый что ни на есть разрыв-прореха в одеждах старика-мироздания. Потому как тьма сменяется светом – резким, белым... да не сплошь. Вон, темными черточками – следы ворона, издевательски прыгающего по не тронутому снежному настилу на дорожках нашего огорода. И мотыга моя, так и лежит, там же, где и бросил. И только ноги не мерзнут, потому что Учитель держит меня на руках, и несет в кунак-уй, гостевой дом, где моя келья талиба, мои книги, и может быть – горячий чай, который сейчас для меня дороже любого, самого большого чуда.

А ворон так и продолжает бегать по снегу. Может ведь полететь, дурачок. Но нет – бегаёт. Прямо как мы. Люди.

+++

*Аргамак, тебя я холил,
охранял от бед и хвори,
чуял: чутки твои уши.
Азамат¹ тебя берёг,
видно, зная наперёд, -*

*ты окажешься, мне нужен.
...Бег коня, коль он от клячи,
все равно, что бег ишачий.
Прыть же – свойство аргамака.*

*Он, услышав зов из мрака,
словно плеть, себя стегая,
страстно и нетерпеливо,
добежит, не уставая,
хоть до самого Едиля.*

*Если дружен с благородным
в час твой трудный и тревожный -
он придет, имей в виду,
отвести твою беду.*

*Если дружен с недостойным
в час всеобще беспокойный,
коль окажешься в беде, -
не придет помочь тебе,
постарается продать,
опорочить, оболгать.*

*...На поле битвы
жизнь жигита – это конь.*

*Сабля - сила стали,
сила духа и огонь.*

*В чем же смысл высшей чести,
чести чистой, безупречной?
- Смерть приняв с героем вместе,
подвести всему итог.*

*...Символ жизни скоротечной –
увядающий цветок.*

Махамбет Утемисулы – «Аргамак, тебя я холил»

(перевод Б.Карашина)

+ + +

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

ХАНСКИЙ ТОЙ

В Сарайчик специально ради меня привезли нового коня. Конь был хорош – крепконогий, лобастый, и черный, как перо ворона, который живет у нас в саду при Медресе. Он на все побережье, кажется, один такой, как и я – на весь свой аул. Хотя ходжа На Сим и говорит постоянно, чтобы я не льстил себе, мол, у нас весь Медресе из таких же, особенных, но я-то чувствую! Они же почти все – верят, и только я во всем сомневаюсь!

Это еще в первое посещение было, когда Бекет Ата заметил зерна сомнения во мне, восьмилетнем мальчишке, которого взял с собой на зийрет-паломничество отец, увидел, как эти зерна пускают ростки, да и придал этому особое значение. Жаль только, отец этого значения словам старца не придал, а может, тот мулла подсобил, отвлек, увел в сторону мысли старосты кочевья, потому как с ним, главным, почитай, на все аулы в устье Ак Жайыка, Бекет Ата и вовсе говорить не стал, кивнул равнодушно на все славословия, и все драгоценное, такое короткое время, уделил этому малолетнему буяну. Из этих зерен и начали прорасти мысли, за которые мулла непременно обозвал бы меня еретиком-кафиром, и только старый шаман, суфий-недоучка, понимал мои сомнения, пытался, как мог, ответить на вопросы, которых было так много... Гораздо больше ответов, которые мог предложить ему человек, оставивший обучение ради моей, Махамбета, судьбы.

А еще был тот странный зиярет в Белую Мечеть прошлой зимой. От того посещения остались три камушка-бусины, из которых я сделал себе таспех - четки для намаза. Каждый раз, когда я совершаю молитву, два камня из трех даров Пир Бекета напоминают мне, словно сура Куран-и-Керима: «Во имя Создателя миров и тебя в них - учись!». И только третья, будто спорит, слегка обжигая каждый раз, как пальцы доходят на тридцать третьем «субхан-Аллах» до ее такой гладкой поверхности – «Верь!».

Эта третья бусина из подарка Пир Бекета на моих молитвенных четках – единственная, отзывающаяся жжением при словах «Эльхам-дуль-Иллях!» и «Аллаху акбар!». Первые две никогда себя так не проявляют, всегда прохладные, шершавые от многочисленных трещинок и выемок, они лишь напоминают мне о необходимости сомнения, ведущего к истине. Только третья, такая цельная, без единого изъяна, как и должно быть вере, будто говорит со мной. Сам ходжа Насим помогал мне сделать эти четки, и прочитал тогда стихи своего почти что тезки из Страны Огней, что находится по ту сторону Хазара:

Во мне вместятся оба мира,

Но я и в мире не вмещусь.

Я – суть, я не имею места,

И в бытие я не вмещусь

Все то, что было, есть, и будет –

Все воплощается во мне.

Не спрашивай – иди за мною.

Я – в объяснение не вмещусь.

Я спросил тогда:

- Кто написал эти строки, Учитель?

- Человек, который отказался брать в руки оружие, чтобы защитить свой край от захватчиков, пришедших под флагом веры...

- Он был трусом? – удивляюсь я.

- Он сам стал оружием. Великий суфийский наставник, он шел в белых одеждах по земле, и там, где он появлялся, там, где звучали его стихи, люди восставали против захватчиков, так же, как и он – без оружия... Хотя кое-кто оружие все-таки брал... Не важно, главное, что захватчик не мог завоевать эти земли, не мог добиться подчинения и порабощения людей, там живших, пока звучали стихи Имамеддина Насими. И тогда с него содрали кожу!

- Заживо? – спрашиваю я, а у самого рука тянется к шилу, словно к мечу-ханжару, который мне хочется вонзить в грудь врагам, убивающим великого суфия.

- Конечно же заживо! И в этом, кстати, была их ошибка! Страдания порождают святых, поэтому смерть сделала его Пиром, и настал день, когда захватчики не просто потеряли власть над Страной Огней, родиной Насими, но сами были захвачены... кстати, твоими предками!

- Моими?..

- Мальчик, когда-то твои прадеды держали мир в страхе, и сам Старец в Вечном Городе, глава последователей пророка Исы, мир Ему, преклонял колени перед твоими дальними предками. Но великое прошлое затмило ум ханов, они стали жить одним этим величием, постепенно отдаляясь от настоящего, и потому теряя будущее. И настал тот день, когда степняк забыл, как строить города, потому что каждое прежнее поколение рассказывало молодым, какими великим были города прежнего, и страх быть хуже предков сковал руки молодым. Степняк забыл, как ковать железо, потому что скованные страхом руки не создадут верного оружия. Степняк перестал выбирать ханов, вознося их на белую кошму, но согласился передавать ханский байтерек по наследию... И однажды твой народ обнаружил себя на коленях, просящим защиты у большого северного соседа, который сам всему научился у других народов, и потому смог стать сильнее, чем те, кому платил дань триста лет. И уже губернатор северного царя назначает вам ханов и биев, и чертит границы ваших пастбищ.

Возмутился я тогда, вскочил с места, да так резко, что рассыпал по глиняному полу бусины еще не собранных четок:

- Да как же так? Неужели старцы были настолько глупы, что своими руками отдали свою свободу, свою независимость, свое право самим править своим народом? Это же просто... просто... невыгодно!

Морщится ходжа, еще бы, почти закончил четки собирать, а теперь все начинай сначала! Но недовольства в голосе нет у него, отвечает спокойно, даже чуть насмешливо:

- Правильное слово использовал ты, мальчик. Не выгодно им это было. Но и ранее верно сказал, насчет глупости. Да, глупы они были. Жажда вечной жизни, пусть фальшивой, лживой, оглупила их. Чем дольше человек у власти, тем меньше ему хочется ее уступать молодым. А ведь в том залог развития, движения вперед, залог самой жизни! Молодость должна приходить на смену старости, иначе омертвевает племя, народ, станет слабым. Старые ханы держались за прошлое, ломая грузом памяти о великих победах хребет молодым, почитание к мудрости, приходящей с возрастом, превратилось в преклонение перед самой старостью, которая порой не всегда мудра, а уж на закате и вовсе способна быть глупей младенца. Жажда власти убивает любовь к единственному источнику истинного бессмертия, доступного человеку – к своим детям, и тот, кто испытал эту жажду, готов собственным наследникам на спины железной пятой наступить, только бы удержаться на вершине, ближе к солнечному теплу, как ему кажется, ведь не греет уже старика тепло собственного усталого тела, но лжива эта иллюзия, ведь чем выше возносишься в небеса, думая, что идешь к солнцу, тем, на самом деле, холоднее. Не желает верить обуянный жаждой власти старик в собственную смертность, до последнего держится, подминая под слабеющие ноги свои молодость и силу потомков, а когда все же случается неизбежное, и уходит он из тела своего, то оставляет за собой печальное наследие: выродившееся племя, сломленное духом и телом, не верящее в собственное будущее, и живущее одним величием прошлого. От истинной выгоды отказывается ослепленный властью, ради выгоды лживой.

- Но как быть теперь?

- Это ты меня спрашиваешь? Твоя судьба с этим разбираться, вот ты и решишь, как быть. Только сначала обучись! – смеется Учитель. А мне не смешно!

- Разве я плохо учусь? Я же... да я самый успешный из всех учеников, ходжа, я слышал, вы сами говорили!..

- Зря говорил. Не в том смысле, что неправда, а в том, что зря так громко, что ты об этом услышал. Хотя... предупреждал же Пир Бекет, что намучаюсь я с тобой... Да, многое у тебя хорошо получается. Особенно в науке сложения стихов силен, к истории способен, но вот терпения тебе не хватает, и слишком самоуверен ты, замечаю ведь, порой не готовишься даже к занятиям, все благодаря уму да смекалке на месте решаешь, ленишься порой так, что стыдно аж за тебя...

Учитель говорил, а мне было обидно! Нет, я конечно, не стал за эти годы настолько знающим, илим-познание еще только открывают мне первые страницы великой книги бытия, и здесь, в медресе, я не получил всех ответов на свои вопросы, наоборот, их становится только больше, но уже сейчас я понимаю, как и где искать эти ответы. Старый шаман отказался от этого пути, выбрав другой, он идет древней дорогой предков, искавших истину не через сомнение, в знаниях, но через сердце и чувства. На самом деле он не так и далек от мулл, несущих нам в Степь учение Пустыни – все они обращаются к слепой вере, опираются на нее, требуют ее, не предлагая объяснений. Этот путь проще, он даже мне – ближе и понятней. Здесь же, в Ак Медресе, меня заставляют укрощать свой дух, и в покое Великой Пустоты искать первопричины, не отвлекаясь на следствия. Ходжа говорит: «Кто владеет родником – тот управляет рекой». Я должен овладеть родником знаний, и может быть тогда я смогу управлять рекой не только своей жизни, которую шаман считает определившейся, решенной не мной, но за меня, вместо меня!

Вот, и на этот раз, отец решил, что я должен присутствовать на свадьбе Хана Жангира – старший сын старого Бокея вот-вот примет от отца власть, станет наследником всей Орды, возьмется за рукоять ханского байтерека – править судьбу Степи, как это делал его отец. Решил за меня, и вот, прислал этого коня, и братьев моих, чтобы они сопровождали меня в наш аул, откуда уже всей семьей-кочевьем мы направимся на ханский той.

Я стою у самых ворот нашего Медресе, глажу коня по его жесткой на вид, и такой мягкой на ощупь гриве. Там, поодаль, верхом на своих лошадях – мои братья: Хасен и Смаил, и старый шаман с ними, смотрит в мою сторону, щурится. С их стороны не видно ни белых стен Медресе, ни арки ворот, распахнутых сейчас. Даже шаман не может ничего увидеть, если ходжа На Сим того не позволит, а он не позволит. Сердит очень. Когда братья приехали, привезли наказ от отца, старый суфий впервые на моей памяти выругался. Я удивился, а один из младших подвижников объяснил мне, что это у них, у Пиров, просветленных духом – обычное дело, потому как они таким образом могут тайные силы своего духа упорядочивать и направлять, и даже умеют в обычных человеческих страстях черпать могучую силу для сотворения чудес, а нам – нам запрещено, потому как мы еще ученики неразумные, только начавшие свой путь, и вообще: всяк талиб-студент – знай свой дерс-урок, суфию – суфиево, а подвижнику – мотыгу в руки, и иди огород медресе полоть! Так ходжа На Сим велел, сказал: у меня с Утемисом договор, я ему могу только кости сына послать, а мясо – себе оставить, так что нечего тут из-за тоя, пусть даже и ханского, обучение прерывать!

Но брат мой Хасен стоит у ворот медресе, уже целый день стоит под солнцепеком, потому как строго велел ему отец без меня не возвращаться. Знает старый Утемис, отец мой, владетельный староста кочевья своего, что нельзя идти против обещанья своего, вот и не идет, вместо себя – сына посылает, того, кто меня не раз от его гнева собой прикрывал, и ради которого могу я пойти против учителей своих, и даже против его, отцова, собственного обещания, данного моим наставникам. Хитер старый Утемис, а как иначе? Нынче в степи хитрость правит, без нее не то что в старосты аула, в чабаны не выбиться! И я бросаю мотыгу в огороде, и прерываю каза-наказание, данное учителем мне за вину, которая не на мне лежит – ведь негоже сыну за грехи отца наказание нести, но раз уж не признающий себя Пиром наставник мой, мудрейший На Сим, правила нарушает, то что с меня, простого талиба, взять? Нечего взять, мотыги – и той нет, осталась там же, где друг мой ворон, умеющий, но отказывающийся летать.

И я, могущий остаться здесь, уже принял решение – уеду. Потому что, хотя бы это – лишь это! – будет моим решением, и только моим. Даже если именно его ожидал отец, зная мой нрав. И я вкладываю ногу в стремя...

- Не делай глупостей, сынок! – Учитель стоит прямо за спиной, насупив седые брови, смотрит на меня так, будто я ему уложение из книги Аль-Джабр с ошибками прочитал. Или, того хуже, перепутал поэмы из «Пятерицы-Хамсе» Низами Гянджеви, и вместо «Искандернаме» начал читать наизусть «Сокровищницу тайн». Но не ошибками в математике, и не забывчивость основ изящной словесности сердит нынче наставника моего, и даже не своенравность моя, ведущая наперекор его указаниям, уж к такому-то мой Учитель привык, и я привык, что часто спускает он мне дерзость, которую в обычных медресе сочли бы за неуважение, и только тут – принимают с уважением даже от самого малого талиба-ученика. Другое беспокоит его.

- Там, куда ты едешь – не делай никаких глупостей, слышишь? Не принимай никаких решений, не давай согласие ни на какие приглашения, понял меня? – Учитель будто под

нос себе бубнит, но я все слышу, и понимаю только теперь, чем обеспокоен мой наставник. Нет, не зря преемником своим хотел сделать его Пир Бекет, ведь уже восходил на вершины тайных знаний Ибн На Сим, и сам вернулся оттуда в мир страстей, но какие знания с той вершины вынес, только ему ведомо. И наверняка способность различать возможные пути Грядущего доступна ему, и значит, узрел он что-то из моего будущего, и предостерегает меня сейчас, но что может грозить мне на ханском тое – подростку, сыну аульного старосты, если даже ученичество мое в Ак Медресе – тайна для всех, кроме самых близких, да и те ничего внятного рассказать никому не смогут?! Или же?..

- Глупый! Той ли, садака-похороны ли – когда люди собираются по таким важным поводам, даже Старец-Мир может захотеть сменить старые одежды на парадные, а когда Мир меняет ткань, меняются и судьбы людские! Случаются встречи, которых не должно быть, или же время их смещается, и способна самая славная судьба – обернуться...

- Трагедией? – вот зачем это я сейчас его перебиваю? В смысле – чтобы успокоить, показать, мол, не волнуйся, ходжа, у тебя умный ученик, с твоим талибом ничего не случится, так, что ли? А Учитель того пуше сердится, да только не на то, что я перебиваю.

- Говорю же – глупец! В трагедиях есть величие, но есть нечто худшее, что может случиться с теми, кого ведет Судьба, нежели лишиться своего счастливого завершения истории, и превратить свою жизнь из драмы в трагедию! Будущий батыр встречается с дочерью бая, влюбляется, женится, заботы о сохранности и умножении добра и стад не пускают его уехать на битву, бедным, но свободным воином, и вот уже нет батыра, а есть тучный, заплывший ранним жиром бай, владелец стад и табунов, отец множества детей и муж нескольких жен, на которых у него уж и сил не хватает, и проиграна еще одна битва без своего героя, стада и табуны у детей его отнимут ставленники тех, кто победил в битве, и другим придется менять свою судьбу, отказываться от своего счастливого завершения своей жизненной истории, чтобы сделать то, от чего отказался когда-то бедный батыр, а ныне – умирающий от нехватки воздуха в заплывших жиром легких, богатый бай!..

- Это – предвидение, ходжа? – в восторге от того, что прикоснулся к еще одной грани тайного знания суфиев, я пропускаю мимо ушей смысл сказанного, но осаждаю меня наставник, будто глупого, молодого коня:

- Это – Аль-Джабр Книги Жизни, дурак, а на языке древних румов – анализ! А ты небось и карман готов подставить, думаешь, тебе богатую невесту пророчу? Эх, дурачок... - опустил учитель голову, покачал седыми космами, поднял взгляд медленно, и веско так добавил: - Никому! Ничего! Не обещай! Понял?

Не понял, но кивнул согласно. Я такой, я умный, я все быстро-быстро схватываю, что сейчас не понял – потом, по пути домыслию, главное, чтобы учитель сейчас не сердился. Он, в конце концов у меня уже не молод, ему сердиться вредно!

- Ох, вредно мне с дураками спор вести, вечно они меня на своем поле боя опытом давят, да вот, все удержаться не могу, только желчь в крови возбуждаю, как сказал бы великий Ибн Сина. Ну все, раз понял, или притворился, что понимаешь – езжай тогда, и пусть Создатель Миров будет благосклонен к тебе! Амин! Жол болсын, удачи в пути, сынок!

Сказал, и повернулся, и пошел в сторону мечети. А я смотрел ему вслед, и отчего-то слезы на глаза наворачивались, хотя что тут страшного происходит-то, если не будет у меня на ханском тое никакой богатой невесты? Судьба моя при мне останется, на свадьбе свое отсижу, бешпармак поем, с казы, плова ханского отведаю, кумыс-шубат попью, и обратно,

в медресе, к книгам, к Наставнику, огороду, с мотыгой и вороном... к своей Судьбе! А пока – поехали на свадьбу-той – судьбу ханского сына решать!

+ + +

От Сарайчика выезжаем осторожно, едем – оглядываемся, нет ли разъездов казачьих, потому как все еще на землях Войска Уральского мы, где казак яицкий лютует, степняка к Жайыку не пускает, а вот верст через полста в сторону Едиля-реки хорониться перестаем. Гордо едем через степь, смело, никого не боимся – у брата Хасена бумага есть от самого хана Бокея, которого царь ресейский, Искандер Первый, три года назад своим фарманом в ханы возвел, границы Орды Бокеевской в ней определил, и так уж вышло, что мы теперь в границах этих, как за пазухой ханского шапана, никакой казачий разъезд нам не страшен, вот ведь как! Брат Смаил песню поет, шаман ему подпевает, и мне радостно – давно в степь не выезжал, за книгами в Ак Медресе, да бесконечной работой талиба-послушника забываешь, как выглядит огромный мир вокруг тебя! А мир этот – бесконечный, без границ, стоит только подальше от берега Жайыка отъехать, чтобы пропали за горизонтом леса тугайные, и осталась одна только ровная, бескрайняя, великая Степь!

Лето только началось, и Степь наша покрыта золотом от желтой травы, уже выгоревшей от бесконечной, жаркой любви солнечных лучей, но еще не успевшей покрыться пылью, пожухнуть, стать грязной серо-желтой, и сейчас она самая живая, полная явной борьбы, которой предстоит определить, кому оставаться в степи живым, а кому обратиться в пищу для живущих. Лисица гонит суслика, опаздывает, и остается сторожить у норки, в надежде дожидаться неосторожного зверька, заяц-коян промчится, дразня, соблазняя оставить засаду, и не выдерживает рыжая охотница, бросается за ушастым, и упускает миг, когда мелкий грызун высовывает осторожно голову из норки, оглядывается – нет ли степной охотницы, не сторожит ли? Нет ее, но вот из пожухлой травы серой молнией взвивается лента, чешуйчатым пятнистым чулком натягивается на трепыхающееся тельце, и вот уже лежит змея-полоз на солнышке, греется, переваривает, ведать не ведает, что там в вышине, беркут степной уже заприметил, как лисица за зайцем погналась, изменил решение, и камнем рухнул вниз, чтобы мигом позже взмыть в небо с пятнистой лентой в острых когтях, так и не успевшей переварить пищу, и погибшую от сокрушительного удара мощного клюва в хрупкий череп.

Жестока степная красота, не каждому понятна, и надо уметь жить в этой вечной цепи рождений и смертей, уметь не жаловаться, но принимать круговерть имен «хищник» и «жертва» в бесконечной битве-согысе за место под жестким степным солнцем, от рассвета и до самого позднего заката дающего степи силу тепла. С вечером же холодает в степи, за один день летняя жара до осенней свежести падает! Только человек Степи знает, что имена силы и слабости в степи переменчивы, и потому вчерашний враг может стать другом, а если он конак в твоей юрте, то ближе брата родного тебе, кем бы вас не назвала судьба завтра! Проезжая мимо табуна большого, задерживаемся, чтобы утолить жажду свежим кумысом.

На ночевку решаем остановиться у табунщика. Жылкышы-коневод подробно спрашивает о последних новостях, довольно цокает языком, прознав о предстоящем тое в ханской ставке, велит жене вынести нам тулум-бурдюк кожаный с кумысом в дорогу, на прощание же поднес камшы-плеть семихвостку, витую из сыромятных ремешков конской шкуры, рукоять тисненой кожей покрыта, каждый хвост кисточкой из лошадиной гривы любовно украшена – в самом деле ханский подарок, на той-свадьбу правителю орды в дар передать, чтобы верной рукою правил наследник народом степным,

дедов память почитая, вперед нас вел только! Хасен камшы с поклоном взял, обещался лично ханскому наследнику в руки передать на праздничном мажилисе. Имя табунщика-жылкышы я сам на куске кожи написал, благо чернильница старой, циньской работы, подарок ходжи На Сима, всегда на поясе моем, как то талибу медресе и полагается.

Поутру, вместе с рассветом, продолжаем путь, прощаемся с жылкышы-табунщиком, седлаем коней, и далее, в степь, от урочища Айгырь поворачиваем на запад, и следуем через Пески Нарын. Здесь степь другая, растительности, почитай, нет никакой, только одинокие саксаулы порой вцепятся в вершину бархана, что у корней полумертвого дерева собрался, и в отличие от собратьев своих, не блуждает, пока не рухнет, окончательно иссохнув, старый ствол, оставшийся с тех еще времен, когда и здесь рукава-ерики Едиля землю водой питали. Но и тут своя жизнь есть – ящерики юркие со змеями- медянками извечную смертельную игру в догонялки ведут, гриф-пустынник над трупом отбившегося от стада кулана или сайги трапезничает.

Мы же ровным шагом по пескам идем – выносливы лошадки наши, лучших тулпаров из табунов своих отправил за мной старый Утемис, не знает шаг их усталости, не вязнет в песках На-Рына, утренним водопоем да кормежкой сыты, легко несут нас на широких, удобных спинах своих. Для меня, целый год в седло не садившегося – не на чем, да и незачем талибу-ученику в Медресе верхом ездить! – удивительно немного, как же я за год прошедший не забыл, не потерял навыка своего, в седле себя чувствую так, словно родился в нем! Есть в этом особый смысл, ведь, скажем, стоило мне однажды заболеть, из-за чего пропустил целую неделю занятий телесной медитацией, как ходжа называет комплекс упражнений по школе дервишей-суфиев из Поднебесной, так потом еще месяца некоторые из движений, почитай, заново привыкал выполнять. А тут – будто и не было годового перерыва, словно каждый день верхом проводил! Видать, прав был один из хорезмских дервишей-лекарей, читавший нам в медресе уроки по целебным травам – у каждого народа есть свой навык, что веками оттачивался, и потому от рождения в каждом ребенке к навыку тому склонность имеется. Степняк же к верховой езде не веками – тысячами лет приучен, и значит навык этот из меня никакие годы перерыва не вытравят!

Радостно делается мне от мыслей этих! Пятками ударил по бокам коня, пустил вскачь, вперед, оставив за спиной братьев, недовольно посмотревших мне вслед – вот еще глупость чудит, коня утомляет, путь впереди ведь долгий! – а мне и море-Тенгиз по колено сейчас, и пустынный от летнего жара Нарын – вдруг будто весенней зеленью одетым показался! Ведь здесь я вырос, на этих землях, в этих песках, что нынче желтые, как пыль, а в апреле я их видел покрытыми зеленой травой, щавелем высоким, из которых сазан вырывается чуть ли не из-под самых копыт коня, напуганный, а стада куланов бредут мирно, щипая сочную траву, не пугаясь ни барса степного, ни стрелы охотничьей! Я помню, как по этим пескам перегоняли на пастбища к берегам Едиля стада отца моего: тысячи голов овец, табуны пегих и черногривых тулпаров с лоснящимися от жира боками, и рядом с каждой кобылицей скакал жеребенок... И гордые, величественные хозяева песков Нарына, туйе-нары, верблюды, несущие себя с ханским достоинством, на мир же взирающие мудро и ласково, словно наставники из моего медресе. Грузенные тюками с войлочными стенами разобранных юрт, остовами шаныраков-крыш наших кочевых жилищ, как мудростью мира, эти великолепные создания Творца Миров воплощали для меня-ребенка все самое лучшее, величественное в жизни нашего степного народа. И все эти детские воспоминания наложились поверх того, что видели сейчас глаза мои, прошлое слилось с настоящим, чтобы открыть дорогу к грядущему, и оттуда, из будущего, явились

сначала чувства, а с ними и слова, собиравшиеся, как песок, гонимый ветром, в сиюминутный узор на лице пустыни:

*В нашем брошенном Нарыне
были горки и курганы, -
не обскачешь их никак.
Там топтали степь куланы
и курлыкали фазаны, -
под копыта попадая,
гибли стаями впросак.
Там отары достигали
более тысячи голов,
а, в отдельно взятом стаде,
были сотни верблюдов!
Шерсть и пух, и рост ягнят
были, как у верблюжат!
Верблюжата в караване
груз носили, как атаны!
Что за место, что за край?
Для голодных, исхудалых
это место - просто рай!..*

Только почему это чувство, пришедшее ко мне из грядущего, обладает таким горьким вкусом? Отчего строки эти не разделяют со мной нынешней моей радости, но будто отравлены печалью какой-то, еще неизвестной мною потери? И от чего-то кажется мне, что строки эти незавершенные, а завершить их я уже не могу, потому что закрылось для меня уже грядущее, отравленное горечью неизвестной мне еще потери, и перед глазами теперь – только пески, да старый карагач, к узловатым корням которого прискакал, и остановился мой конь, будто заразившийся внезапной и странной грустью своего седока.

С шуршанием копыт по песку подошел смирным шагом другой конь, встал рядом с моим. Старый шаман смотрит на меня с седла, с интересом, будто впервые видит. Бормочет одобительно:

- Хорош твой стих-жыр, Махамбет, нечего сказать! Не думал я, что тебя в Ак Медресе акыном сделают, ходжа На Сим – он все больше по другим делам мастер...

- Это по каким же? – удивляюсь. Уж я-то знаю, как мой наставник любит словесность изящную, и что ждет талиба, ошибающегося в определении тонких различий между школами стихотворцев далекой Аравии и соседней нам Персии.

- Ходжа На Сим ибн Насим – батыр великий, и учитель батыров, или не знал ты этого, целых три года у него в обучении состоя? – говорит шаман, и я не выдерживаю, смеюсь во все горло.

На Сим – батыр? Учитель батыров? Это он точно про нашего ходжу, который каждое утро заставляет талибов до совершения утреннего намаза поднимать колена выше пояса, изображая рукой, будто в пиалу чай наливаешь, и при этом дышать, как молодая келин-невеста, боящаяся встревожить чуткий сон злобной свекрови – тихо, беззвучно, протяжно? Говорит при этом, что подобные упражнения подготавливают дух к лучшему проникновению таинством намаза-молитвы, обращенной к Творцу Миров. Ходжа На Сим, руки которого в самом широком месте тоньше моего запястья, и пища которого за весь день – пиала сурпы да несколько полосок вяленой рыбы, великий батыр? Наставник Ак Медресе, способный заставить талиба-неумеху трижды заново заваривать чай, если количества лепестков сушеного жасмина из драгоценной шкатулки оказалось не достаточно для тонкого вкуса, чтоб их всех весенними ветрами-бесконаками в окно его кельи однажды сдуло?! Я смеюсь так долго, что Хасен и Смаил успевают доехать до нас, и теперь смотрят недоуменно то на меня, то на шамана, который хмурит брови, но молчит, не желая вносить никакой ясности в эту странную картину мира, в которой сам Пир Бекет запутался бы, если бы стал, конечно, отвлекаться от своих блужданий по складкам ткани мироздания ради таких глупостей.

И когда смех, наконец, отпускает меня, я понимаю, что наш старый шаман, хоть и учился когда-то в Белом Медресе, как и я, так на самом деле ничего и не вынес оттуда. И даже наставника нашего он не знает. Я – молодой, одаренный, полный сил, наделенный острым умом, как то подтверждает сам ходжа На Сим, способен видеть лучше, яснее всех этих стариков, совершенно запутавшихся в своем прошлом, не способных разглядеть ни настоящее, ни грядущее! А значит, хоть в одном мой наставник прав – грядущее должно свершать нам, молодым, а старым мудрецам пора уступить место под солнцем таким, как я!

Но смотрит на меня шаман таким же взглядом, какой бывает у ходжи На Сима, когда я думаю, что он мысли мои читает, а он по лицу моему обо всем догадавшись, в мою же очередную глупость меня носом тыкает:

- Что, совсем зазнался, мальчишка? С одной похвалы уже забыл, чья наука за твоим успехом стоит, чей труд учительский? Эх, жастык-молодость, во всем наши глупости одинаковы в этом возрасте, только успехи отличаются, а до твоих успехов, боюсь, твои наставники и дожить не успеют!

- Пока болтать будете, мы до заката к ханской ставке не успеем, агай! – бурчит недовольно Хасен, и мы согласно трогаемся в путь. Веселья мое уже ничем не испортить, даже нравоучения старого шамана заставляют разве что улыбнуться, не то, чтобы нагло, в лицо, но в сторонку, а лучше – в самую гриву коня, почувявшего нрав и норов седока своего, и взявшего ход гордый, с высоко поднятой головой. Так и едем до самой ставки, а я думаю о том, что как же хорошо так получилось, что царь ресейский границы земель наших определил, ведь еще три года назад мы с отцом от стойбища под Аманбишьтау до Сарайчика неделю ехали, ночами кралась, от казачьих разъездов скрываясь, а тут и двух

дней не прошло, а мы уж до самой Ханской Ставки прибудем, где уже поставил свой аул староста Утемис, и ожидает меня, чтобы всей семьей, достойно представиться на ханском празднике!

+ + +

Жузим звали ее – невысокая, если сравнивать с сопровождающими родичами-адаями, явившимися на свадьбу настоящей маленькой армией. Немудрено, ведь везли невесту из самого Мангышлака, через земли, где сейчас свирепствовала междуусобная война кек-кровная месть между родами Адай и Кете. Впрочем, не глупы кетинцы, и напасть на караван невесты первенца могущественного хана Бокея, чей титул и власть подтверждены самим императором ресейским, противникам рода адайского ни к чему, но то – политика, а кто ответит за буйную кровь молодых жигитов, что ради славы на всякое безрассудство пойти могут? Тем паче, что кетинцев в Орде Бокеевской немало, и если изгонят все их кочевья из этих, богатых водой и пастбищами земель, в пустыни Мангистау, где изначально сильны адаи, но пастбищ хороших мало, потому как безводны земли те, то не избежать большой крови!

Ведут ее братья к юрте, где предстоит свершиться обряду Беташар, по пути с подносов медных монеты на дорогу под ноги сестре бросают, мол, пусть путь ее усыпан будет. Если уж не золотом – не богат род невесты! – так хоть серебром да медью, да и потом, много ли надо детишкам, что после из пыли все это богатство собирать будут?

Жузим – та самая невеста, которую сосватали за первенца хана Бокея в день ее рождения, когда и жениху-то было всего семь лет, она должна была стать залогом далеко идущих планов Бокея распространить свое влияние на весь Мангистау, подобраться к границам туркмен, если понадобится – пойти вместе с войсками царя ресейского на саму Хиву, чтобы доказать высокому покровителю свою полезность, и тогда, может быть, удастся воспользоваться стародавней нелюбовью империи к отщепенцам-староверам, казакам яйцким, укрепившим свое положение после участия в большой войне с франкским императором, который, как рассказывал, Москву огню предать сумел. Ох, многие тогда подговаривали хана Бокея присоединиться к бунтарям хивинцам, отринуть власть имперскую, ударить по землям Войска Уральского, вернуть степнякам власть и право над богатейшими землями Ак Жайыка. Ведь стыдно, право слово – забыл степняк вкус рыбы, как рыбачить – забыл, потому что не пускают его казаки к берегу речному, уже сто лет, как держат земли эти за собой, предавая лютой смерти даже за попытку напоить стадо иль табун из реки! А такой, говорили, удобный расклад – все казаки, что способны оружие держать, по уложению реестровому на войну призваны, само небо-Тенгри на стороне степного народа, верни, хан Бокей, земли предков, отринь позорную власть орысов над собой, вспомни, кто ты есть, подними бунчук Шынгысхана над ордой своей! Небо-Тенгри – то, понятное дело, шаманы твердили, аруахами стращали, акынов толпами заводили, чтобы те пели старому хану о великих деяниях батыров прошлого.

С другой стороны, шептали на ухо больному уже, страдающему одышкой, не способному даже сесть на коня, не то что армию в бой вести, хану Орды Бокеевской муллы-посланцы муфтията Астраханского: не слушай смутьянов, язычникам-кафирам не внимай, навлекут на тебя они беду большую! Империя ресейская не первый год стоит, не одного врага одолела, и с этим императором франкским справится, а потом как обратит взор свой гневный на тех, кто предал, в спину удар нанес, накажет, покарает, лишит благосклонности своей, сын твой вон, в доме губернатора астраханского, как иримшик-сыр в каймаке-сливках, в довольстве живет, а за скот фуражный, что ты армии ресейской

поставляешь, большая выгода в рублях царских, золотых, ждет тебя, так чего ради от всего этого отказываться, во имя какой-такой призрачной мечты бросать под угрозу благоденствие рода твоего, народа твоего, а самое главное – лично твоей семьи, которая самим царем Искандером приласкана будет, и верный тому залог – покорность воле Аллаха, который велит подчиняться правителям своим, ибо всякая власть, сказано Эхли-Китаб, Народам Книги, есть от Бога!

В многочисленности своей превосходили муллы всех акынов и шаманов, сладки были речи их, умело сочетали угрозу карами что царскими, что божьими, с посулами благ и выгод, у говорящих же от имени степи и неба не было ничего, кроме слов, песен, да легенд. Легенду же в казан не бросишь, на жайму-лепешку не положишь, на дастархан не подашь, желудок не насытишь, за легендой – ржавые клинки ханжаров, уже век как не покидавших ножен, за империей же орысов – штыки и пушки, солдаты да казаки! И объявил хан Бокей, что как только оправится от болезни своей, так и отправится в путь в далекую Мекку, хадж вершить, а до того – посетит могилу Бекет Ата, вознесет намаз-молитву за успех царя Искандера Первого в войне его с императором франкским!

Так и вышло – после зийрета-паломничества в Огланды, в мечеть подземную, к мавзолею Пир Бекета, ожил будто старый хан, здоровьем поправился, а тут и весть благая от нового губернатора астраханского Андреевского, Степана Семеновича, прибыла: виктория! Словом этим любило чиновничество орыское зафер-победу именовать, придавая тем самым ему особую значимость. Да и, след признать, как бы ни были хороши сношения хана Бокея со старым губернатором астраханским, Львом Александровичем Кожевниковым, новый губернатор к степнякам не в пример лучше относился, сына же ханского, Жангир-Керея, как своего собственного холил, лелеял, и даже, будучи врачом-преизрядным, самолично от тяжелой простуды лечил. Знал Степан Семенович, неоднократно принимавший участие в экспедициях по степи, нравы и обычаи кочевого люда, знал, и потому самый верный подход нашел к сердцам степняцким, сына ханского в собственный дом поселив, как то еще исстари заведено было, когда ханы Золотой Орды детей князей орыских при себе держали – то ли в качестве кунаков дорогих, то ли – заложников, все от текущего положения отношений между правителями-родителями решалось. Правда, прекратился обычай тот, да вот, с ученым-медиком, действительным статским советником и губернатором Андреевским возродилось, и на благо империи ресейской послужило в нужную минуту!

И хотя лелеял Степан Семенович другие планы относительно будущего брака ханского наследника, считая, хотя и в тайне, обычай сватать детей еще с колыбели варварским, и мечтая свести юного Жангир-Керея с девицей из числа многочисленных дочерей на выданье в его окружении, и тем самым упрочить связь между империей и степняками, свадьба с Жузим все равно должна была состояться. Свое недовольство губернатор выразил довольно явственно, не только сам не явившись, но за вежливым предлогом отказавшись прислать и заместителя своего из высших имперских чинов в Астрахани. Хана это если и смутило, виду он не подал, положенный же политическим протоколом подарок из губернаторского дома все равно прибыл – книги! Ну, что еще мог послать Андреевский своему воспитаннику, дабы еще раз подтвердить свое мнение относительно предстоящего брака? Свод законов государства ресейского – для жениха, и... собрание женских французских романов в роскошном переплете для невесты! Жузим еще не видела подарков, но жених догадывался, что ни Лафонтен, ни Мюссо, ни даже Мольер не произведут впечатления на степнячку, которая, Бог весть, и читать-то не умеет, поди! Впрочем, сам жених так же невесты раньше не видел, и сейчас удивлялся тому, как ладно

несет она себя, каким достоинством наполнено каждое ее движение: вот, сейчас, когда апа и келин, старые и молодые женщины ханского аула встречали ее, чтобы проводить в огромную юрту, особо установленную для проведения обряда Беташар.

Огромным нарушением степных обычаев считалось то, что сам жених не ездил за невестой в ее аул – обучение в гимназии послужило хорошей отговоркой хану Бокею не отправлять первенца в опасное путешествие на Мангышлак, богатые же подарки для кудалар-сватьев и всего многочисленного рода невесты сгладили неудобство от нарушения обычая, ведь одного только *той-малы* было отправлено: отборных конских табунов числом в триста голов, отцу как *жигит-туйе* – подарок от жениха – восемь верблюдов и дорогая ханжар-сабля в ножнах из чистого серебра, расписанная сурами из Куран-И-Керим, для матери же в качестве сут акы – платы за материнское молоко, хан отправил ни много ни мало – монисто из золотых червонцев весом с полпуда! Каждому брату-жигиту так же в дар было отправлено по ханжару попроще, но в качестве свадебной одежды-подарка киит хан Бокей расщедрился на расшитые золотой нитью шапаны тяжелого бархата, хивинской работы, сундуков же, полных крашеного войлока, ситца и бумажных тканей, и вовсе везли отдельным караваном. Хитрый расчет хана оправдался, род невесты был многочисленным и воинственным, но большим богатством не владел, война с кетинцами изрядно истощали обе стороны, и как бы ни были горды адаи, однако никак не могли ответить на столь щедрые подарки хотя бы одной десятой от такого количества добра, и все возможные обиды за нарушение традиций приходилось прятать за напускным пониманием: ну как же, ясное дело, жених не просто ханского рода, ученый-мырза, у самого губернатора живет, можно и сделать исключение ради такого-то... ни разу не виданного, не почтившего куда-тестя поклоном на кыз-узату – проводах невесты, не преклонившего голову перед злыми шутками многочисленных бажа-зятков и агайын-шуринов!

И правда, количество приданого, что вносили в юрту, такую огромную, что Жузим вошла туда, даже не наклоняя голову в высоком саукеле-шапке, украшенной перьями белого лебедя ак-ку, вслед за ней, было невеликим: десяток сундуков, да столько же тюков с корпе-одеялами. Братья-жигиты, сопровождавшие невесту из Мангышлака в ханскую ставку Бокеевской Орды, встали полукругом у входа в юрту, положив ладони на рукояти подаренных им на кыз-узату ханжаров, и теперь изучающе смотрели на жениха, стоявшего в окружении выделенной отцом ему свиты. Лицо Жангир-Керея, казалось, выражало удивление всем происходящим, и даже шапка-борик, украшенная перьями степного филина-уку, сидела как-то странно, будто чувствуя себя чужой на этой голове, забитой далекими от степи, европейскими мыслями и идеями.

Свиту Жангир-Керея составляли сплошь муллы да мырзы, коих и без того в ханской ставке водилось в преизбытке, да еще и выписал их хан отовсюду, откуда можно, специально ради этого случая. Махамбета, специально ради okazji такой, одетого в богатый длинный шапан из дорогой белоснежной верблюжьей шерсти, как бы намекающим на его положение талиба суфийского медресе, поставили совсем рядом с женихом. По левую же руку шел богатейший из кочевых старост, известный батыр, под началом которого состояло чуть ли не более трех тысяч жигитов – главная военная сила Бокеевской Орды, случись чего – дальний родич самого хана Бокея, сын уже постаревшего, но когда-то известного своим крутым нравом и лихостью в бою батыра Таймана – Исатай! Высокий, чернобородый, с жестким, пронизательным взглядом, он так же держал руку у пояса, где висел не богатый, украшенный камнями, как у прочих, но старый, боевой меч-кылыш его отца, с которым он, говорят, никогда не расставался. Да и

удивительно ли – ведь кочевья рода Исатая располагались очень близко теперь уже к официальным границам земель войска уральского, и в отличие от многих прочих аулов, гораздо чаще сталкивались с казаками яицкими, не гнушавшимися грабежа степного народа, буде подворачивалась такая возможность.

Изредка Исатай Тайманулы бросал косые, недовольные взгляды в сторону Махамбета, сына Утемиса, поджимал губы, пряча в густых черных усах недовольство тем, что не ему, но этому почти мальчишке, на чьем рождении он сам, еще подростком, куырдак ел, и который теперь красуется в белом шапане, да небось гордиться своим званием ученого-мырзы, дали место по правую руку от жениха. А ведь тем самым хан Бокей всей орде показывал, что ему сейчас истинно важно и ценно – не сила мечей в руках жигитов, но сила слов из Писания Священного! И пусть вся Степь теперь знает, что за Ордой хана Бокея сила покрепче железа, потому как что бумага, исписанная вязью арабской иль словесами рейсескими, а того паче – за подписью и печатью самого государя императора, всяко крепче клинка булатного, да суеверия старинного!

Исатаю это не нравилось. В его мире, где стальной клинок да покровительство степных шаманов не раз спасали жизни, за старые обычаи держались крепко. Иногда думал староста Исатай Тайманулы, что со возрастом теряет разум старый Бокей, не понимает, что не будь жигитов с клинками, помнящих искусство степной войны – наследие орды золотой, память грозного Шынгысхана да безжалостного Батухана, не церемонилась бы с ним власть орысская, не задабривала бы бумагами с золотыми тиснениями! Что не умей кочевник стада свои умножать волею аруахов степных – не было бы почета да заискивания мулл, потому что всяк человек мясом брюхо набить хочет, даже если все священные книги наизусть выучит, а мясо – вот оно, только у кочевников в избытке имеется, уж известно, как живут шаруа-дехкане в той же Хиве, или те же казаки яицкие – мяском себя только по праздникам и балуют, за каждую голову скота убить готовы... и убивают! Только степняк может себе позволить ради кунака-гостя не то что барана – коня резать, только тот, чья кровь с духом великой степи смешана, из отары в сто голов через год – три сотни имеет. Верный путь знали предки, верной рукою меч держали, копье свое, дрожали перед ними что арабы, что предки орысов нынешних. А теперь – одни нас жить учат, другие – место наше под солнцем указывают, и с каждым годом все меньше для нас места этого, потому что холодным будет то солнце, которое от клинка в руке жигита не отразится, в глазах что врага, что друга, не блеснет, уважения к тому, в чьей руке клинок, завоеывая.

Женщины запели «Жар Жар», старая Айна-апа, вдовая сестра хана Бокея, заиграла на домбре. Вот ведь удивительная женщина – в иное время пальцы ее, прожитыми годами скрученные в узлы, что корни карагача, нитку в иглу продеть не могут, но стоит ей взять в руки домбру, как молодеют пальцы, бегут по грифу, словно жеребята-трехлетки, выбивают мелодию, в которой сама душа Великой Степи! Под песню, как по сигналу, двинулся жених, и вся свита за ним, в сторону юрты. У самого входа путь ему преградил старший брат Жузим, Ибрагим, статный и высокий, почти на голову выше жениха, в шапке, обитой куницей, из под края которой выбивалась красная повязка. Исатай, в отличие от Жангир-Керея, да и многих прочих обитателей ханской ставки, знал, что у адаев эта повязка означает. За Ибрагимом кровный долг: кек-месть, но все кровники его им же убиты, и повязка эта – как искупление перед аруахами, вечная кровь, которой он багрит свое чело за тех, кто уже никогда не сможет ему отомстить. Опасный воин, безжалостный, и умный, если смог выжить, и повязку надел. Исатай проникся к нему невольным уважением. Невольным – потому что с самого начала подозревал – не стерпят

гордецы-адаи оскорбления, пакость какую придумают, чтобы взыскать с ханского наследника за то, что не прибыл лично на кыз-узату, не сам забрал невесту, как то законом степи предписано! Ведь не бугай-воин – ребенок должен дорогу жениху преграждать в юрту, где Беташар проводиться будет, дашь мальцу монетку, иль кусок сахара откупного, и всего делов! А этого поди, монеткой да петухом на палочке с дороги не сдвинешь, и быть сейчас маскара-позору, нельзя, никак нельзя, чтобы жених лбом в могучую грудь брата невесты уперся, пройти к своей суженой не смог!

Напрягся воин-Исатай, руки зудят, по привычке к клинку тянутся, да нельзя, никак нельзя, а жених, упрямец, идет, прямо на бугая идет, сейчас столкнуться ведь! И тут вперед вперед малец в белом шапане, в последний миг будто втискивается между женихом и братом невесты, сам невысокий, широк в плечах, да ростом не вышел, но смотрит на жигита адайского смело, улыбается, руку вперед тянет:

- Суюншим кайда? Где награда моя за весть благую?

- Какой тебе суюншу? За что? – опешил Ибрагим, от удивления аж шаг назад сделал, а Махамбет напирает, не дает в себя прийти, возникшим пространством с умом пользуется, подбородок задрал, руку еще выше поднял, и будто сверху вниз с тем, кто выше его, разговор ведет:

- Весь благая у меня – сестра твоя за ханского сына выходит, род твой с ханским родом роднится, быть твоей семье в почете и уважении, стадам – изобильный приплод, семье – здоровье и процветание! Куда, Бог Правый, Справедливый, велел родниться, детей заводить, и мы тому следуем по его велению, согласно слову пророка нашего Мухаммеда, Привет Ему! Не благая ли то весть, жигит? Той будет, радость будет, много детей родится у Жангир-Керея и Жузим, быть тебе дядей, на мажилисах праздничных с дастархана ханский бешпармак кушать, в гости к племянникам ходить, почет и уважение получать! Не радостная ли то весть, жигит?..

Махамбет говорит, и вперед тихо-тихо двигается, а жигит адайский от потока слов этих быстрых, уверенных, ошарашенный, назад отступает, а глаз от почти мальчишки в белоснежном шапане отвести не может, как замороженный, слушает да кивает. Почти до самого порога юрты дошел, спиной в полог уперся, остановился, и тут Махамбет руку под самый его подбородок, поросший редким рыжим волосом, воздел, и снова спрашивает требовательно:

- Кайда менин суюншим? Где моя награда? Хабаршыга сыйлык жок па? Нет у тебя награды для вестника? Как же так?!

Вконец растерялся Ибрагим, оглаживается, помощи ищет, а братья смущенные, взгляд отводят. Не ждали, не готовились, ни у кого ни монетки с собой, видать, не осталось, все побросали на дорогу, пока невесту к юрте вели. Эх, адаи, вечно вы мигом одним живете, про то, что после случится, не думаете, не готовитесь, широкое у вас сердце, да только разум собой закрывает! И вдруг находится, в рукав ли закаталась, за пояс ли залетела – одна монетка, золотая, червонец царский, с профилем самого императора Искандера Первого, блеснула, отражая солнце степное, в руке одного из братьев, что поодаль стоял. Бросается к нему Ибрагим, надо честь рода защитить, хабаршы-вестнику награду дать, потому как за такие слова и не наградить – себя не уважать!

Исатай понимает все вмиг, в несколько шагов оказывается у входа, толкая перед собой сына ханского, отодвигает полог, чуть ли не вталкивает туда жениха, и прежде чем

самому пройти внутрь, еле слышно бросает одобрительное юному Махамбету: - Жарайсын!

Ибрагим же подлетел уже обратно, руку поднимает, и крепко, с размаху впечатывает монетку золотую смышленому крепышу в белом шапане в ладонь. Не дрогнула в ответ рука, силу недетскую являя, открыто, радостно улыбнулся Махамбет батыру адайскому, чуть голову склонил благодарно:

- Рахмет, агай!

- Сен ким боласын, балакай? – удивленно спрашивает жигит, тайком потирая руку, чуть ли не ушибленную о крепкую ладонь этого подростка. – Кто ты, паренёк?

- Махамбет Утемисулы, родом берш! – гордо отвечает юнец в белом, подбрасывает монетку, ловит, и прячет в рукав своего белого шапана. После чего поворачивается и проходит в юрту, так, что Ибрагиму остается только с удивлением смотреть на закрывшийся за ним полог.

+ + +

Я не знаю, что это было. Я ведь никому ничего не обещал? Я выполнил требование ходжи На Сима? Но почему мне кажется, что случившееся на этой свадьбе так важно? Отчего старый шаман, которого даже не пустили в свадебную юрту, и весь той проведенный в юртах нашего кочевья, совсем не обращая внимания на такое оскорбление, раз за разом, как поймает меня, спрашивает о том случае? И почему он так много внимания уделяет тому, что сказал или сделал этот взрослый, суровый берш из пограничных кочевий, со взглядом воина, и привычкой при малейшей опасности тянуться к мечу? Исатай Тайманулы, так, кажется, его зовут?

Но мне понравилось то, что я открыл в себе. Люди готовы повиноваться слову. Моему слову! Не рост, не возраст, но сама сила, которую я могу вложить в звуки своего голоса, позволяют мне добиваться от них... чего? А чего мне от них надо? Или это как-то связано с моей судьбой? Не знаю, так ли это, а времени размышлять над такими сложностями, у меня нет – после Беташар объявили курес, и я хочу выйти на алан-площадь, расчищенную для борцов, хочу попробовать себя в честной схватке не только на словах, но и в силе, я мечтал об этом еще мальчишкой, до того, как попал в медресе... Судьба не готовит меня для ратных дел, мне не нужно будет пробивать себе путь в жизни силой рук, ведь у меня есть мой голос, мои слова, и сила в них, но сегодня я хочу быть таким же, как все. Одно не понятно – почему и это вызывает недовольство отца? Он не уверен во мне, считает, что обучение в медресе изнежило меня, не хочет видеть, как его сын проиграет? Шаман молчит, я чувствую, что он на моей стороне, но даже он, такой одинокий на этом празднике, где старые обряды изменены в угоду ханской политике, молчит, не возражая, как обычно, отцу. Братья уговаривают меня отказаться от выхода на ковер, но...

Нет, не буду я сегодня послушным! Сколько себя помню, хотел выйти на клем-ковер, видел себя таким же, как палуаны-борцы, чьи тела блестят от намазанного жира, кожаные пояса трещат от захватов, пыль взлетает в небо от бросков с кружением, когда поверженный палуан падает, выброшенный за пределы ковра. Айналдырып лактыру – мой самый любимый, зрелищный прием, который я всегда хотел исполнить... если смогу! А я – смогу! Я – Махамбет!

Как будто все запреты, наложенные строгой дисциплиной ходжи На Сима, слетели с меня! Я иду на ковер, а за мной – мои отец и братья! Мне не нужна их вера в меня – моей

собственной веры достаточно! Шаман за их спинами что-то бормочет, призывая аруаков помочь мне, даже жиром он мне помогал намазаться, и штаны кожаные достал, и пояс, без которых не пустили бы на состязание борцов, и я ему благодарен, но сегодня, на этом ковре мне не нужна ничья помощь. Я справлюсь. Я – Махамбет!

Я вижу, как на кошме, рядом со старым ханом Бокеем, сидят его сын, и тот староста-воин, Исатай. Они не смотрят на борцов, Исатай что-то строго говорит Жангир-Керею, хан тоже слушает, но молчит. Жених, ради которого и устроен весь этот праздник, хмурится, поджимает губы капризно, ему явно не нравятся слова кочевого старосты, распекающего его в присутствии собственного отца. Ахмет-акын, сам бывший палуан, теперь уже старый, но признанный авторитет, которому поручают судить и вести все состязания по куресу, громко объявляет мое имя.

- На ковер выходит Махамбет, сын Утемиса, из рода берш, чтобы своей победой славить могучего хана Бокея! На ковер входит Алпамыс, сын Утепа, из рода адай, посвящающий свою победу отцу невесты, почтенному куда-свату нашего хана...

При моем имени Исатай замолкает, прекращает отчитывать жениха, обращает наконец свое внимание на борцовский алан. С интересом смотрит на меня. Интерес не только у него – вон, жених тоже уставился, запомнил, видать, как я выручил его утром! Да и хочется ему, знаю, чтобы я адая этого победил, по взгляду видно, такие люди обид не забывают, а соперник мой, Алпамыс, родной, младший брат Ибрагима, к тому же, наглец, победу вон, собственному отцу посвящает, не проявляя привычного в нашей орде почтения к хану! Это мне шаман сказал, раньше, говорит, такого не было, чтобы палуаны все свои победы, а акыны все свои песни одному только хану посвящали, а нынче, почитай, другого обычая и не знаем мы! А что плохого в этом, я не могу взять в толк? Один правитель – единый кулак, так мы сильнее, разве нет? К тому же отец так решил, а чего я буду со стариком сейчас спорить? Хватит того, что против его воли вообще бороться выхожу! А наглеца адайского я сейчас проучу, будет знать, как в нашей ханской ставке, да не нашему хану хвалу возносить!

Перед поединком становлюсь на колени в сторону Каабы, руки в дуга-молитве Всевышнему раскрываю, читаю Аль Фатиху, первую суру Куран-И-Керим, слышу, как одобрительно шепчутся муллы, что столпились за ханской кошмой.

Махнул рукой Ахмет-акын, и вот уже двинулся ко мне мой соперник – крепкий, выше меня, жилистый, для него это явно не первый бой, не то, что для меня, ранее курес-борьбу только со стороны и видевшему, да ребенком малым в пыли возившемся, пытавшемся приемы взрослых пауланов с такими же мальчишками повторять. Жду, не шелохнусь, будто молитву продолжаю, а сам смотрю из-под век прищуренных. Вот он приблизился, и я вскакиваю с колен, так, что оказываюсь будто внутри кольца из длинных, сильных рук адайца. Да только что толку в силе его, когда вот он, я, уже обнял его, схватил в замок своих рук, левой ногой назад уперся, правым коленом в бедро соперника, и давай сжимать его, что есть силы, будто желая весь воздух из него прочь выжать. Голову не поднимаю, и так знаю – он сейчас почти синий, дышать не может, слышу, ребра чуть не трещат, длинные руки бессильно по спине моей шарят, да только ухватиться ни за что не могут, а силы уходят, вместе со временем... Хотя, вот он, опыт борцовский – нашел выход, взялся за белбеу-пояс кожаный мой, пытается оторвать от земли. Дал же Кудай Аллах руки длинные да силу, чувствуя, что еще чуток, и возьмет меня, поднимает вверх, бросит

оземь! Так и мне от Тенгри великого росту хоть не досталось, но кость тяжелая, а еще чую я землю мою, степь под войлочным покрытием ковра, пальцы ног будто впиваются, пробивают кожу мяси-мягких чарыков, и тянутся сквозь войлок к родной земле, а она словно в ответ тянется, и чувствую я, что становлюсь тяжелее, аж самому дышать трудно, под собственным весом, будто еще один Махамбет сверху навалился!..

Эй, да то не Махамбет – то Алпамыс навалился, и вправду – сверху, а я все еще сжимаю, отпустить не могу, а меня уже и по плечам хлопают – хватит, мол, прекращай! Потерял соперник мой сознание, не хватило ему воздуха, вот и висит-лежит на мне, только пальцы, будто сами по себе, еще пояс сжимать пытаются. Разняли нас, Алпамыса водой окатывают, в себя приводят, меня за руки берут, ведут к ханской кошме. Да и мне и самому бы в себя прийти – от победы такой!

Хан на меня смотрит, довольный, улыбается, хлопает в жирные ладоши, жигиты с сульги – полотенцами в руках подбегают, начинают обтирать с меня масло, вслед за ними подходит и сам Ахмет-акын, несет шапан – подарок ханский. Только Исатай не улыбается, смотрит на меня с интересом, прищурившись, недовольный, будто, слова роняет:

- Очень странно ты его победил, балакай. Совсем, значит, курес-борьбу не знаешь, никогда не выходил на алан...

- Не выходил, ага! – киваю согласно. А что еще сказать? Правду ведь говорит.

- Не умеешь, значит, бороться. Одной силой взял...

- Уау, Исатай! Всем ты, сын Таймана, недоволен! Всегда вот так! Какая тебе разница, умеет – не умеет! Главное, победу нам принес, хана своего прославил! – вмешивается хан Бокей, тяжело встает со своего места, забирает сульги у одного из жигитов, вытирает жирные руки, берет шапан, на плечи мне накидывает. – Батыр! Палуан! Гордость бершского рода! Славься, Махамбет, сын Утемиса!

Народ вокруг кричит, меня хвалит, хана славит, вслед за Бокеем вскочившие с кошмы Исатай и прочие, меня окружают, и понимаю я, что сардар наш, полководец, сын Таймана, вовсе не злится на меня, а просто изучает. Крепко сжимает плечо мое, встряхивает, громко, чтобы весь аул слышал, говорит:

- Сам его драться учить буду! Настоящим батыром будет, всю орду нашу прославит!

Еще пуще кричит народ, славят теперь и Исатай, видно, любят его в орде, а меня будто целым барханом счастья накрыло – сам Исатай, знаменитый палуан, батыр, военачальник, меня драться учить будет! Вся наука из головы вылетела, да и сама голова будто не работает, одно только сердце всем правит, дыхание в миг сбилось, остался я, будто голый – со степью, небом, и своей ордой!

- Будешь у меня учиться? Будешь меня слушаться? – спрашивает Исатай, тайманов сын, а я и сам словно не понимаю, что говорю, будто со стороны себя слышу:

- Клянусь! Во всем тебе повиноваться клянусь! Верным твоим учеником и соратником быть – клянусь!

- Не клянись, - улыбается, наконец, суровый Исатай, - просто обещай!

- Обещаю! – истово киваю головой, а тут слышу:

- И мне – обещай! Что рядом будешь, и ум свой, и силу, на службу орде нашей поставишь – обещай!

Оглядываюсь – Жангир-Керей, первенец ханский, рядом со мной стоит, в глаза мне смотрит. Руку протягивает, да не по-нашему, с захватом, а прямо, как орысы делают. А я и не знаю, как так-то руки пожимать. За запястье его беру, руку встряхиваю, отвечаю:

- И тебе обещаю, Жангир-Керей!

Вот только сказал это, и вдруг – вспомнил! Вспомнил, как другое обещал еще позапрошлым днём: ходже На Симу, наставнику своему. Обещал – никому и ничего не обещать, и вот, на тебе!..

Все перемешалось, спуталось в голове моей, в сердце моем, радость от победы и славы, стыд от того, что двумя обещаниями третье нарушил, и вся радость от чувства стыда этого уходит, будто вода сквозь песок-нарын жарким летним полднем, один только стыд остается, такой сильный, что хоть казни себя!

- Не казни себя! – шепчет голос рядом – Успеешь еще!

Шаман, невесть как тут оказался, мигом раньше не было его, или это я уже ничего не вижу, не понимаю, слышу только – голос хана нашего! Да только его теперь и слышу – все замолкли потому что, внимают правителю Орды Бокеевской, мудрому и многосильному хану Бокею, голос которого все еще могуч, и звучит, будто он и старше, и моложе своего обладателя. Вот ведь, что с голосом человеческим власть сделать может, думаю, а голос этот от власти идет, и о власти речь ведет:

- В этот миг славной победы рода нашего, в этот день радостного праздника под шаныраком нашим, настало время объявить наследника над ордой нашей! И быть им сыну моему, Жангир-Керею! Такая моя воля, за которой сила и мощь великого защитника и покровителя орды нашей, царя орысского, Искандера, а над всеми нами – Кудай-Аллаха, который велит каждому муслиму чтить волю правителя своего!

Муллы согласно кивают за спиной ханской, один, самый громкоголосый, вперед выходит, говорит:

- Субхан-Алла! Воистину, сказано – всякая власть от Аллаха! Сотворим же дуга-молитву за хана нашего, Бокея, и за сына и наследника его, Жангир-Керея!

И словно замороженные, околдованные, садятся кочевники – берши и адаи, шеркеши и ысыки, и все-все вольные люди степи, чей обычай ханский титул не по наследству передавать, но всем народом за ум и доблесть избирать и на кошму ханскую поднимать – все опускаются на колени в этот миг, даже я! Шаман, что рядом стоял, с грустью оглядывается вокруг, и тяжело, устало, будто разом ощутив весь груз прожитых им лет, тоже опускается на колени, тихо бормочет:

- И в позоре этом тоже буду с народом моим! Хан сыну власть передает!.. – затем ловит мой взгляд, огрызается зло – Что смотришь, недоучка суфийский?

Обидел этим он меня. Впервые слышу я, чтобы шаман – мой шаман! – так со мной говорил. Отвечаю, проглотив обиду:

- В чем же позор? Вон, Чингизиды, тоже по наследству...

- Чингизиды! Воины! А этот – кто? С каких пор он *торе* – потомком Шынгыс-хана стал? Или не понимаешь, недоучка, что сейчас произошло? Не видишь, как ради власти отколол наш хан младший жуз от среднего и старшего, через право *торе* – наследников Завоевателя? Не разумеешь, пьяный от славы мира, что правитель твой сегодня всю степь расколол, лишив нас даже надежды на независимость, волю, на то, чтобы народ степной сам свою судьбу решал? Потому что не будет больше среди нас единства, не быть нам теперь одним народом, и сами мы, своими устами молитву возносим пустынному богу, называем себя *кулдар*- рабами, принимая всякую власть священной именем его, и на рабство себя тем обрекаем!

- Не быть тому! Я не дам! Бороться буду! Я тебе обещаю!.. – забывая про все обиды, прекращая молитву, истово обращаюсь к своему другу, но слышу в ответ лишь печальное, усталое:

- Хватит уже! Наобещался!.. Все, кончилась дуга-молитва, вставай, пойдем беспармак кушать! Той все-таки... ханский!

+++

*Птица-сокол в мире есть,
горделивая, как честь.
Птица та в листве сосновой
вьет надежное гнездовье.
Вольным рос я, словно сокол,
был наивным, но жестоко
беды бьют теперь меня..
Предков в том своих вина, -
пусть хоть трижды они святы,-
шлю на них свои проклятья!*

Махамбет Утемисулы – «Птица Сокол»

(перевод Б.Карашина)

+++

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

ТОБЕТ

Со смертью – оно всегда так! Вот ведь знаешь, что придет она, обязательно придет, никуда не деться – ни тебе от нее, ни ей от нас всех, кто-то же должен отпустить нас в последнее, вечное кочевье! А все равно, как нагрянет – так удивляешься! Особенно – если своя. Хотя и с чужой – не лучше!

Смерти хана Бокея ждали, готовились к ней, а как случилось, так будто и не было всех этих разговоров по юртам в кочевьях от Оренбурга и до Сарайчика, словно не эти же

люди, мужчины, женщины, даже дети малые, обсуждали – как жить будем, без хана-то? Каким он будет правителем, наследник, Черный Жангир, Жангир-Керей Хан?

Мне, последнему шаману Бокеевской Орды, суфию-недоучке, избравшему веру предков и духов Великой Степи, предстояло тайно проводить первого хана нашей земли в его последний путь. Тайно, потому что официально и явно это будут делать служители Пустынного Бога, которого они выдают за единственного Создателя... будто для самого Создателя числа имеют хоть какое-то значение, когда речь идет о Бесконечности!

Бесконечно преданная своей единственной любви, несмотря на то, что сам хан Бокей последние годы всю свою любовь тратил на молодых наложниц-токал, меня тайно вызвала первая, старшая жена хана, женщина, родившая Бокею четверых детей, из которых не выжил ни один, сопровождавшая его на жизненном пути с самого начала, когда он был всего лишь одним из многих старшин кочевий... более сильный, более хитрый, и самый уверенный в себе из всех них, он сумел создать свою Орду, свое ханство, заручиться поддержкой ресейского царя, она же была истинной опорой для шанырака его юрты, охватившей всю степь Младшего Жуза в свои мягкие, будто войлочные стены, внутри которых – мир и процветание, за пределами же – войны и интриги. Она, единственная, кто помнит заветы предков, и не забывает об уважении к Небу-Тенгри, сочла нужным дать мне знать... хотя я и так знал. Знал, ждал, и смерти, и этого приглашения.

Я – как пес-тобет, у которого вместо лая – хриплый рык, однако он слышен тем, кому надо: овцы послушно сбегаются в отару со всех степных просторов, табуны норовистых коней-тулпаров меняют направление своего бега от еле слышного звука его, и даже горделивый нар послушно бредет, ведомый верным рабом-кулом степных пастухов, псом непризнанного рода, но признанной верности... Всем прочим же достается лишь последний взгляд в пасть, полную зубов, прежде чем челюсти сомкнутся на горле врага хозяина. Даже если хозяин бьет и не кормит – тобет всегда найдет себе пропитание, научившийся есть всякую дрянью, и все равно сохранит в своем сердце преданность. Хан перед смертью изгнал меня, велел никогда не появляться в его кочевье, но не он это говорил – хриплым голосом умирающего старика вещали жрецы пустынного бога, мечтающие захватить нашу Степь, это они уговорили его сделать это, как последнее, предсмертное свидетельство преданности их богу в обмен на обещание рая, полного молодых гурий-токал. Можно прогнать тобета, но когда волки нападут на стадо – изгнанный, прятавшийся за холмами и барханами, пес-раб не вспомнит обид, и ринется в бой за добро хозяина, даже если этот бой будет для него последним. Все, что меня отличает от этого пса – так это то, что обиды я помню. Но все равно – еду. Так велит адат-обычай. Хан Степи должен уйти в последнее, вечное кочевье, по степным законам!

Три дня! У меня было три дня, чтобы добраться до ханского кочевья из Гурьева, где меня застал ворон, донесший мольбу вдовы. Бросил все – и незавершенные переговоры с новым священником, присланным из Уральска управлять делами Собора Николая Чудотворца, и со старостой молельного дома казаков, что почитали своего бога по старым обрядам, и долгожданную встречу со старым другом, отцом-настоятелем Тайного Гурьевского Монастыря, где христиане вершили службу своему богу без распрей и деления на старых и новых. Последний действительно был тайным, о существовании его в самой Ресеи знал не каждый высший церковный чин, а уж у нас-то в Степи... ну, кому надо, тот и знал. Вот, я, к слову сказать, но мне и вправду о таких вещах знать надобно. Шаман, понимаешь, должность обязывает!

А сейчас моя должность обязывала меня спешить в ханскую ставку, где, судя по прошедшему времени, уже успели обмыть покойника, и на самом деле нет у меня этих трех дней до того, как тело предадут земле, потому что слишком многое надо успеть сделать, чтобы аруак создателя Бокейской Орды и с того света мог приглядывать за своим народом, заботиться о нем, помогать... В старые времена достаточно было воспользоваться курганами – они открывали нам, шаманам, короткие пути через просторы Степи. Но нет больше тех курганов, новая вера ослабила их, намоленные за века камни обратились в песок, песок – в пыль, а пыль та со всей своей силой по степи растеклась. Удержишь ли воду в горсти, сохранишь ли силу удара в растопыренной кисти, когда потребна вся мощь кулака? Трудно быть шаманом в новые времена. Приходится обращаться к тем, кто смотрит на тебя, тобета, как на собаку без хозяина!

До Сарайшыка полдня пути, и ходжа На Сим, хоть и посмотрел недовольно, но не отказал, помог пройти через «карман», открыл короткий путь прямо к озеру, что за ханской ставкой, так что приятно было видеть изумленные лица служителей пустынного бога, когда я вошел в юрту покойного, где его уже оборачивали в акырет-саван. Да все приятное там и закончилось, прости меня Тенгри за такие слова! Я опоздал!

Не знаю – откуда, не могу понять – с какой стати служители пустынного бога узнали, почему решили торопиться, и прочитать молитву «Йа Син» раньше обычного выноса тела для прощания, но аруак Бокея был окончательно и безнадежно заперт в своем теле. Теперь уже никогда он не отправится в вечное кочевье, не сможет покинуть свои бранные останки, и будет разрушаться вместе с ними, истончаясь, развоплощаясь в бессильного, не помнящего ни себя, ни близких, дорогих себе при жизни людей, землю, мир... И, когда кости его рассыплются прахом, смешавшись с землей, душа, когда-то могучая и сильная, борющаяся, чтобы созидать, уйдет легким туманом, растворится в сгущающейся туче сущности и мощи пустынного бога, все больше и больше покрывающего собой небо. Наше Небо, между прочим, к которому мы возносим молитвы, взлетающие, подобно птицам, к слуху Великого Тенгри! Но не пройдет эту тучу чужая птица, не пролетит сквозь ее плотные, густые клубы, полные гневных и мстительных молний, ни одно создание, не знакомое пустынному богу, не выглядящая и не звучащая его языком. Бог семитской пустыни заберет силу и душу степного кочевника в обмен на обещания возрождения в судный день, и никто не задумается – чем возрождается трава, съеденная лошадью, лошадь, сожранная волком, волк, источенный червями? В этом ли видит нашу, человеческую сущность пустынный бог, если даже родного сына обрек на муки ради спасения людского племени? Я все больше боюсь его, рожденного в чужой степи, обращающегося к нашим страхам и слабостям, защищающего сильных и толкающих тех, кто и так падает, но громко утверждающего обратное. Чистая, незамутненная желанием власти правда Тенгри становится бессильной в вопросах интриги, когда дело касается потакания человеческим страстям. Пустынный бог – создание людей, воплощение их стремления все упростить и подчинить, сам упрощает и подчиняет теперь своих создателей, набираясь сил... для чего? Чтобы бросить однажды вызов самому Тенгри? Вот, и еще один степной жигит, пусть при жизни отрицавший путь меча, но истинный воин и созидатель, станет безвольным солдатом в его армии.

Что я мог сделать теперь для него? Ничего не мог – я не Тенгри, я шаман-недоучка, слабая тень могучих предков, своей мощью сломавших хребет нам, последующим поколениям, так и не унаследовавшим ни их силы, ни гордости, одна только глупая, бессмысленная ярость, да собачья преданность своим хозяевам, что новым, что старым... Я безнадежно опоздал для своего хана, но долг мой был еще не заплачен, и, хотя бы сыну его и

наследнику я еще мог помочь. Ради нашего народа, ради будущего, призрак которого все больше растворялся в черной туче, пришедшей к нам из семитских пустынь.

Вышел из шатра покойного, мельком взглянул, как положено, на копья с белыми флагами, загрустил: Степь послала ветер, равный мартовским бесконакам-гостям, он развевал траурные полотна знамен, в ожидании, когда аруах хана Бокеевской Орды, оседлав своего любимого коня, сольется с ним, и выйдет в свое последнее, вечное кочевье, становясь попеременно воздухом и водой, землей и словом, памятью, песней, легендой, уроком для последующих поколений. Ничего этого уже не будет. Хан взят в плен, поработен, и уйдет мамлюком в чужой край, воевать за чужую землю. Но его сын должен увидеть, должен понять, хотя бы на миг, и тогда будет надежда!

Жангир-Керей я нашел в окружении женщин. Он о чем-то шептался со своей матерью, и словно ждал меня – так странно посмотрел, когда я вошел, переступив правой ногой есик-порог юрты для гостей предстоящих похоронных обрядов. Ну, да, ждал, судя по кивку женщины, что и была его матерью, той что вызвала меня. Она меня – вызвала, а я все равно опоздал, не учел хитрости мулл. Не первая это схватка, которую я проигрываю им у нее на глазах, и наверняка ведь не последняя, но она продолжает верить, держится за эту веру, и потому все еще зовет меня. А вот сын ее, кажется, еще не определился с тем, как ему относиться ко мне. Взгляд настороженный, смотрит опасливо, ждет, кажется, подвоха. Надо начать с того, что ему будет понятно.

- Терпения вам, близкие усопшего! Пусть радостные события чаще собирают нас в твоём кочевье, Жангир-Керей! Волей Неба-Тенгри пришел, должен совершить обряд положенный, чтобы духи предков, аруахи, были довольны тобой, помогали и покровительствовали твоему роду, твоему аулу, твоей юрте. Вели привести коня, что последним носил на себе отца твоего, хана нашего, Бокея, вели подготовить к последнему пути, зарежь ее, чтобы дух ее отправился с ханом, а плоть стала куда-то-там! - тут я слегка запнулся, потому как понял вдруг, что нельзя было хотеть от этого холеного, выросшего в окружении орысов, молодого парня, чтобы он сам, лично перерезал глотку отцовской лошади, чтобы отправить ее в последнее кочевье со своим хозяином. Не сможет! И потребовав от него исполнить древний обряд, я сделал только хуже, отдалился от желаемого, и отдалил наследника хана Бокея от того, чтобы он уважал древние обычаи, следовал им. По глазам вижу – сейчас откажется! Но мать схватила его за запястье, сжала, и вдруг он, неожиданно для меня, кивнул согласно. Срывающимся голосом принялся отдавать распоряжения, в юрте наступила суматоха, а мне все казалось, что я только что совершил вторую, еще большую ошибку.

Как подтверждение – неловкий, неглубокий надрез на горле связанного, уложенного коня, могучего тулпара, последним носившего хана на своей широкой спине. Не сказать, что конь этот был из самых быстрых в табунах Бокея, но покойный любил его за смирный нрав, и силу – не всякий скакун-победитель скачек-байге выдержал бы вес тучневшего с годами правителя Бокеевской Орды, этот же, спокойный, без капризов, достаточно высокий, чтобы тучный хан не смотрелся на нем смешно, крупный, с большой головой, и черной, как вороново крыло, масти, умело носить на себе своего владетельного седока со всем причитающимся достоинством. Но никакой смирный нрав не выдержит боли от неумелой стали, и конь, верно служивший отцу, захрипел, забился под ножом сына, пуская кровавую пену изо рта, ноздрей, неглубокой, но смертельно болезненной раны.

- Никогда больше! – яростно прошептал Жангир-Керей, так, что даже сквозь хрип умирающего животного было слышно. – Никогда больше!

Шепот превратился чуть ли не в крик, когда воспитанник астраханского губернатора и сын хана Бокеевской Орды со всей силы повторно полоснул по горлу коня, и кровь, мощной струей вырвавшаяся из вскрытой артерии, ударила в лицо, залила глаза, попала в рот, и, спадая, успела залить черным, горячими пахучим потоком парадные одежды ханского наследника. Подбежали, подоспели жигиты из младших братьев, взяли нож из ослабшей руки, ловко, со знанием дела, довели до конца обряд, быстро отделив голову лошади от тела, и уже в несколько рук принявшись разделывать конскую тушу, так, что вот уже и внутренности только что зарезанного животного передают на жаркое-куырдак, а Жангир-Керей все еще стоял, опустив руки, залитый кровью, быстро высыхающей, и уже больно стягивающей кожу на лице, и только губы продолжали шептать, как молитву: «Никогда больше!».

Чего он не будет никогда больше? Брать в руки нож? Резать коня? Или... слушаться шамана?! – понимание настигло меня слишком поздно, как и все, что делалось со мной в этот день. Только что я самым действенным способом отвратил наследника нашего правителя от понимания обычаев предков. Только что я уничтожил степняка, и место его займет тот, кого воспитали орысы. Тот, кто всегда будет считать наши обычаи – кровавыми, а свой собственный народ – варварами. Я потерял его, мой мальчик, и кто вернет нам нашего хана, я уже не знаю...

Я смотрел на старого шамана, и мне было жаль его. Но еще больше мне было жалко ханского наследника, каким я его представил сейчас по рассказам шамана, явившегося в медресе, чтобы поведать мне – мне, вчерашнему мальчишке! – случившееся на похоронах хана Бокея. Он пришел сегодня, на седьмой день после похорон, к воротам нашего медресе, и выглядел так, будто проскакал по степи всю ночь. А глаза у него такие, будто он не с ханских похорон явился, но со своих собственных. Ходжа На Сим удивился, спросил: - Разве не должен ты быть там, на седьмой день твой Тенгри требует свершения обрядов...

- Меня прогнали! – коротко бросил шаман в ответ, и тяжело спустившись с коня, устало, чуть ли не волоча ноги, направился к арыку, наклонился, встал на колени, упершись ладонями в землю, и опустив голову к воде, принялся пить, шумно, будто и впрямь – собака-тобет. Напившись, поднял голову, встретился со мной глазами, прохрипел:

- Мальчик... я должен с тобой поговорить... мне нужна твоя помощь...

И вот, он рассказал мне все. Втроем мы сидели на полу гостевой кельи, но говорил шаман будто только со мной. Ходжа На Сим, сидевший все это время молча рядом, только хмурился, и, хотя старый шаман не сказал ни слова в его адрес, вид у него был отчего-то виноватый. Будто прочитав вопрос в моем взгляде, буркнул:

- Когда он пришел сюда в день смерти хана, то просил отпустить тебя с ним на похороны... Я – не позволил.

Я кивнул. Все правильно. Сын Утемиса должен был быть на этих похоронах. Ученик Ак Медресе нашел бы верные слова для ханского наследника. Но меня не было рядом со старым шаманом. Меня даже не поставили в известность.

- Почему? – задавая вопрос своему Учителю, я чувствовал, как в моей груди медленно поднимается давно позабытое чувство – гнев. Я сердился на человека, поправшего мое право степняка. Мой долг родича. Я сердился на чужака, решавшего за меня и вместо меня, и я уже не видел в старом суфии своего ходжу-наставника. Передо мной сейчас

сидел тайчи-китаец, хитрый интриган, заполучивший власть надо мной, и эту власть использовавший против моего племени, против моих обычаев. Ходжа почувствовал это, словно ощутил мой гнев, и мудрость изменила ему. Он заговорил – там, где следовало молчать, дать моему гневу остыть, снова увидеть в нем наставника. Он попытался оправдаться, и я, чья кровь всегда признавала силу превыше мудрости, потерял в него веру:

- Ты еще не готов... тебе нельзя сейчас покидать медресе... слишком много тропинок в будущем ведут туда, где тебя ждет злая судьба... твоих знаний недостаточно...

Ходжа говорил сбивчиво, взгляд его уходил от моего встречного, требовательного, упирался в пол, в стены, но не хотел встречаться с моим, и я решился.

- Я уйду!

Ходжа замолк, потрясенный, и наконец, поднял глаза, посмотрел в мои, и я увидел, что он плачет. Эти слезы еще больше разозлили меня. Мой наставник не должен быть слабым! Даже если знает меня так хорошо, что почти читает мои мысли.

- Ты обвиняешь меня в слабости, мальчик, но разве сам ты сейчас силен? Разве народ твой – силен? Разве обряды и обычаи твои, что якорем тянут в прошлое, важнее знаний, что поведут тебя в будущее?

- Без прошлого нет будущего, ты сам говорил! – я кричал, всем своим тоном я хамил своему наставнику, которого еще сегодня утром почитал превыше отца, а сейчас...

- Ты сам, твой народ еще долго будете страдать от того, что превратите свое прошлое в единственное достояние, с которым будете стремиться в будущее...

- Ты пытался решать за меня! – перебил я учителя. Он становился в моих глазах все более жалким, все менее сильным...

- Я делал то, что должен делать учитель. Отринув над собой-нынешним власть наставника, ты отрицаешь знания, которые мог бы получить. Ты думаешь, что уходишь из-под моей власти, но на самом деле ты уходишь от знаний собственных под власть тех, кто будет знать больше тебя, и всегда будет этим пользоваться. Народ, перед которым твой хан склонил голову, смог в свое время отринуть старое, чтобы научиться... теперь у них есть ружья и армия, пушки и государство, которое решает судьбу земель твоего народа, ты же злишься на меня за то, что я заботился о твоих уроках...

- Время твоих уроков прошло, На Сим! Волку не нужен урок охоты! – я открыто издевался над наставником, над его слабостью, его слезами, но тут я понял: он больше не плачет. Грустная улыбка коснулась губ старого тайчи:

- Ты считаешь себя волком? – он покачал головой – Нет, ты будешь псом. Тобетом-сторожем на службе у тех, кто умеет приручать волков, и превращать волчат в своих слуг. Даже сражаясь за свой народ, ты никогда не укусишь руку своих истинных хозяев. В последний раз я говорю тебе, как твой наставник – оставайся.

Перемена, случившаяся на моих глазах, прогнала весь мой гнев. Я снова видел учителя, ходжу На Сима, человека, пронесшего меня на руках сквозь складки в ветхих одеяниях мира, но мое упрямство связало язык, сковало сердце, сказанные учителю злые слова жгли горло и нёбо, и я в ответ, вместо того, чтобы согласно кивнуть, замотал головой. Решение, каким бы оно ни было, принято, и я не стану ничего менять. Потому что... потому что не

смогу забыть слез на глазах учителя. Не смогу забыть своей вины перед ним. Вины, которую, как мне тогда казалось, я никогда не смог бы исправить.

- Я верну! Я все исправлю! – прошептал я, обернувшись к шаману.

Старик кивнул согласно:

- Да, только ты сможешь, мальчик. Вернуть нашему народу хана, исправить мои ошибки... только ты...

Ходжа встал, направился к выходу, обернулся через плечо. На меня не смотрел – только на шамана.

- Заставить платить за ошибки прошлого – ценой будущего, лишать свое собственное будущее его судьбы, потому что сам не можешь исправить то, что испортил – это ты называешь заботой о своем народе, служитель бога-Неба? Ради этого ты уходил когда-то от нас, чтобы сегодня заставить этого мальчика повторить свои ошибки? Уходи же сейчас, и больше не являйся. Дорога в нашу школу для тебя отныне закрыта, язычник! Аллах велик и всепрощающ, но не все его слуги таковы. Я – не такой. И этого мальчика, и его злую судьбу, я тебе никогда не прощу, пес!

Сказал – и вышел. Я посмотрел на шамана. Старик сидел на полу, наклонив голову. Сейчас и вправду он был похож на побитую собаку.

+ + +

*Кто ни разу не седлал
в путь походного коня,
сильной дланью не сжимал
древко острого копья,
кто без снеди и без сна
не пытался мир познать,
не протёр седлом потник,
хоть и видел, но не вник
в то, что пот течет зимой,
хладным может быть и зной,
изголовьем – металл,
кто врага в лицо не знал,
не узрел, что им рожденный
сын взрослеет отчужденно,
кто на ложе, даже раз бы,
не купался в женской ласке,
после голода и жажды*

*не объелся б жирным мясом,
не облит был, хоть однажды,
ложью, подлостью и грязью,
кто не знал любви и боя,
всех лишений и мучений,
разве может быть героем
или, просто, - быть мужчиной?!*

Махамбет Утемисулы – «Гимн мужеству»

(Перевод Б.Карашина)

+ + +

Конец книги первой

Кой жасы – Время агнца

+ + +

Книга вторая
ЖЫЛКЫ ЖАСЫ - ВРЕМЯ ЖЕРЕБЦА

+ + +

*Я силён, плечист и статен,
хоть и выкован из стали,
но не хрупок, а упруг,
при стрельбе же - длиннорук,
а когда враги вокруг,
я - глашатай громогласный.
Подо мною конь саврасый -
круп лоснится, словно воск,
грива – связка, плётка - хвост.
Я, пустив коня в галоп,
хоть и в шлемах, но достану
много вражеских голов.
Вражий стяг в его же стане,
прорываясь, напролом,
на скаку беру в полон.
Радость я вкусил побед,
славный воин Махамбет!*

Махамбет Утемисулы – «Славный воин Махамбет»

(перевод Б.Карашина)

+ + +

История Первая.... НАСТАВНИК

- Сам еще недоучка, ханского наследника обучать будешь? – старый шаман смотрел, как ему казалось, грозно. А как по мне – жалко. И смотрел, и сам смотрелся – жалким, усталым, уже проигравшим все, что только можно было в этой жизни, да и во всех последующих, если они причитаются такому путпересту и кафиру, как он!

- Уйди, старик, не мешай собираться в дорогу! – мне хотелось прикрикнуть, но голос отчего-то вырвался всхлипом, и я сам вмиг стал таким же жалким, как мой бывший наставник. Это меня разозлило. А его, отчего-то, наоборот...

- В доро... кхе-кха!.. в дорогу?! Скажи уж лучше – в ссылку! – старый шаман говорил сквозь смех, смеялся сквозь кашель, а глаза оставались серьезными. Мне показалось даже, что злыми. Или мне так хотелось, чтобы зол был сегодня не я один?

- Я – наставник Зулькарная!

- Уй бай, на него посмотрите! Аристотель ты наш недоученный! Вот какой у тебя Искандер – такой ты ему и наставник будешь! – старик откровенно издевался, хотел обидеть, сделать больнее. Не поддамся!

- Не я мальчишке имя выбирал!..

- Не ты! – согласно кивнул старик, прекратив смеяться, теперь уже только хитро ухмыляясь, однако глаза теперь уже перестали быть такими серьезными, веселье плясало в них шайтанское, все еще злое, и я понял, что вот сейчас он меня собирается обидеть всерьез и по-настоящему. – Тебя не спрашивали! Тебя вообще о чем ни будь тут спрашивали? Хотя вроде бы советником, в твои-то юные годы! – в ставку самого ханского наследника Жангир-Керей Хана пригласили, убедили учебу в медресе бросить ради почета такого, а кем стал? Шутом гороховым? Стихами развлекаешь ханские мажилисы, сытно ешь, сладко спишь, вместо хана жертвенных животных тебе резать позволяют... да только не потому, что на самом деле почет, это так старосты кочевые пускай думают, мы-то знаем, что от страха, боится наш хан вида крови...

Ошибся я! Стерлись зубы у старого шамана, не пронять ему меня этими упреками, не обидеть. Уж сколько раз между нами обмусолен страх Жангир-Керея перед видом крови, и то, что почетное право ножом по горлу жертвенных животных проводить наследник Орды Бокеевской, то мне, то Исатаю доверяет, на самом деле попросту от боязни... А ведь не прав старик! Говорил я об этом с ханом, и признался он мне в таком, что у другого степняка, может, и вызвало бы недоумение, а я его еще больше зауважал! Не крови боится мой хан, но грех убийства существа живого, чья жизнь Всевышним Создателем дана, совершать не хочет. «Не мной, - говорил мне Жангир хан в порыве искренности, доступной лишь самым близким, - эта жизнь создана, так мне ли ее отнимать?» Знаю, что шаман наш, со своим жестоким Тенгри, почитающим доблесть воина превыше мудрости государственной, никогда не сумеет понять моего хана. Мне и самому эта жестокость близка, и что такое радость воина, сразившего врага своей рукой, в битве, я по участию в дозорах с жигитами старшего моего названного брата, Исатая, против казаков, что кочевья наши грабить выходят, хорошо знаю. Знаю, и потому не скажу старому шаману ничего, пускай он думает, что такими вот словами может обидеть меня, Махамбета, сына Утемиса, близкого друга и товарища самого лучшего из ханов, что являлись в нашу степь. Пускай! Жалко его, постарел, хватку потерял, уж и обидеть никого как следует не может...

- А вот увидел он, какими глазами смотрит на сильные руки твои дочка муфтия оренбургского, и понял, что отсылать тебя надобно подальше! И Юзум своей угодит, матери подопечного твоего, и свое ревнивое сердце оградит от лишних волнений...

Вот, опять ошибся! Думал, не может меня старый волк укусить, подрастерял свои зубы, а нет! В самое сердце ударил, пробил доспех безразличия, и сам понял, что получилось у него, по глазам вижу – понял!..

- Поняла ли я? – большие, но не как у орысов, совсем другие, вытянутые, как два огромных миндаля-бадама, вверх, к разлету крыльев-бровей, глаза Фатимы уставились на Жангир-Керея через губернаторский стол: дочку оренбургского муфтия, и наследника хана Бокеевской Орды, на этом приеме в доме у губернатора Астрахани усадили напротив друг друга. – Конечно же, поняла! У меня кормилица была из киргизок, так что и песни ваши мне совершенно не чужие, и язык ваш мне вполне знаком!

- Тогда почему же вы говорите со мной по-русски, сударыня? – Жангир- керей спросил хоть и с кажущейся укоризной, однако во всем был - сама любезность, холеные руки его предвосхищали попытки неловких губернаторских лакеев, и наполняли бокал морсом из хрустального графина раньше, чем тот или иной их домашних халдеев Андриевского успевал хотя бы потянуться. Фатима с улыбкой принимала ухаживания своего визави, и почти ни на кого другого за весь ужин не посмотрела. Ну, разве что на акына, позабавившего собрание исполнением собственного сочинения степняцкой песни.

- А как же иначе, господин Букеев?! Ведь, право, это было бы невежливо по отношению к нашему хозяину, и могло бы вызвать его недовольство, не так ли, господин генерал-губернатор? – Фатима повернулась к его превосходительству, восседавшему во главе застолья.

- Никаких чинов, любезная моя, для вас я только и только Степан Семенович, и никак иначе! И уж какое может быть недовольство, право же... - Андреевский выглядел весьма довольным – что состояньем, в котором обнаружил воспитанника своего, когда-то пребывавшего в доме его в качестве аманата, а ныне ставшего искренним другом, Жангир-Керея, а того паче радовал генерал-губернатора назревавший ныне под кровом его альянс, выпестованный в качестве компромисса между Астраханью и Оренбургом в определении своего влияния на приуральские земли и киргизов, их населяющих.

Генерал-губернатор оренбургский, Петр Кириллович Эссен, человек педантичный, службу государю мыслил исключительно в категориях жесточайшей дисциплины, вольностей павловских, дарованных киргизам орды букеевской, в душе, видать, вовсе не одобрял, хотя из уважения к государю, когда-то самолично пожаловавшего его золотой шпагой, супротив политики покойного ныне монарха характера не выказывал, однако уравнивал все вольности сии истинно армейскою требовательностью. И хотя со Степаном Семеновичем взгляды в том, как следует обращаться со степным людом, у Эссена расходились, однако интерес бывшего военного к медицинским наукам, и немалые достижения на этом поприще старика Андреевского, не могло не возыметь влияния примиряющего, и даже более того, обязывающего к уважению. От уважения того и принял Петр Кириллович каприз старика, посоветовавшего не ущемлять гордости степных султанов директивами всяческими, но решить все тоньше, «по-восточному», как выразился сам Андреевский. «Византийщина этот прожект ваш, почтенный сударь, однако поелику так почитаете нужным...» - с такой вот резолюцией согласился Эссен на план Степана Семеновича, но настоял, чтобы девицу для барака с султаном земель приуральских выбирали из кандидатур не Астраханской, но Оренбургской Губернии.

Фатиму, дочь старшего муфтия оренбургской мечети, человека, весьма преданного государю, и преданность свою доказавшего ещё во времена пугачевского восстания, оба генерал-губернатора одобрили, нимало не поспорив, действительный статский советник же на склоне лет своих, Степан Семенович, по вдовству да в шутку именуемый среди астраханского «общества» женихом из завидных, даже усмехнулся в седой ус: «Эх, повстречал бы я ее годков эдак дцать тому... да за ради такой и в басурманскую веру

обратиться не грех, господь, поди, понял бы мя, грешного!»». Эссен на браваду старческую только сухо улыбнулся, чуть двинув тонкими губами, да и выправил поездку отца-муфтия с дочерью в Астрахань по делам государственным, за государственный же кошт, и наказал пребывать не абы где, а в доме самого Андреевского, который на ту пору и пригласил к себе в гости, опять же, по оказии дел государственной важности, наследника хана Бокея, своего аманата Жангир-Керея. А тот возьми, да и привези с собой целую ораву, и ладно бы таких же, как он, киргизов, что успели русскою культурой проникнуться, а то ведь взял к чему невесть дикаря этого, Махамбета!

Дикарь сидел на дорогом персидском ковре, скрестив ноги, не ощущая никакого неудобства, словно на кошме в юрте своей, сняв чапан, и оставшийся в одной кожаной жилеточке на голое тело свое, и мышцы, толстыми кручеными канатами опутывавшие крепкие плечи и руки, никак не вязались с той тонкостью да мастерством, что грубые пальцы его извлекали из домбры степняцкой. Взор у дикаря был дерзкий, горел взгляд огнем той самой первой страсти, которую умудренный жизненным опытом господин статский советник и местный светоч медицинских наук, Степан Семенович Андреевский научился безошибочно распознавать в молодых людях.

А еще по глубокому жизненному опыту своему знал генерал-губернатор и медикус астраханский, что страсти такие в делах сердешных, ни к чему хорошему в делах государственных привести не могут, а потому следует вмешаться немедля, дабы не позволить сорванцу Амуру капризом своим разрушить стройную, но пока еще столь хрупкую конструкцию политического союза, с таким тщанием возводимую им с тех самых пор, как принял он в свой дом султанова первенца, аманата-заложника, ставшего для него чуть ли не сыном. Так что, не про дикаря с домброй эта дева знойная, краса татарская, всяк сверчок – знай свой шесток, кесарю – кесарево, а дикарю степняцкому уже всяко любовь в степях бескрайних сыщется, и без дочери оренбургского муфтия. Тем паче, что в таком возрасте киргизы давно уже женами обзаводиться обыкновение имеют, Фатима же, девица гордая, своенравная, дикарю в гарем не пойдет, ведь даже наследнику султана во вторые жены идти желаньем не горела. Убеждения ради пришлось обещать, что законною супружницею Жангир Керею, ежели альянс сложится, согласно государственным имперским реестрам, только ей и быть, потому как с первою своею женой, Юзум из племени буйных адаев, наследник Бокей хана никаких регистрационных процедур в канцеляриях не проводил, а значит, ежели родятся у ней дети от Жангира, то им, согласно российским законам, и быть истинными наследниками всего, чем император хана наделить изволил: от титула, и до земель!

Амбициозна, горда не в меру, но при этом крепко держащаяся стройными ножками своими за грешную землю, дочь татарского муфтия понимала, не могла не понять, что лучшего альянса ей никто и никогда не предложит, к тому же немалые преференции были обещаны Петром Кирилловичем Эссенем отцу Фатимы. Так мыслимо ли теперь, чтобы страсть незваная, нежданная, этот дивный пасьянс перемешала?

А дикарь знай себе, подливает масла в огонь! Волшебной гибкости пальцы его, вновь забегали по грифу домбры, и вот поет он вновь, восхваляя мужество да удаль степных батыров:

Кто ни разу не седлал

в путь походного коня,

*сильной дланью не сжимал
древко острого копья,
кто без снеди и без сна
не пытался мир познать,
не протёр седлом потник,
хоть и видел, но не вник
в то, что пот течёт зимой,
хладным может быть и зной,
изголовьем – металл,
кто врага в лицо не знал,
не узрел, что им рожденный
сын взрослеет отчужденно,
кто на ложе, даже раз бы,
не купался в женской ласке,
после голода и жажды
не объелся б жирным мясом,
не облит был, хоть однажды,
ложью, подлостью и грязью,
кто не знал любви и боя,
всех лишений и мучений,
разве может быть героем,
даже - проще - быть мужчиной?!*

На последних словах Фатима с уже и вовсе неприкрытым интересом посмотрела на певца кайсацкого мужества, и ровно таким же неприкрытым стало недовольство хозяина дома, генерал-губернатора Астрахани, господина Андреевского, который, помимо прочих, человеколюбивых званий и качеств своих, все же являлся русским офицером, военным человеком, песня же эта, так некстати восхвалявшая боевое мужество, была довольно известна ему из особых докладов по делам нескончаемых стычек, что случались промеж степняков и казаков. Значит, вот он каков, тот самый молодой акын, что был замечен в начале этого года во время приграничной схватки между жигитами Исатая Тайманова и казачьим разездом близ Сарайчика? Согласно докладу, троих реестровых казаков некий молодой, низкорослый киргиз с домброй у луки седла зарубил самолично, однако выдавать убийца, как и прочих, кто из кайсаков в той стычке замечен был, степняки отказались, заявив, что те бежали в Хиву, и передать их властям никак не представляется возможным. А ведь. Отговорку это в письме своем Жангир Керей самолично писал!..

Самоллично ни в каких стычках с применением боевого оружия участия не принимавший, Жангир Керей был ныне не в себе! К взаимной симпатии своего любимца Махамбета и строптивного, боевого вождя клана беришей Исатая Тайманова, наследник Бокеевской Орды относился с непонятной ревностью, и прикрывать боевые подвиги обоих, ему уже изрядно надоело. Однако, понимал он и то, что Тайманов с его жигитами был и остается единственной силою, способной дать окорот барымтачам из яицких казаков, не желающих работать в рыболовных артелях, и в мирное время промысляющих грабежом степняцких кочевий. Генералы, майоры да капитаны русские из десяти жалоб на своеволие казачье ежели одну рассмотрят, и то в радость, а уж экспедицию супротив казаков снаряжать и вовсе не станут, не было еще такого в степи, с тех пор еще, как хан Абылай присягу верноподданническую императрице принес! И авторитет хана среди своих людей держался на клинках исатаевских бойцов не меньше, чем на благоволении имперского двуглавого орла.

Где-то глубоко в душе он завидовал своему любимцу, его отваге и силе, тому, что среди обычных кайсаков-шаруа младшего жуза популярность акына и батыра Махамбета растет, и всяк восхищается его удалью да мужественностью, коими ханский наследник, не особо сильный здоровьем своим, похвастаться и вовсе не мог. И вот, теперь, еще и красавица Фатима смотрит на Махамбета, на сильные обнаженные плечи его, таким же точно взглядом, каким самые дерзкие из девушек на выданье обычно провожают коренастого сына утемисова, когда он гордый после очередной победы, выходит с борцовской площадки, будто ощупывают намазанное жиром-маем тело борца, да гадают, каких же сыновей могут родить от него, такого... такого...

- Дерзкий! Позор мне, и всем нам, из-за дел и слов твоих, Махамбет! В собственном доме оскорблять его хозяина, похваляясь битвами с его соплеменниками – не позор ли?! Ты ел его хлеб и мясо, пил из его посуды, и хвалишься под его же шаныраком тем, какой ты батыр – достойно ли нашего народа?!

Жангир Керей это умел! Не похвалить, но словом своим, выражая недовольство, достать до самой глубины души, заставить человека почувствовать вину и стыд – воистину, талант, необходимый правителю, и наследник бокеевский эти даром обладал вполне! Как только он заговорил, Махамбет вскочил с ковра, и теперь стоял, сжимая в одной руке домбру, словно силясь сломать крепкий гриф из клёна, вторую же с силою, но в бессильной против правителя своего ярости, сжимая в кулак. Цвет темного лица его становился и вовсе то черным, то лиловым, желваки на острых скулах перекатывались, взор же, еще минутою ранее столь дерзкий, ныне уперся в ковер, у самых ног, и не смел он поднять взгляда, а пуще всего боялся увидеть насмешку в глазах той, понравится которой так хотелось, ради которой и совершил безрассудную ошибку свою, взывал гнев своего благодетеля и хана, опозорил свой род и племя!..

- Прочь поди с глаз моих, сейчас же! – на последней фразе голос ханского наследника и покровителя, старшего товарища и друга прозвучал, как удар хлыстом-камшой, и Махамбет бросился прочь из приемной залы, не помня себя, побежал вниз по мраморным лестницам, оставив генерал-губернатора и гостей в изрядном смущении от той сцены, невольными свидетелями которой им пришлось стать.

Установившуюся неловкую, гнетущую тишину нарушил Мустафа-ходжа, старший муфтий Оренбурга и отец красавицы Фатимы. Голос его, хорошо поставленный, полный поучительных интонаций, как и положено духовному наставнику, звучал негромко, но, в свою очередь, заставил устыдиться на этот раз самого Жангира Керей:

- Молодость может сподвигнуть на всяческую ошибку человека простого, не обремененного властью, но правителю своего народа даже молодость не является оправданием для публичного унижения подданных своих. Я, пожалуй, пойду и поговорю с юным... как его? Махамбет, сын Утемисов? А когда приведу, надеюсь, что наше застолье будет протекать в мире и согласии! – сказал ходжа, и выходя, бросил быстрый, наполненный укоризны взгляд... нет, не на Жангир Керея, но на свою дочь, кокетство которой старый муфтий и считал истинной причиной случившейся неловкости. Впрочем, сама Фатима так не считала, судя по тому, что никак не смутилась от проявления отчего гнева, и даже напротив, дерзко вскинула головку, и чуть насмешливо улыбнулась.

Качая головой, Мустафа ходжа спустился по лестницам, гораздо степеннее и от того медленнее повторив путь Махамбета к выходу из генерал-губернаторского дома. Изгнанного ханом акына он обнаружил в губернаторском саду, на центральной аллее, усаженной кипарисами и крымскими рододендронами. Коренастый степняк казался чем-то дивным, чужеродным в окружении буйно цветущей растительности, которая вообще-то сама была чужою в этих краях, завезенная и заботливо привитая стараниями человека в этих краях, изначально не родивших такую зелень. Казалось, что гнев и смущение уже выветрились, покинули душу и разум Махамбета, вытесненные красотой этих чудесных растений – с такою радостной улыбкой на лице и каким-то даже детским изумлением он разглядывал окружающее его цветочное великолепие.

Старый муфтий приблизился к сыну Утемиса, и обращаясь к нему, заговорил языком степным, наречием киргизов Младшего Жуза:

- Уа, Махамбет! Разве годно избранному ученику самого Пир Бекета такое невоздержанное поведение? Знаешь ведь, а коль не знаешь, так мог бы и догадаться, что дочь моя хану твоему сужена, и не гоже тебе песнями да удалю перед чужою невестой хвалиться. Хотя... - старый татарин тут сделал паузу, и в зеленых глазах его мелькнуло что-то такое, что совсем другой наставник-ходжа в почти уж насильно позабытом Белом Медресе назвал бы «огнем хитрости шайтана». Недолгой была эта пауза, однако сказанная вослед мысль еще сильнее впечаталась в разгоряченное, и от того подобное раскаленной меди, сердце Махамбета: - Хотя, если бы это довелось решать мне, я бы с честью назвал сыном тебя, сын кочевого старосты Утемиса, чей талант к изучению Пути пророка нашего Мухаммеда отметил сам Пир Бекет, нежели ханского наследника, чье воспитание доверили гяуру-христианину, и который сам не считает нужным ни вершить ежедневный намаз, ни искоренять язычество шаманов лжебога Тенгри на вверенных ему землях!

Что-то лисье было в лице старого татарина, говорившего такие слова ему, Махамбету, в самом сердце губернаторского сада, этом средоточии и доказательстве, как ему казалось, истинной мощи империи русской. Еще не доводилось ему сталкиваться в бою с войсками русской регулярной армии, казаков же он не боялся, и даже лично довелось побеждать их в бою, так что трепета перед русским штыком этот степняк не ведал, но вот то, что видел он в городах русских, эти каменные дома, библиотеки, хранящие множество бесценных книг, и эта воистину чудесная способность растить деревья там, где отродясь была лишь только голая степь – именно она казалась ему истинным свидетельством имперского могущества. Может, поэтому, а может, еще и потому, что само значенье последней фразы татарского муфтия уж очень приятно было ему слышать, но не заметил от природы пронизательный Махамбет этого лисьего, хитрого оскала, прорвавшегося на миг сквозь маску благонаравия и мудрости.

И потому отвечал татарскому муфтию он искренне, со всем жаром своего горящего сердца:

- Все верное сказал ты, ходжа, и вину свою я признаю, и прошу у тебя прощения, и слова твои мне душу лечат. Все верно, кроме того, что не ученик я Пир Бекету, хоть и вправду отмечен был им когда-то, наставником в изучении Ислама был мне суфий На Сим из Белого Медресе, его я ученик, а теперь хочу сказать, что с радостью назвал бы своим наставником и тебя. Найти суфия-наставника в наше время – что может быть ценнее в этой брэнной жизни?!

- Кхм... - татарин кашлянул в кулак, прикрывая удивление и еще более увеличившийся интерес свой к этому степняку: - Суфий, говоришь? Нет, сын Утемиса, я не следую учению суфиев, у нас, татар, что испокон обретаются вдоль реки Едиль, редко сыщешь последователя суфиев, мы придерживаемся пути имама Абу Ханифы, самого близкого к учению Пророка Мухаммеда, Мир Ему, и родичей твоих к этому же пути приобщить стараемся. С суфиями у нас... кхм... есть разночтения по многим вопросам, но интересно мне стало, что за медресе такой, о котором я никогда не слышал?! Где оно находится, и можно ли человеку, ищущему истину, найти его, чтобы поговорить с наставником, провести беседы о служении создателю, укрепить *иман-веру* и усилить *илим-знания* свои?

Смутился Махамбет. Вспомнил, что нежелательным считалось упоминание при чужих о самом существовании Ак Медресе, и хоть не было на это запрета прямого, но само собою подразумевалось, что вести разговоры о суфийской школе с непосвященным было крайне нежелательным, и до сих пор никому, даже покровителю своему Жангир Керее, не рассказывал ученик ходжи На Сима о том, где именно довелось ему учиться. Только он сам, отец его, не имеющий обыкновения много болтать, да шаман, вот и все из людей, известных ему, кто знал о суфийском медресе в Сарайчике! Однако сладкий мед вовремя произнесенной лестии уже проник в трещины души, затушив всякие возможные подозрения, подавляемый же гнев на весь мир за несправедливость, столь присущий всем влюбленным, притупил осторожность, и вскоре Махамбет, ничего не утаивая, оживленно рассказывал ходже Мустафе о днях, проведенных им в Сарайчике.

Степан Семенович Андреевский смотрел из высокого окна, как по центральной аллее губернаторского сада идут, рядышком, буйный степняк, оживленно что-то рассказывающий, и рядом семенит татарский муфтий, внимательно слушающий и кивающий, кивающий... О чем говорили они, генерал-губернатору отсюда было никак не слышать, однако старик чувствовал благодарность к отцу будущей супруги своего воспитанника за то, что тому удалось справиться и разрешить возникшую на столь важном этом приеме неловкость.

Чуть позже и старший муфтий Оренбурга, и сам провинившийся Махамбет, вернулись в дом, и присоединились к чаепитию и десертам, традиционно изобильным в Астрахани. Казавшийся до того буйным степняк, вовсе утихомирился, смиренно принес извинения свои, татарского муфтия иначе, как ходжа-наставник, уже и не именовал, на дочь же его даже не смотрел. Впрочем, как и на друга и покровителя своего, Жангир Керее. Хотя тому и дела до внимания со стороны Махамбета никакого не было, потому как внимание это было бы нынче вовсе не желательным, настолько удачно складывалась беседа с умной и красивой Фатимой, которая, обнаружив такое взаимопонимание между своим отцом и дерзким акыном, потеряла к последнему всяческий интерес.

Оставшееся время приема прошло чинно, благородно, безо всяческих пассажей. Что только радовало!

+ + +

Радуетя, глядите! Старый шаман даже не скрывает радости своей, что пробил спокойствие мое, заставил болеть сердце, казалось бы, излеченное моим новым наставником. Многому научил меня этот старик, еще большему – наставник мой суфийский, ходжа На Сим, а вот как с любовным недугом справиться – не научили. И только новый мой наставник, отец прекрасной Фатимы, ходжа Мустафа, казалось мне, мудростью своей, что гораздо ближе к реальности нашей, земной, без всей этой греховной волшбы, что у суфией да язычников Тенгри, сердце раненное любовью, вылечил... А этот опять заскорузлими пальцами своими, грязными степной пылью ногтями, да по зарубцевавшимся ранам!.. Как бы его обидеть сильнее?

- Прав был ходжа На Сим! Глуп ты, старик! То, что ты пытаешься сделать – на самом деле предательство. Народ свой предаешь, назад тянешь. Меня предаешь, оскорбляя, заставляя страдать. Кого ты еще не предал? Ученье суфийское – предал, обратно к язычеству вернувшись, хана своего каждым таким разговором предаешь!.. Знать тебя не желаю, предателя! Не наставник ты мне боле, и не разговаривай со мной, не входи под шанырак юрты моей, не будет тебе в ней угощенья, а только побои. Я же под один шанырак с тобой и сам не войду, и под этим не останусь!

Вижу – проняло старика! Аж побелел, как полотно-саван, которым мертвецов заворачивают. Жалким таким, бессильным мне кажется он сейчас, бывший мой наставник. Самое время оставить его. Пусть знает, каково это, обижать Махамбета, сына Утемиса!

Схватил я уже собранную котомку свою, и вышел из юрты, оставив онемевшего старика шамана. Пусть мучается. А я в Россию еду! Туда, где сила! Буду сыну ханскому – наставником!..

+ + +

Шаман смотрел, как Махамбет с презрительной усмешкой на лице отводит полог юрты, выходит прочь. Не окликнул, не смог. Сил не хватило. Знал, что если остановит, то должен будет рассказать то, что скрывает от него новый наставник, муфтий татарский, тесть новой ханской жены. Сам шаман об этом узнал недавно. Сначала – увидел во сне. Как казачье ополчение окружило тайное место, до сих пор скрытое силой тайного знания суфиев от нежелательных взоров. Непростые то были казаки, из «перевыкрестов», отказавшихся от старой веры, и перешедших в никонианскую, чужие даже среди своих соплеменников. Более сотни таких держал при себе в Оренбурге генерал-губернатор Эссен, и использовал только для особых целей. Карательных – супротив своих же казаков, или таких вот дел, коими ведали церковь да мечеть, что службу имперскую заместо службы Создателю несли. И привели они с собой непростого же человека, шамана-недоучку, пойманного в степях близ моря Аральского, чья семья держалась в заложниках у империи, и заставили снять завесу защитную, открыть доступ к Белому Медресе.

А дальше – была бойня. И узрел старый суфийский наставник ходжа На Сим, как раскрываются алые цветы на белых одеждах талибов-учеников, в чьи тела входит свинец, как рассекают плоть мальчишек, еще совсем детей, казачьи сабли, одним ударом, от ключицы до пояса, как на всем скаку поднимает казак в черной бурке на пику тело ребенка, в последний миг от страха пытавшегося прикрыться Книгой... Сквозь кожаную

обложку старинной работы проходит острие пики, пробивает страницы со священными текстами, мудростью, бессильной против стали, и дальше, в самую плоть, в сердце, еще миг назад бившееся верой в Создателя, вонзается, и выходит через узкую детскую спину...

Видел в своем сне шаман, как умер суфийский ходжа На Сим. Дважды умирал там этот человек. Сначала умер суфий миролюбец, освободив дремавшего долгие годы воина мусульманской школы У-Шу, уйгурского генерала повстанцев, грозы циньских императорских войск. Отнял он пику у одного из казаков, по ходу сломав ему шею, коня же заставив рухнуть так, чтобы и ноги себе переломать, и спину ему защищать. И еще восемь раз грех смертоубийства взял он на себя в этот страшных день. Восьмерых «перевыкрестов» отправил... в рай ли православный, никонианский, в ад ли авраамитский, никому то не ведомо, а кто обратное утверждать станет – врет, гад!

И только металл не врет, лишая жизни, сталь клинка ли, свинец ли пули литой... Очнулись казаки, окружили мечущегося в смертельном танце-припадке старика, и давай поливать огнем из ружей своих. Во второй раз погиб один и тот же человек в этот день, и никто не воздал ему почестей, потому что велено было атаману карательной сотни казачьей ни одной живой души еретической не оставлять, а школу сжечь, и место то особой солью засыпать.

И последнее, что видел во сне своем старый шаман – как выл, глядя в небо, недоучка, которого привезли силою из степей приаральских, выкатывал глаза в безумии, и пожалел его казачий атаман, отрубил голову одним ударом шашки, и с тем ударом клинка пропал сон. Чтобы увериться, выехал прямо в ночь, коня чуть не загнал, а когда прибыл, застал на месте Белого Медресе лишь пепел, перемешанный с солью, развалины стен, да обгорелые человеческие кости. Детей, подростков... и одного старика. Хоронить не стал – нужды не было. Что огнем очищено, непременно к Отцу-Небу, в Присутствие Тенгри отойдет! И кто обратное утверждать станет – врет, гад!

И только сердце – не врет. И шепчет сердце, и разум в кои то веки с ним соглашается, когда называют они того, кто выдал служителям пустынного бога место последнего приюта суфиев в степи. Имя того, чей разум ослепила любовь, а разум – лесть, да чудеса имперского могущества. Имя это – Махамбет!

+ + +

*Юркий жаворонок в небе,
а гнездо его в траве.
коль вода траву затопит -
загорюет мать в беде.
Черный сокол, белый ястреб
гнезда вьют в тени берез,
коль собьет гнездовья ветер -
загорюет мать без слёз.
Чем величественнее горы,*

тем прохладней даже снег.

Чем бесчисленней истоки,

тем, как море, устья рек.

Если войско легкокрыло

выходило шествовать,

то, конечно же, батыры

возглавляли эту рать.

Тот, кто вовсе не застенчив,

но отборнейших кровей, -

больше слушает, но меньше,

потешает слух людей.

Махамбет Утемисулы – «Жаворонок»

(перевод Б.Карашина)

+++

История вторая

ИЗМЕННИК

- Изменник!

Карауыл-кожа не говорил – визжал над Сагынтаем, чья спина была рассечена недавней поркой в один сплошной кровавый шрам. Несчастный пастух, из беднейших шаруа немногочисленного рода Кызылкурт, имел наглость пасти свой скот на его, зятя славнейшего из ханов младшего жуза, землях, и получил за это сорок плетей. Пол мнению самого Карауыл-кожи наказание было вполне справедливым – недавно назначенный Жангир-Кереем управлять землями от Кызылкоги и до самых северных границ Бокеевской Орды, он сразу же начал вводить порядки, которым научился еще во времена гимназической юности в России. Для всех прочих происходящее было в новинку – даже самые верные и близкие родичи удивились, услышав требование нового правителя догнать пастуха, каких-то три ночи пропасшего свое стадо в несчастные сто голов на самой границе его подчиненных теперь их роду земель. Догнать, поймать, и привести вместе со всем стадом в его ставку!

Пастбища испокон веков были общими. Земля была всех – и ничья, и даже поговорка у степного народа была, что только ковыряющиеся в ней земледельцы промеж собой спорить могут, кому принадлежит земля, кочевник же знает, что это мы сами все принадлежим ей. Но зять хана Жангир Кереев, все свое детство проведенный с ним в числе аманатов из сыновей самых видных глав кочевий в России, считал нужным изменить все – от старых укладов, до пословиц. Балагур и весельчак, любивший женщин, крепкие русские напитки и жирную еду, а того паче – любивший деньги, Карауыл-кожа

становиться собственностью земли не торопился, но напротив, стремился сам сделать ее как можно в больших количествах своею собственностью, и использовал для этого все, чему обучился в империи. Это для родичей его казалось невероятным, что за выпас скота на вверенной ему земле можно высечь человека плетью до полусмерти, а скот этот самый отнять, в качестве «уплаты за выпас». Что за посягательство на имущество можно обвинить изменником. Сам же Карауыл-кожа Бабажанулы, будучи еще юным гимназистом, одним из немногих кайсацких детей, кого за веселый нрав и вечное наличие денег в кармане дети русских чиновников принимали в свои игры и не кликали обидно «чуркою», хорошо запомнил сцену, свидетелем которой стал в Астрахани.

За мелкой кражей на базаре, что на Исадах, поймали слугу барина из Тульской Губернии, приехавшего с визитацией к генерал-губернатору в гости. И был тот несчастный воришка так же вот нещадно выпорот на подворье, в присутствии хозяина, и хмурых астраханцев, бурчащих себе под нос, что мол бежишь от произвола барского, от крепости бежишь до самых астраханских гиблых болот, а они и сюда со своими порядками нос суют! Но не бормотание обычных астраханцев впечатлило юного степняка, а услышанный им разговор, состоявшийся прямо во время порки, промеж астраханским губернатором и тульским гостем: как первый ругал обычай держать крестьян в крепости, и гордился тем, что в самой Астрахани такого никогда не было, а заезжий барин в ответ жарко доказывал, что на праве хозяина владеть не только землей и имуществом, но и людьми, на земле проживающими, и держится империя русская!

Понравилась мысль эта Карауыл-коже – владеть! Землей владеть, и даже людьми! Когда несколько лет назад Жангир Керей наконец принял полноправное ханство над наследием отца своего, подкрепленное указом самого императора из далекого Санкт-Петербурга, когда в ханской ставке возвели наследника Бокея на белую кошму, после праздничного тоя, отправился он в юрту к старому другу, с которым уже три года как состоял в родстве, и предложил ввести крепостничество над шаруа всей орды. Рассердился тогда Жангир Керей, однако гнев, по обыкновению своему, выказывать бранью не стал, а показал газеты петербургские, в которых писалось о том, что скоро и в самой империи право крепостное отменять надобно, намекнул, что за такое недолго и бунт в степи получить. Свидетелем разговора того был Махамбет, сын Утемиса, что привез на праздник из Оренбургской школы ханского сына Зулькарная.

Раньше ведь как было – каждое слово Махамбета ценил хан Жангир Керей, прислушивался, но после того, как женился на татарке Фатиме, а самого Махамбета отправил в Оренбург, пропала-исчезла старая дружба между буйным степным акыном, и образованным на русский манер ханом. Все наоборот стало. Так и в тот раз – слишком яро возмутился Махамбет на слова Карауыл-кожи, принялся с жаром на устах говорить об адатах-традициях степных, о свободах кочевничьих, что испокон веков неприкосновенны были. Вот тут поморщился хан Жангир Керей, и явно назло бывшему советнику своему взял, да и пообещал прилюдно, что в ближайшее время назначит зятя своего, сына верного отца соратника Бабажана, любимого всеми за свой веселый нрав и ум Карауыл-кожу, ни много, ни мало – главой над всеми родами Бокеевской Орды, что близ моря кочуют. А на прощанье еще и дорогой подарок сделал – любимую книгу свою в новом издании, привезенную недавно из России, новый русский перевод трактата мудреца из далекой Италии, некоего Маккиавелли: «Государь». Повезло, что называется!

А еще больше повезло, что первое, примерное наказание за нарушение новых порядков не на своих, а на этом вот несчастном чужаке довелось сделать. Свои-то, они и обидеться

могут, хотя, если верить тому же хитромудрому Маккиавели, однажды придется и своих наказывать. Непременно придется. Вон как смотрят, хмурятся от непонимания причин такой суровости, удивляются...

Сагынтай не понимал, и удивлялся. Удивляться через боль было ему непривычно – двадцать зимних кочевий, двадцать летних выпасов за спиной у шаруа из рода Кызылкурт, и каждая причина боли в степи была понятна и объяснима, а уж камшой вольного степняка по спине бить только за воровство полагалось, но так ведь ничего не украл честный шаруа Сагынтай, ни на чью имуществу не претендовал, пас небольшое стадо свое, перегоняя через границу Кызыл Коги, всего то сто с лишним баранов да овец, ведь и в прошлом году так же делал, и в позапрошлом, что изменилось-то? И почему он теперь вдруг – изменник? Кому он изменил, в чем?

- Агай, а почему – изменник? – спросил у Карауыл-кожи один из жигитов, что участвовал в поимке Сагынтая и стоял теперь рядом, будто мысли несчастного пастуха прочитав. Смутился на миг сын Бабажана и зять Жангир-Керея, но только на короткий такой миг, потому как умел он не только за праздничным дастарханом острой шуткой блеснуть, но и вообще думать умел быстрее самой быстрой стрелы, и ум его был так же остер, как наконечник той стрелы:

- Закону он изменил, что Всевышним нам ниспослан, указом императорским подтвержден, фарманом родича моего высокого, Жангирхана, нам в новый обычай дан! Земли эти, от Кызылкоги и до границ Астраханской Губернии, мои... нет – наши! И детей наших! И трава, что растет на них – наша! А значит, скот его нас с вами, и детей наших объедал! И за то по праву, данному мне нашим ханом, отнимаю я весь скот вора и изменника из рода кызыл курт, Сагынтая, и приказываю справедливо разделить между всеми жигитами, что поймали его по моему слову, в качестве награды. Коня же его... вот, тебе и дарю! – хлопнул Карауыл-кля по плечу своего жигита, и тот расплылся в радостной улыбке. Конь-то был не ахти какой, старый был конь, однако само благоволение новой, такой суровой и могучей теперь власти, превращало старую клячу – в могучего скакуна- тулпара, а явную несправедливость, творимую тут – в высшую, недоступную пониманию простых смертных мудрость самой Власти! И понял ханский зять, что меняется история Великой Степи ныне так, как он и хотел, и он сам ее нынче меняет. Изменяет! И еще громче вопил Карауыл-кожа, и брызги слюны падали на раны распростертого у ног его степняка, ставшего первой жертвой этих изменений:

- Изменник!..

+++

- Изменник! Твой зять – изменник, мой хан, он изменил обычаям Степи, что даны нам еще со времен Шынгыс Хана, и если ты не вмешаешься, вся Степь восстанет против него, а значит – и против тебя! Земли у Кызылкоги – мои! По праву рода моего, по праву рождения, мое кочевье, мои шаруа испокон веков пасли там скот. Когда ты назначил своего зятя главным над кочевьями, мы все думали, что ты возлагаешь теперь на него бремя, которое изначально несли мы – вооружать жигитов, что стерегут границы наши от башкирских, калмыцких, и казачьих набегов, помогать тем из семей шаруа, кого коснулся голод, мор, и джут, кто стал жертвой грабежа – богат твой зять, не убудет от него, так все мы думали, а что на самом деле произошло? Ни одного ружья, ни одного ханжара не купил он нам...

- Ружья продавать нам имперским указом запрещено, то тебе не хуже моего ведомо, Исатай Аке! – раздраженно прервал говорившего главу рода беришей Жангир хан.

- Это ты мне рассказывать будешь? Мой род издавна тайком, через верных людей из беглых каторжан, что в Астрахани хоронятся, за огромную, несправедливую цену ломаные ружья скупает, а потом мы этот мусор за каждое ружье, что в стычках с казаками добываем, русским властям вместо исправного отдаем, клинки из Хивы покупаем, с трудом, но жигитов своих без оружия не оставляем, потому что знаем – ослабнем мы, и никакой русский император уважать тебя, хан, не станет, раздавит, и всю власть над степью себе заберет! Я отцу твоему верно служил, и тебе служу, а сейчас справедливости прошу – накажи Карауыл-кожу, изменника адатов-традиций наших, отними у него власть над данными тобой выпасами, вернись к обычаям, которые тебя на кошму белую подняли, ханом нашим сделали!

Исатай говорил словами тяжелыми, верными словами говорил. Жангир хан задумался. Правда была в том, что пока есть зубы у степного волка, гриф двуглавый на него нападать не поспешит, даже зная, что сильнее, потому как ран лишних да боли никто не хочет. Лучше дождаться, когда постареет степняк, зубы выпадут, тогда можно и на хребет его слететь с высоты, сломать окончательно. Знал это и его отец, потому и закрывал глаза на действия воинственных беришей, и даже от имперских властей как мог, защищал. Жангир хан продолжал поступать так же, однако перемены, которые он задумал, все равно затронут старые рода, сильные рода, а Карауыл-кожа мало что был родственником, он был и единомышленником хана, получив, как и он сам в свое время, русское образование, и понимая саму суть грядущих перемен, и то, как их в жизнь воплощать следует. Но вот жадность его неумная, конечно, подвела! Наказать того пастуха из Кызылкуртов можно и даже нужно было, но отнимать у него за это все стадо было уже совсем лишним. Тем паче, что пастух этот, как теперь выясняется, не свой скот пас, а одного из родичей Исатая Тайманулы, и разрастается обида, а обижать Исатая, может статься, дороже любого стада выйдет! Поэтому надобно подумать, как бы умаслить матерого военачальника, сделать его из врага наступающих перемен – их союзником?! Хотя и трудно это будет, потому как очень уж привержен адатам старой Степи сын Таймана, глава рода беришей, даже имамов, что прислал тесть из Оренбурга, и которых по велению хана нынче в каждом кочевье содержать должны, из своего стана выгнал за спор с шаманом Тенгри. Как такого в союзники возьмешь, упертый ведь? Вот ведь задачка выдалась, надо бы с Фатимой посоветоваться, она такие сложные расклады умеет так объяснить, что решения сразу на свет из тени выходят!..

- А еще – верни наконец в свой стан Махамбета, сына Утемиса! Пока он рядом с тобой был, ты всех нас к процветанию вел, а как отправил в Оренбург с сыном своим, так и начались у нас эти перемены! – как бы вскользь добавил Исатай, однако вспыхнул тут хан Жангир Керей. Всякое говорили в Степи о причинах, по которым хан расстался со своим бывшим любимцем, но уж слишком часто во время сплетен этих упоминали имя Фатимы. Терпелив был хан, умел скрывать чувства свои, еще с самого детства, когда в астраханской гимназии впервые был обозван «чуркою кайсацкой», а когда сил не хватило обидчика наказать, и сам был побит изрядно. Но хуже всего была жалость, с которой к нему относились женщины в доме генерал-губернатора после той детской стычки. Закалил в себе Жангир Керей с тех времен доспех хладнокровия, научился чувства свои прятать за невозмутимостью, которую иные порой принимали за высокомерие. И только любовь ко второй жене, которую сам он искренне считал первой и единственной, Фатиме,

была брешью в этом доспехе. А бывший друг, наставник и советник Махамбет – острием пики, что пробила эту брешь и вошла в самое сердце!

И теперь в этом сердце незванным, нежеланным, наглым гостем-кунаком поселилась боль. Она прискакала на плюгавой старой кляче – сомнении, и не спешиваясь, прямо в седле, въехала под шанырак его души, в которой и так всегда было беспокойно, а ныне и вовсе царил полный беспорядок. Прогнать кунака не получалось – боль и слабость в душе старшего сына хана Бокеевской Орды жили всегда, уж таким он уродился: мнительным, сомневающимся... вечно ищущим, пытающимся понять себя и окружающий его мир. Жангир Керей Хан нес на себе печать проклятия, известного всем, кто наделен чувственным умом, разумом сердца, тех, кто умеет любить. В этом были его сила... И слабость! В этом был он весь, мечтающий изменить жизнь кочевника, дать обитателям Великой Степи заслуженное ими пристанище, дать им само будущее, в котором они не оказались бы в придорожной колее, на отшибе пути, по которому происходит великое кочевье цивилизаций. Но ни чувства, ни мысли его не разделял его улус, упрямо идущий по колее старых традиций, ведущих к потере силы, потере истории, потере себя, как народа.

Хан любил Махамбета. Хан любил свою жену, Фатиму, дочь татарского муфтия, этот яркий цветок, такой чужой в его родной степи, но ставший для него всем в этой жизни. Но превыше своей любви хан ставил свой долг. Он мечтал основать не просто династию, но изменить саму историю. Никто не знал о самом большом страхе Жангир Керей хана – оказаться последним ханом своей орды. И каждое свое действие он соразмерял с этим своим страхом, каждое решение принимал, надеясь отдалиться от такой вероятности. Сейчас же, упомянув Махамбета, старого друга, отправленного в изгнание ради его собственной, и его, хана, семейной безопасности, сын Таймана, вождь воинственных беришей его орды, Исатай заставил молодого правителя вновь испытать страх. Со страхом же кочевник борется только одним способом – идет на него, принимая вызов, и надеясь победить в схватке, потому что не спрятаться в степи от самого худшего врага, не убежать, и только сражение есть выход, побег же – лишь отсрочка приговора!

- Вон! Прочь из моего шатра, изменник! Ты, чей род получил от моего отца все блага, какие только можно пожелать, сейчас выступаешь против решений своего хана? Когда мой отец возвеличивал тебя, тоже было много противников, но отец был тверд в своем решении, а сейчас ты оспариваешь твердость решения его сына? Неблагодарный!..

Исатай опешил. Уже немолодой, более воин, нежели политик, привыкший решать вопросы честно и прямо, более всего он ценил свою честь, и слова хана прозвучали обидно. Но не владел воин Исатай речью, как его и хана друг Махамбет, не умел облечь в слова мысли и чувства свои, вот и тут растерялся:

- Но как же?!.. Да ведь не за просто так!.. Род мой кровью доказал верность свою... Каждую награду от отца твоего заслуженно получили мы, и никогда, никто из моего рода, а уж тем паче я, глава его, не восстанут против того, в чьих жилах кровь наших каганов! Ты – торе, потомок великого Шынгыс-хана, по закону и воле всего нашего улуса взошедший на белую кошму, и воля твоя – воля Великого Неба-Тенгри!..

Голос Исатай обрел уверенность, крепость, он говорил уже привычными фразами, сложившимися веками, подтверждающими верность степняка своему кагану, и сила Великой Степи поддерживала его в этих древних, как молитва, словах, но уши, которые слышали их... эти уши слышали лишь вызов! Уши располагались на голове вошедшего в

юрту недавно, и все это время тихо стоявшего там, чтобы не выдать своего присутствия, тестю хана, явившемуся в ставку Жангир Керей по заданию генерал-губернатора Эссена. Впрочем, увлеченные разговором собеседники и не заметили бы его, не заговори сейчас он сам, отвечая на прозвучавший вызов всему, что ставила своей задачей империя.

- Воля хана - не от твоего Тенгри, но от нашего с ним Аллаха! Твои же слова и помыслы – от времени, которое обветшало, как старая кошма на спине дряхлого, паршивого верблюда! Во всем ты противишься новому, и тому, что делает хан! Это ли – не измена?! Великий император российский за такое лишил бы тебя и род твой всех прав и земель, передав их другому, а тебя бы сослал... Хан же твой и есть – волей Аллаха наместник императора на землях Бокеевской Орды!..

- Какие земли, агай?! – повергнутый в изумление неожиданным вмешательством, а того паче – значением прозвучавших слов на ломанном, но вполне понятном кайсацком, произнесенных старым татаринном, выговорил Исатай: - Нет у меня никаких земель! Стада есть мои, табуны, а земля у нас нет, не орысы мы, не земледельцы, вольные кочевники!..

- Совсем постарел да поглупел ты, Исатай, сын Таймана! – недовольный неожиданным вмешательством тестя, которое теперь уже навязывало ему должное быть принятым решение, проговорил Жангир Хан: - были у тебя земли, да только не понимал ты этого. А сейчас – не будут! Малое должно уподобиться большому, частью коего является, в этом суть бытия, как сказал бы твой друг Махамбет. И как есть мы часть империи российской, так и кара за измену должна быть подобной! Лишаю я род твой всех выпасов, и передаю их тому, кто истинно предан мне, и ведет мой улус к другому будущему, зятю своему, Карауыл Коже! И если не желаешь быть воистину изменником, то примешь решение мое со смирением, как и должно. Тебе же приказываю собрать своих жигитов, и вести с ними дозор у северных границ моей Орды. Там калмыки опять пошаливают, казачью станицу вырезали, пойдешь с карательным походом! Дстойно исполнишь волю мою – подумаю об отмене наказания! А теперь иди прочь с глаз моих!

Окаменел Исатай, сын Таймана, от услышанных слов. Заиграли желваки на скуластом лице, узкие глаза словно тьмой покрыло, но сдержался старый воин, ничего не сказал. Покачал только головой, затем резко кивнул, и вышел, не прощаясь.

- Уа алейкума ассалам, сынок! – довольно проговорил старый татарский муфтий, когда полог юрты закрылся за опальным Исатаем. – Мне даже делать ничего не пришлось, а ты уж и сам исполнил порученье, с которым я прибыл для тебя от Петра Кирилловича...

- Да уж, ничего не сделал, агай! – процедил хан. – Письмо от Эссена я получил еще вчера, там о вашем прибытии говорилось, и просьба направить отряды для содействия карательной экспедиции против калмыцких барымтачей была...

- Так чем же ты недоволен, зять мой? Посмотри, как все хорошо сложилось! – улыбка не сходила с лица татарского муфтия и губернаторского эмиссара, пытающегося сделать вид, что все происшедшее сейчас случилось исключительно по воле самого хана, но никак не было навязано ему.

- А тем я недоволен, о мудрый отец любимой супруги моей, что с калмыками у нас, кайсаков, уже давно мир, и теперь я вынужден нарушать этот мир, проливать кровь своих людей за чужую войну! Разве казаки помогали нам, когда мы воевали с жунгарами, потомки которых ныне беспокоят их станицы? Так почему сейчас я должен идти против

договоренностей, которые заключил еще мой отец, зачем начинаю новую войну, которая не нужна ни мне, ни моему народу?

Жангир Керей Хан смотрел в глаза своему тестю, который сейчас был не родичем ему, но представителем грозной, большой силы с Севера, империи, на вооружении которой были пушки, и которая не позволяла его народу вооружаться даже ружьями.

Старый муфтий перестал улыбаться. И взгляд его, твердо встретивший взгляд хана, тоже перестал быть родственным. Ответ же прозвучал и вовсе жестко:

- Почему, вопрошаешь? А потому, что ты есть хан не по той причине, что кровь в жилах твоих от каганов, не ради того, что ты – чингизид, ибо закончилось время чингизидов еще со времен Ивана Васильевича Грозного, который и мой народ подчинил, и вашу столицу Сарайшик порушил. Ты правишь волею не старого Тенгри, но Аллаха, и благоволеньем нашего Императора! А значит, будешь исполнять приказы его генерал-губернатора, и довольствуйся уж тем, что приказы эти выглядят, как просьбы! А если не пожелаешь, значит ты, хан, и есть – изменник!

+ + +

- «Изменник»! Слово это нынче популярно в нашей империи, любезный мой друг Мугамбет, и мнится мне, что всегда так было, просто по молодой наивности нашей не всегда мы это понимали. Хотя, вспоминаю сейчас времена лицеистские, и с высоты прожитых годов кажется, что ведь вот, все признаки были столь явственны, столь ясны и недвусмысленны, что никакая наивность юности не может служить оправданием нашей слепоте! – Александр Сергеевич встал из-за стола в порыве чувств, и принялся шагать по небольшой горнице гостевого двора из угла в угол, расстроено сжимая пальцы, тонкие, длинные, с ухоженными ногтями, однако изрядно запачканными чернильной кляксою.

Владимир Иоганнович Даль, аранжировавший эту встречу, так и остался за столом, сделав вид, что увлечен своими записками, и бунтарский пассаж своего петербургского знакомого никоим образом не слышит. Махамбет с изумлением смотрел на эту пару, людей, перевернувших весь его мир за время столь недолгого знакомства. С Далем наставник Зулькарная познакомился, правда, еще в прошлом году, когда только прибыл в Оренбург со своим воспитанником, и сразу же был представлен генерал-губернаторским секретарем этнографу, уже третий год собиравшему степняцкие сказки, былины и предания. Сегодня же довелось познакомиться еще и с Пушкиными – известным, говорят, не только в Петербурге, но и по всей империи, поэтом, направлявшимся в Уральск по каким-то своим изысканиям. По настоянию Владимира Иоганновича, Махамбет рассказал Пушкину историю Баян Сулу и Козы Корпеш, старую кайсацкую легенду, которую оба орыса нашли весьма романтической, и каждый записал в свою книжечку. Пили степняцкий чай, с молоком и на травах, поскольку в гостинном дворе, где проходила встреча, вина не подавали. Однако у Пушкина с собой во фляге походной обнаружился бренди, который поэт и потреблял в одиночестве, потому как ни Даль, ни магометанин Мугамбет, как упорно называл Махамбета поэт, спиртное потреблять нынче не желали. Разгоряченный выпитым, Александр Сергеевич принялся рассказывать о своих намерениях описать пугачевское восстание, и незаметно для самого себя из перипетий событий недавней кровавой истории соскочил на политику сего дня. Впрочем, Даль предпочитал дипломатично отмалчиваться, Махамбет же, не имевший доселе никакого представления о политических страстях, раздиравших империю, казавшуюся ему доселе некоей незыблемой целостностью, пребывал в состоянии полнейшего изумления.

Видимо, именно это состояние степняка, к коему Владимир Иоганнович за неполный год знакомства начал испытывать глубокое уважение и приязнь, и сподвигли исследователя нарушить свою отстраненность, и высказаться:

- Что же поражает вас так сильно, друг Махамбет? Или вы русских пиитов доселе не видели? Вы уж, право, совсем засмутили нашего степного гостя, Александр Сергеевич, хотя вернее было бы сказать, что это мы в гостях у него...

Махамбет и Пушкин ответили одновременно, сбив с толку старого этнографа:

- Акынов орысских раньше я и вправду не видел, но удивляет меня другое, что народ ваш, оказывается, вовсе не един под властью императора ресейского, но так же расколот, как наши жузы, бии, которые никогда промеж собой договориться не могут...

- Что значит – в гостях? Земля эта под властью империи российской, и обитатели ее – подданные императора русского, а значит и сами – люди русские, и никак иначе!

Даль помотал головой, пытаясь упорядочить в голове это смешение мыслей, каждая из которых ценна по себе, однако в совокупности – хаос и революция в уме человеческом!

- Да что же вы, право, вместе говорить удумали? Давайте-ка по порядку, любезнейшие! Начнем все же с хозяина, уж простите, что не во всем соглашаюсь с вами, друг мой Александр Сергеевич! – Даль повернулся к Махамбету, сидевшему напротив него, и принялся объяснять:

- Вот вы, друг мой, умнейший человек, и по образу жизни кочевого народа обязаны наблюдательностью особой отличаться, однако не заметили разве доселе, какие разны мы все? Те же казаки яицкие, что по старому укладу веру веруют, и солдаты гарнизонные, коих вы в Астрахани. Оренбурге да Гурьеве вполне наблюдать возможность имели – в одних ли они правах пред законом государства российского? Не только верою, но самим укладом жизни своей отличаются, и даже зачастую презирают и ненавидят друг друга подданные одного и того же государя, и странно мне, что вы этого всего не заметили!

- Эх вы, батенька, по бунтарски-то заговорить изволили! Ай да браво! – восторженно отреагировал Пушкин на слова нейтрального политически доселе этнографа, и вернувшись за стол, в возбуждении принялся крутить в руках глиняную чашечку с травяным, уже остывшим чаем.

- И у нас, милейший, свое мнение имеется, хоть и в глухой провинции, вдали от событий да кругов декабристских обретаемся! – ответил Даль петербургскому гостю, наполняя ему чашку горячим настоем из серебряного чайника-кумана. Пушкин от чая отмахнулся, предпочитая свое горячительное, изрядно приложился к фляжечке, и с неким лукавством обратился к Махамбету:

- А вот скажите мне, милый друг-степняк, не обидел ли я вас своим заявленьем, что вы, будучи подданным императора российского, тако же русским именоваться должны?

- Не обидели! – помотал головой Махамбет. – Напротив! Ежели быть русским, значит быть таким как вы, то я готов быть русским!

- Вот! – торжественно вознес палец к потолку захмелевший Александр Сергеевич: - И к чему мы с вами пришли, Владимир Иоганнович? Вы, кстати, заметили ли, что я вас упорно по батюшке величаю на датский манер, а не Ивановичем, как вы уж наверняка тут привыкли!

- Так меня еще с рождения, в Луганске, что в Малороссии, только так по батюшке и величали! – ответил Даль.

- Верю! – воскликнул с усмешкою Пушкин: - Верю, милейший, что с самого рождения вы были столь солидны, несомненно, с усами и бакенбардами, что с тех самых пор малороссы вас исключительно по батюшке... Только вернемся к основной идее моей, как сказал бы лорд Байрон – вот вы, потомок врача-датчанина, я так и вовсе арапских кровей, а для степняка примером истинной русскости не казаки-староверы, что посконность хранят, не солдатики гарнизонные, на ком мощь имперская держится, а мы с вами, чьи руки в чернилах, а в крови славянского ровно столько, сколько тех же чернил написание геральдических древ наших истрачено. Няня моя, Арина Родионовна, была чухонкою, однако самым что ни на есть – русским человеком. А потому и друг наш Мугамбет – человек русский, человек этой империи, этого государства! Понимаете ли вы мысль мою, друзья? – поэт вдохновенно приложился к фляжке в очередной раз, дав возможность высказаться даже не собеседникам, но слушателям своим. Впрочем, Махамбет лишь кивнул, Владимир Иоганнович же возможностью высказаться воспользовался:

- Отчего же не понять? Собственно, я даже спорить с вами не считаю нужным, поскольку считаю вас правым в данном вопросе. Но есть нечто, что изрядно смущает меня в этой благолепной картине, столь пафосно нарисованной вашим талантом, Александр Сергеевич...

- И что же это, уж будьте любезны объясниться? – Пушкин словно упивался своею ролью абсолютного и непререкаемого авторитета в этом пусть узком, но столь близком ему по духу и таланту обществе.

- Извольте, объяснюсь. – Даль сделал маленький глоточек из чашечки, смочив горло, и продолжил: - История государства российского не единожды уже становилась свидетелем того, как возрастающий на плодородной почве иноземных нововведений, великорусский, я бы даже сказал - великомосковский шовинизм, принимается за уничтожение того, из чего произрос. Причем более всего неистовствуют в своем панславянстве, как правило, те, чьи предки еще в позапрошлом колене из немецкой ли слободы, из голландского ли гостевого двора, носу наружу казать не могли...

- Уж мне ли не знать! – нахмурился петербургский поэт, явственно вспомнив измывательства, коим по первому году подвергался в Царскосельском лицее от будущих товарищей да почитателей своих за то, что на французском языке изъяснялся свободней, нежели на языке отечества своего. А вспомнив фамилии, присовокупил: - Особо рьяны в том выкресты, что из жидов в православие подались, всяко стараются более русскими казаться, нежели кровные «иваны»!..

Пушкин сказал, да осекся, заметив изменившееся выражение лица Даля. Живой ум поэта в миг обнаружил и оценил допущенную им оплошность: отец Владимира Иоганновича, будучи чуть ли не придворным врачом на родине своей, бежал из Дании в самый разгар гонения на иудеев, и даже по получении подданства российского определен был за черту поселения, установленную императрицей Екатериной Алексеевной для беглых жидовинов в Малороссии. После, с ее же благословения, принявши православие, и что того важнее, став признанным врачом, получил дозволение на проживание в Петербурге со своим семейством. Однако кому, как не сыну хоть и датского разливу, но таки иудейского

выкреста великой Катеньки, ныне обижаться на такую грубость со стороны потомка арапа Петра Великого?

- Ох, простите вы меня, Владимир Иванович, Бога ради, все это бренди шустовское, язык мой не в те степи ведет! Вот уж и в самом деле, эх да Пушкин, эх да сукин!.. – принялся было каяться Александр Сергеевич, но Даль одним жестом остановил его:

- Будьте любезны не перебивать, коли объяснения требовать изволили! А впрочем, слова ваши, да и мои нынче, только в подтверждение этой мысли прозвучали! Когда потомок арапа винит жидов в ярое русофильстве, а потомок тех жидов за то обижается... Комично ль, трагично ли – история рассудит. Только вот предстоит той истории еще и рассудить, почто потомки жидов да арапов словесность русскую творят, медицину, науку, тщась государство русское вперед двигать, а кровных «иванов», как вы выразиться изволили, сыны да внуки все в чиновничество норовят, за обряды посконные, за право крепостное, за все, что отечество веригами тяжкими в темное прошлое тянет, держатся? И ведь время пройдет, и думаю я, ничтоже сумняшеся, что дела жидов да арапов гордостью государства русского станет, и уже наши потомки, возомнив себя более славянами, нежели все прочие, станут таких, как наш друг Махамбет, в «нерусь узкоглазую» записывать, хотя я вам, как этнограф говорю, что вот эти вот узкоглазые и есть истинные хозяева земель, что ныне в подданстве русском значатся!

- Агай, люди войну затевают, споря, чья земля, а земля в конце смеется, говорит – вы все мои! – робко вмешался Махамбет, и замерли в изумлении от мудрости степной и этнограф, и поэт. Смотрели на степняка, а тот продолжал, уже уверенным голосом: - У нас в степи землю делить не принято, потому что все мы под одним небом, на одной земле живем, голые в мир приходим, так же и уйдем из него. В землю уйдем, пылью станем, так чего ради спор затевать?

- Да вы, друг мой Мугамбет, антигосударственные речи ведете ныне! Уж не изменник ли вы? – засмеялся Пушкин, выйдя из оцепенения. Улыбнулся и Даль. Захлопнул книжечку, встал из-за стола со словами:

- Довольно нам ныне витийствовать, друг мой Александр Сергеевич, вам завтра рано с обозом на Уральск выезжать, мне же еще доклад генерал-губернатору готовить о состоянии дел в гарнизонной лечебнице, я, знаете ли, тут еще и жалованье военного врача получаю, отрабатывать надобно! Да и друг наш, наверняка, утомился от разговоров наших, смею сказать, не очень-то и благонадежных с государственной-то позиции! И пока не договорились мы и в самом деле до измены какой – пожелаем-ка ночи спокойной, да и расстанемся каждый по делам своим.

Пушкин покинул горницу быстро и решительно, в своей обыкновенной для этого вечера манере. Махамбет посмотрел ему вслед, затем осторожно поинтересовался у Даля:

- Большой акын... такому не должно никого бояться... Так почему мне кажется, что он в каком-то страхе, говорит кажется смело, но будто в самом сердце своем озирается, нет ли кого рядом?..

Владимир Иоганнович опустил взгляд, заговорил тихо, словно испытывая стеснение от слов своих:

- Мы с Александром Сергеевичем... как бы это сказать... Быть может, в степях ваших еще и сохранился древний обычай чтить поэтов настолько, чтобы не признавать за ними зависимости от мужей, властью облаченных, однако же в России нашей, друг Махамбет,

поэт завсегда – больше чем поэт. Видать, со времен варяжских то пошло, когда скальд только конунга своего хвалить должен, иначе не быть ему сытым за пиршественным столом, однако в наших весях так издревле заведено, что коль владеешь словом ты, то изволь слово это, и весь свой талант государю подчинить. Быть не токмо поэтом, но и тем, кто словом службу государеву несет.

- А нельзя иначе? – удивленно спросил Махамбет.

- Можно, друг мой, можно! – еще тише проговорил Даль. – И тогда, опять же, поэт – не только поэт, но еще и острожный, каторжный, смутьян и бунтарь, почитай – изменник. Мы уж с Александром Сергеевичем через все это прошли, по молодости, я, знаете ли, и вкус похлебки острожной изведаль за первую работу свою... сказки удумал малоросские собирать... Объяснили, на всю жизнь втолковали, кто в государстве хозяин, и ежели охота тебе и впредь за пиршественным столом место иметь, а не в острогах маяться, будь любезен почитать великоросса, а то и стать таковым, благо, за преданность государю в империи нашей только великороссами и становятся! Поэт же наш и вовсе по молодости бунтарь был дерзновеннейший, в стихах своих и супротив государя, и даже церкви смело геройствовал... Однако и ему пояснили, кто в нашем доме хозяин, и какому иконостасу поклон бить надобно. Женился он, детьми обременен, поэт, почитай, самый что ни на есть в почете, что на Руси, что за границами империи нашей, а поди ж ты, из долгов выбраться никак не мог, а как супругу свою к двору представил, да камер-юнкерство получил, так дела выправляться стали. Объяснили соловью, каку песнь ему петь пристало, чтобы не голодать... Сломали нас, друг Махамбет, я нынче по приказу государеву, толковый словарь великорусского языка составляю, для императорского географического общества отчеты пишу, Александр Сергеевич же... ему и того меньше дозволено, только б семья при дворе обреталась, жалованья хватает, а все порученья – чтобы сам подальше от столиц бывал... Негоже об этом, простите! Так что я вам сказать хочу, друг Махамбет! Если можете – сохраните себя, не ломайтесь, не прельщайтесь столованьем от государей ваших, ежели душу сохранить хотите... или же – прельщайтесь, и станьте русским. Как мы! Опять же, не самое позорное место в истории, смею надеяться, нам за то уготовано!

Махамбет кивнул. Затем встал из-за стола, грузно, будто неся на своих плечах всю тяжесть невеселых мыслей этого, столь приятно начинавшегося вечера.

- Я с утренним обозом вместе с Александром Сергеевичем поеду! – Махамбет говорил, будто извиняясь, что оставляет Владимира Иоганновича одного. – Мне в Орду возвращаться надо, письмо я получил от побратима моего, Исатая Тайманова. Должен рядом с ним я быть, помочь, а то странные дела у нас в степи нынче делаются. Говорят, он теперь – изменник!..

+ + +

Жангир Керей сложил письмо от секретаря оренбургского генерал-губернатора, задумался: -

«Он бросил моего сына, Зулькарная, в Оренбурге, одного, предал свой долг, и помчался к своему побратиму, Исатаю! Не ко мне, своему другу и благодетелю, а к этому суровому воину, который ничего ему не дал, кроме этой жестокой, непонятной мне воинской доблести! Он променял мою дружбу на... на что? Чего ему еще надо в этой жизни, ведь все у него есть, всем я его наделил как когда-то мой отец – его родителя? Неужели эта греховная страсть к моей Фатиме так ослепила его сердце, что вытеснила оттуда верность ко мне, своему другу, своему хану? А разве со мной – не тоже самое произошло? Разве из-

за ревности своей я не отправил его подальше от себя? Так что теперь тут, я, хан Жангир Керей, или мой друг, Махамбет – изменники?»...

+ + +

*Бросит озеро лысуха,
коль ковыль вдруг возгорится.
Коль погибнет верблюжонок, -
зарыдает верблюдица.
Рыба станет жертвой чаек,
измельчает, коль водица.
Коль у дедовской кольчуги
кольца ржавчиной покрыты -
не остаться неубитым,
как бы храбро не рубиться.*

Махамбет Утемисулы – «Дедовская кольчуга»

(перевод Б.Карашина)

+ + +

История третья

Бунтарь

- Ну, будем молчать, господин хороший? – вошедший в кабинет начальника Калмыковской крепости седой господин в мундире коллежского асессора хмуро посмотрел на бумаги, что лежали на столе, и кои и составляли суть «дело» этого необычного арестанта. На самого арестанта высокий чин даже не изволил поднять взор. Вопрос прозвучал как бы в никуда, и ни к кому: что арестант, что дознаватель из гарнизонных служивых, искренне считая, что вопрошали не его, предпочитали и в самом деле молчать. Тяжелая, душная тишина повисла в натопленном по случаю холодной осени кабинете, нарушаемая лишь шуршанием перебираемых бумаг из скудного «дела» арестанта Махамбета Утемисова.

Назначенный на расследование «дела о кайсацком бунте», и недавно возведенный в чин коллежский асессор Семен Герасимович Кричевский работу свою не любил. Давно увлеченный живописью, и не сумевший состояться на этом поприще по причине бедственного состояния разорившегося родителя своего, он в годы оные подался на государеву службу от безысходности и отчаянья, извечная скупость помешали обзавестись семейством, и только случившийся пять лет назад перевод в Оренбург, под начало генерал-губернатора Эссена, совершил в его судьбе счастливейший пассаж: избыток свободного времени и возросшее жалование позволили вновь предаться давнему своему пристрастью. К тому же, уже устоявшийся состав служивых, от жандармов и до высших чинов полицейского управления в Оренбурге, работу свою знал и делал исправно, давая возможность пришлому начальству без особых хлопот упражняться в живописании

маслами холстов с видами бескрайних степей, одинаковых отчего-то верблюдов, коней, и редкой кайсацкой юрты на горизонте. Все сюжеты картин коллежского асессора повторяли друг-другу, подобно самой жизни в этих степях, где каждый новый день повторяет прошедший, а виды окрест, все вокруг, куда ни глянь, одинаковы. И такое положение господина Кричевского устраивало вполне – и как живописца-любителя, кои за свою жизнь так и не сподобился изображать действие, но исключительно неподвижную натуру, и как чиновника, стремящегося к порядку и стабильности во всем.

Однако оренбургской синекуре недолго было длиться – кайсаки бунтовать удумали! Слава те, Господи – при этой мысли коллежский асессор, будучи человеком таки набожным, перекрестился, чем вызвал недоуменный взгляд обер-полицмейстера, - так вот слава Богу, воистину, что не супротив государя русского, но своего хана бунтуют, а у императора, гляди, явились даже вспомогательства просить! *Garçons naïfs*, словно дети малые, не понимают, что одна власть завсегда другую поддержит, и бунтари да смутьяны ни у какого властителя не в чести, а уж тем паче, что хан кайсацкий в управленье народом сим самим государем-императором назначен! Петра Кирилловича Эссена, перебравшегося губернаторствовать в Петербург, и довольно милостиво относившегося к, сменил на посту совершеннейший солдафон и поборник всяческой муштры, любимец государя, граф Василий Алексеевич Перовский, решивший не давать поблажек пейзажисту-любителю, числившемуся на службе обер-полицмейстером. Поступил приказ совершить пренеприятнейшее и весьма хлопотное путешествие через всю Бокевскую Орду, и направиться в Калмыковскую крепость, где содержался один из наиглавнейших смутьянов и бунтарей, этот самый Махамбет, пойманный за призывами к смуте в одном из приицких аулов. Доподлинно было известно, что к Махамбету этому кайсацкий хан Жангир особый интерес имеет. Вот господин граф и вмешался на самом своем, так сказать, высочайшем для нашего захолустья, уровне. Потому как с ханом Жангир Кереем лично знакомство свел, будучи при передаче дел сами Эссеном ему представленным, и вообще с владычествующими персонами в весьма положительных отношениях состоять привычку имеет. Словом, кесарю – кесарево, хану – ханово, а смутьяну – острог да батоги!

Впрочем, как раз-таки бить арестанта господин губернатор строго настрого запретил! За Махамбета Утемисова с письменным прошеньем обратились и местная научная знаменитость Владимир Иванович Даль, и главный муфтий Оренбурга Мустафа Агай, что приходится тестем аж самому кайсацкому хану Жангиру, и даже, как ни странно, сам хан Жангир, супротив коего сей Махамбет бунтовать и удумал. Слышал Кричевский историю о том, что бунтарь этот с ханом своим в годы оны в дружбе был, и даже воспитателем сына его состоял, так с чего же такой пассаж случился?

- С чего вы, мил человек, супротив благодетеля своего бунт поднять решили? Разве же дело это? Вот он за вас лично письмо с прошеньем составил, собираясь в Петербург, где у самого государя аудиенцией чести удостоен будет! Я, знаете ли, и сам по пути сюда имел удовольствие быть принятым ханом Жангиром... весьма образованный для вашей народности человек, супруга такая... гм, видная, действительно!.. – охочий по молодости до прекрасного полу, Кричевский задумался, вспоминая, видать, очаровательную ханшу, виденную им в прошлом году на губернаторском балу, и произведшую настоящий *une sensation* в высшем обществе захолустного Оренбурга. Опомился, потер бритый подбородок большим пальцем, чуть заляпанным охряной масляной краской с утренних экзорцисов в живописи, добавил раздраженно:

- Зря вы это затеяли, и должно вам ныне покаяться, и нам, службистам государевым, всю правду за бунт ваш изложить! Так что извольте строптивость нам тут не являть, но подчиниться...

- С господином подполковником, Владимир Ивановичем говорить буду! – перебил коллежского асессора арестант, наконец нарушив свое молчание. Кричевский разочарованно вздохнул. Эссен строго-настрого велел исключить Даля из участия в этом деле, уж очень заботился генерал-губернатор о «своем» этнографе, к которому испытывал определенную симпатию, и не желал впутывать ни в какие политические смуты. К тому же, Владимир Иванович вот уже три дня как выехал с экспедицией из Гурьева в Уральск, откуда должен далее следовать в Оренбург. Там же его ожидает предписание от Петра Кирилловича следовать в Петербург вместе с губернской делегацией, в составе коей, собственно, и пребывал Жангир хан со своею очаровательной супругой Фатимой. Так что, даже не будь приказа генерал-губернатора, устроить встречу Утемисова с Далем, письмом своим участие в судьбе арестанта уже принявший, однако же экспедицию никак отменить не пожелавший, Кричевский не смог бы, даже сам пожелай того.

- Понимаю, однако никак в том содействовать не могу – господин Даль пребывают в экспедиции, и вернутся не скоро. – миролюбиво попытался подойти к арестантскому капризу коллежский асессор, однако Утемисов лишь упрямо мотнул большой бритой на кайсацкий манер головой, чем вызвал раздражение чиновника.

- Ждать буду! – сказал, как отрезал Махамбет.

Кричевский задумался. Собственно, отложить решение этого дела в долгий ящик ничуть не смущало чиновника империи, знавшего обыкновение своей службы: порой, дело отложенное да забытое в империи нашей суть решенным и становится! И коли не желает арестант говорить нынче, значит, следует безо всякого сомнения перевести его сразу в острог, а суд... суд пускай сам Петр Кириллович и назначит, а наше дело – маленькое, наше дело – служивое...

- В острог его! В холодную! Одиночную! И пребыть ему там до особого распоряжения! – грозным голосом приказал Кричевский, развернулся, и вышел, оставив гарнизонного дознавателя оформлять бумаги на арестанта, а самого Утемисова - далее упорствовать в своем молчании.

+++

В молчании ехал он до самой ставки Исатая – обычно говорливый, вступавший в шутки и споры с обозным людом, в эту свою поездку он был мрачен, погруженный в невеселые думы о том, что же происходит в его родной степи. Ни одного степняцкого кочевья не встретил по пути обоз, вышедший из Оренбурга, и направлявшийся в Уральск, словно попрятались все, в ожидании чего-то позабытого в орде, собранной Бокей ханом, чего-то страшного, после чего молодые жигиты не возвращаются в свои аулы, а старики ездят в гости не для праздничных тоев, но поминальных собраний. Степь замерла в ожидании войны.

Не доезжая до Уральска ста верст, Махамбет покинул обоз, и в одиночку направил своего коня на восток, туда, где в это время должен был стоять аул Исатая Тайманова. На самой границе с казачьими землями ставил свои кочевья последний полководец Бокеевской Орды, там, где клинки и отвага его жигитов были нужнее всего. Так было всегда, еще при отце хана Жангира, владетельном хане Бокее, так было и при нынешнем потомке великого

Шынгыс-хана, возведенного на белую кошму согласно обычаям, против которых ныне сам Жангир Керей хан и пошел.

Поздняя осень такой, какая она бывает на севере или западнее границ Орды, здесь, в землях окрест Жайыка, себя никак не проявляла. Не бывало в нашей степи осени, обыкновенной для иных краев, и только по становящимся короче дням, да собирающимся в кочевье к своим зимовкам-кыстау аулам можно было определить приближение злой, беспощадной к человеку степной зимы. Она и приходила внезапно, как враг всему живому, словно неизбежная смерть, завершающая собой обманчиво кажущийся смертному бесконечным, жизненный путь. Предки говорили: караша-ноябрь словно хвост уходящей осени, нос щекочет скачущему вослед декабрю-желтоксану, месяцу, что принесет с собой девяносто ветров. Ноябрь только прокрался в степь, а щекотка его чувствуется разве что ночью, и холодно от той щекотки. Но то будет, когда солнце зайдет, а сейчас жарко от солнца ноябрьского. По-хорошему, следовало бы встать на стоянку, а ночью в путь двинутся, оно и коню легче будет, но нельзя – торопится Махамбет, спешит к побратиму, чувствует – нужда в нем.

Не поспел! К вечеру добрался до места, где кочевью стоять должно, но нет никого, и только по следам редким можно понять, что еще неделю назад снялись с места все полсотни юрт, и двинулись... куда? Не к Гурьеву же, в самом деле, ведь там казаки, нельзя туда нынче Исатаю никак, хотя именно там родовые зимовки старшины рода беришей. По следам не поймешь – не хранит степь следов, быстро затирая бесконечные, и по сути всегда одинаковые истории кочевий по своим бескрайним пространствам. Что орда по степи пройдет, что буря в небе – внушительно здесь и сейчас, а как отгремит-проскачет, уже не и не вспомнишь, тишь да зелень с синевой. Придется на ночь становится – решил Махамбет. Самому себе даже признаваться стыдно, что одна надежда – на духов-аруаков степных. Так шаман старый учил: встань ночевкой на месте, откуда кочевье ушло, и добрые аруаки во сне подскажут, куда идти, чтобы догнать своих.

Так и поступил. Встал стоянкой на ночь на месте старого кочевья, на землю голую кииз-подстилку из верблюжьей шерсти расстелил, шапаном старым дорожным укрылся, не забыл перед сном вокруг спального места веревку из конского волоса кинуть, от змеи да паука-тарангула. А духи возьми, да и не явись в эту ночь, хуже того, и сна нет, одно мученье – ворочается Махамбет, сын Утемиса, кошму под собой комкает, в ночное безоблачное небо взглядом пустым смотрит, не видит – ни снов, ни звезд, ничего не видит. Будто отрезала его Великая Степь от силы своей. За что, за какой такой грех? – и не ведает сын Утемиса. Чует сердцем только – отгородилась от него земля предков, не пускает в душу свою, словно обиду держит.

Однако, и не губит, не сбивает с пути, чтобы потерять в необъятной шири своей – наутро, бессонный, усталый, сел на коня, двинулся на юг, к Гурьеву, и легко дается дорога, не петляет, не задерживает холмом или ямой-провалом нежданно, и даже ветром в лицо не бьет. И обидно от того стало Махамбету, сыну Утемиса, воспитаннику суфийского медресе, а ныне – правоверному мусульманину мезхеба имама Ханефи сунны Пророка, мир ему... Обидно степняку, принявшему пустынного бога, что Небо-Тенгри его теперь за предателя держит. Не понимает Махамбет, не чувствует за собой вины никакой, не знает еще ни о том, что с Ак Медресе сделали, ни того, какое участия в этом муллы да муфтии принимали. А уж о своем участии и вовсе не задумывается. Потому что вся беда эта только сердцем его и чувствуется, и сердце – оно же думать не умеет! Куда ему, этому куску беспокойной, вечно движущейся плоти, до мозга, а тем паче души правоверной, в

коих только и должно пребывать мыслям! Плоть живая пускай язычниками-кяфирами признается и уважается, мы нынче все о душе печемся, за нее, болезную, и свою, и чужую плоть кромсать готовы!

Бьется живое сердце в груди, бьют живые копыта по широкой живой груди Великой Степи, несут живого Махамбета туда, где ждет его смерть. Пока еще не своя, чужая, пахнувшая еще издалека, за полчаса до заката, за полверсты до въезда в кочевье, гниющей уже плотью людей и коней, погибших... за что?

За день световой, ровно от рассвета, и до самого заката, добирался сын Утемиса до Аккыстау – Белой Зимовки, где от согыма – предзимнего боя скота, и до наурыза, весеннего праздника, стояло обычно кочевье Исатая Тайманова. Однако, солнце еще только целовало край степного горизонта, когда почувал он этот сладкий, страшный запах давно лишившихся жизни, но незахороненных тел. И, странное дело, поторопил он коня, чтобы застать, увидеть, что же там такое, хотя бы при последних лучах солнца, а солнце, будто такое же обиженное на него, как и вся Степь, возьми, да и тоже поторопись! Потому и первое тело на своем пути не разглядел, и если бы не лошадь, шарахнувшаяся в сторону от трупа, угодил бы копытом в гниющую плоть... такой же лошади. Не на согым-забой для зимовки убили хорошего коня – обломок казачьей пики торчал из пробитой конской шеи, брюхо, вздувшееся под дневным солнцем, казалось, готово взорваться, слепни живым, трепетным покровом облепили голову, и даже приближение спешившегося человека не оторвало их от долгой, обстоятельной трапезы.

В быстро сгущающихся сумерках, с трудом всматриваясь сквозь кажущийся плотным от трупного смрада воздух, Махамбет разглядел всадника. Кочевник лежал поодаль, в шагах десяти от своего коня, шапан на спине был рассечен от основания шеи до самой поясницы, меховая шапка будто пробита – нет! – вдавлена в кости разбитого черепа подкованным копытом, впечатав голову и без того истекавшего от сабельной раны на спине в жесткую степную траву. Еще один конь лежал шагах в двадцати поодаль. Брюхо его не было вздуто – пропоротая кожа выпростала наружу конские внутренности, которые теперь тускло блестели в свете стремительно поднимающейся в небе луны, в эту ночь – полной и красноватой, будто вобравшей в себя часть крови от недавнего побоища. Всадник остался, как и был, в седле, половина туловища его была искромсана, будто сотни железных мух искусали жигита... как и бок его коня. Махамбет разжег лучину, чтобы получше рассмотреть раны. Кончиком ножа скovyрнул, достал свинцовую дробицу, вспомнил уроки побратима Исатая... Малая пицаль – пушечка, заряжаемая картечью, такая была только в гурьевском гарнизоне, у солдат, хотя были разговоры, что старую артиллерию разрешат казакам из реестровых забрать себе, когда новую из астраханского пушечного двора привезут. Видать, привезли. Потому как не верил Махамбет, добрый знакомец полковника Владимира Ивановича Даля, что имперский солдат по подданным русского государя, хоть и степнякам, из пицали палить начнет!

Вернулся к первому трупу, что увидел, с трудом, но выдрал застрявший в шейном позвонке обломок пики, тщательно протер щербатое острие подолом шапана с трупа, в тусклом свете лучины попытался разглядеть клеймо... Разглядел! Стиснул зубы, бросил взгляд вокруг. Темно, ничего не видно, только воздух черный, запах сладкий, тошнотворный, да шевеление в этой мерзкой тьме – то шакалы да лисы степные пришли мертвечиной поживиться. Бой этот случился явно утром, тел казачьих Махамбет не нашел, значит, либо врасплох застали степняков, либо тела своих с собой и забрали, а

кайсаков оставили гнить. Не спрятали, не зарыли, на виду оставили, а это значит – не боялся разъезд казачий, что за убийства наказание будет, а что из того следует?

Следовало еще осмотреться, тем паче, что луна поднялась высоко, и осветила полностью место зимовки, превратившееся в поле боя. Еще два тела степняцких нашел Махамбет, и все – неподалеку, и на каждом – развороченные раны, злые укусы пищалевой картечи. Увидел и следы конские, множество следов, все подкованные не на степняцкий лад, но по казачьему уложению. Свежих следов стоянки не нашел, а значит так и не встали тут исатаевы люди на зимовку, столкнулся, видать, передовой дозор с казачьей засадой, и смерть свою нашел, а что стало с самим кочевьем?

Топот конских копыт по ночной степи далеко слышится, а для человека знающего еще и многое рассказывает. Конь степняцкий, и конь кайсацкий всяко по-разному грудь Великой Степи топчут. И все же нет в нынешнее время доверия слуху своему, особенно когда бунт в степи, и брат на брата за новые ханские правила войной, значит, идет! Спрятаться негде, ускакать от боевого разъезда, наверняка вооруженного, дело рискованное, и сделал сын Утемиса то единственное, что могло его спасти, если это враги – бросился на землю, к мертвому коню, в тени раздутого брюха схоронился, сам мертвым прикинулся, замер, слух наострил.

Слышит речь родную, казахскую речь слышит, но открываться не спешит, рукою, прижатой к груди, крепко держит нож, ждет. Вот, чуёт, приблизился к нему человек, мягко ступает по земле в кожаной степняцкой обуви, вот, тыкает в широкую спину чем-то острым... В единый миг повернулся, схватил пику, дернул на себя что есть силы, человек от неожиданности охнул, падает на лежащего Махамбета, прямо на подставленный нож падает, в последнее мгновение успел, схватил его вытянутой рукой за грудки сын Утемиса, однако нож от груди не отвел, вглядывается в темное лицо, узнать пытается. А тот в ответ зубы скалит злой, и в тоже время – радостной улыбкой:

- Махамбет-го!

- Исмаил?!

- Уй-бай, Махамбет, совсем дурной стал, у груди родного брата нож держит? – слышался насмешливый голос.

Крепкие руки подняли с лежащего Махамбета все еще ухмыляющегося брата Исмаила, еще в прошлом году решившего остаться в кочевье Исатая, а вот и сам Исатай, при полном доспехе, возвышается темной, мерцающей в свете луны кольчужным металлом горой, над сыном Утемиса, так и оставшегося лежать с выставленным перед собой ножом.

+++

- Карауылкожа с казаками, видать, договорился, что они меня в засаде ждать будут. Догадывался я, что нельзя беспечно на место старой зимовки идти, вперед отряд послал, восемь человек, только половина вернулась. Кочевье на восток повернул, а сам решил темноты дожждаться, за телами вернуться, но чего уж не ждал, так воспитателя ханского наследника тут встретить! – Исатай посмотрел на Махамбета долгим, пристальным взглядом. Будто разглядеть хотел, что у того в мыслях происходит. А мысли у сына Утемисова нынче вразброд, одна другую гонит, да все в разные стороны. А еще – обидно ему, что недоверие слышится в словах старшего побратима.

- Люди разное говорят, Махамбет! Будто ты с орысами совсем орысом стал, с татарами – татарин, так может и со своими – свой, потому что умеешь ты это... Вот, с мертвым лежал, почти как мертвый!

Зло хохотнули шутке своего предводителя жигиты исатаевы, что ехали позади. Луна на небе верно показывала, что ночь еще в самой середине своей – недолго длились похороны, там же, на месте, предали земле тела умерших жигитов, Махамбет молитву прочитал, и двинулись в путь. И весь этот путь чувствовал себя Махамбет будто среди чужих едет, словно и не побратим рядом с ним, но строго вопрошающий учитель, наставник, недовольный какой-то серьезной ошибкой своего ученика, который сам, вот уж право бестолочь, и понять не может - где же ошибся?!

- Вот все размышляю, Махамбет, в чем же я ошибся, когда против Карауылкожи пошел? Вроде бы и прав наш хан, хочет в степь нашу дух нового времени впустить, чтобы не отстали мы от других народов, не потерялись в прошлом, завязнув в нем всеми четырьмя копытами коня, с которого, может, и стоит уже сойти, как думаешь? Может, несправедливости зятя ханского – плата за то, что от прошлого с трудом отрываемся, на новую дорогу в будущее вступаем...

Смутился Махамбет. Разозлился Махамбет. Кровь вскипела в сердце бывшего теперь воспитателя ханского наследника, упрянца из упрямцев, сына Утемиса, что видел сегодня на закате мертвые тела сыновей своего народа, погибших от несправедливостей нового пути в будущее. И потому были речи его горькими, а голос – хриплым, глаза же налились красным, отражая кровавую луну этой ночи:

- Что ты такое говоришь, защитник Орды Бокей хана? Как можешь ты сомневаться в пути предков, по которому шли поколения, когда видишь, что сходя с него, мы обрекаем на гибель братьев наших? Да кто мы с тобой такие есть, чтобы изменять обычаям Великой Степи, когда поколения предков наших шли по нему, и вот, родился Исатай, гордость рода беришей, батыр из батыров!..

- Помолчи, акын, не перед ханом речь держишь, а передо мной. – Исатай остановил речи Махамбета, поморщившись, будто что-то кислое ему в рот попало. - Я воин, мне твоя лесть ни к чему. И коли уж за дорогу предков, за древний путь Великой Степи заговорил ты нынче, так что же сам с такой легкостью принимаешь веру от татарских муфтиев, а наших аруаков прочь гонишь, так, что даже старый шаман, даром что любил тебя пуще сына, теперь и слышать о тебе не желает? Разве не древнее их арабского бога наш Тенгри, разве не с именем Великого Неба достигал своего величия - великий Шынгыс Хан, чьи внуки собирали дань с тех, кто ныне облагает данью нас?

Замолчал Махамбет. И не потому, что старший его побратим молчать велел, а потому, что ответить ему, по сути, нечего было. Голосом Исатая ныне заговорили его собственные мысли – те, что он сам загонял, как изгнанных из отары паршивых овец, в самые дальние края своего сознания, словно нерадивый пастух, в надежде, что погибнут они там, пропадут, перестанут смущать и оскорблять своим видом кажущееся таким единым, таким здоровым стадо мыслей-баранов, единым хором бляющих в один голос с муллами. Но паршивые овцы никуда не пропали, не сгнули, наоборот, превратились в волков сомнения, клыками логики раздирающих в клочья бывших сородичей, таких понятных в своей простоте, перекладывающих ответственность за судьбу свою и своего народа на высшую волю пастыря, ведущего их через тучную кормежку – под убойный нож.

Злые были эти мысли-волки, сильные, но немые до сей поры, и вот суровый воин дал им свой голос, подкрепил своею мудростью и опытом, и бесстрашно ринулись они на сбившееся в испуганное, блеющее обрывками догм стадо, не пугаясь тупых рогов страха перед гневом чужого бога. Это следовало остановить сей же час, иначе он перестанет быть тем Махамбетом, которого все знают... перестанет быть самим собой, станет кем-то... кем-то другим! А это – всегда страшно, становится другим, даже если это и означает – взрослеть!

И Махамбет бросил вперед, наперерез волкам сомнения и ереси, свою веру. Словно большой пес-тобет, чья пасть вечно истекает слюной голода по новой пище, новым разумам, лишенным свободы воли, встала вера на пути сомнения, закрыв дорогу познанию, которое не бывает без боли потери себя-прежнего, без потери лживой невинности неведения, и спрятался ученик суфиев за веру свою, как прятался внешне за молчанием. Закрыв зрение и слух души своей, чтобы не слышать вой и грызню волков сомнения против пса веры, не видеть этой битвы... И, как всегда происходит, когда человек не хочет видеть и слышать, укрываясь за верой, ушло сомнение прочь, без боя, уведя с собой и шанс на познание. Остались бараны-догмы, да сторожевой пес – вера, а между ними, потерянный и испуганный от чуть было не случившейся с ним перемены – он. Махамбет!

- Чего молчишь, акын? Всегда такой говорливый, что теперь, язык проглотил? – Исатай подозрительно смотрел на закрывшего глаза Махамбета, чье лицо еще мигом ранее было искажено болью от внутренней борьбы, а теперь вдруг стало пустым и отрешенным. Так же отрешенно и пусто прозвучал его голос в ответ:

- Велел замолчать... я и следую твоему велению. Ты же старший. Так наш адат-обычай требует. Что старший велел – делай.

- А велю от хана своего отречься – отречешься? – вдруг, с неожиданной яростью в голосе спросил Исатай, и остановил коня совсем рядом, схватил за загривок, прижался лбом ко лбу, пристально вглядываясь в глаза младшему побратиму. Остановились и жигиты Исатая, следовавшие за ними, удивленные, смотрели, как в свете луны два всадника слились в невиданную фигуру, и этот единый силуэт в ночи казался странным, пугающим зверем о восьми ногах, двух головах и сплетшихся, будто в борьбе, да так и застывших, всадниках.

Махамбет открыл глаза, и впервые показались они Исатаю, знавшему этого удивительного степняка с самого рождения, не острыми наконечниками копий, но бездонными черными колодцами, из которых будто смотрела сама смерть, неизбежная для них обоих, задумавших бунт против своего государя, и голос Махамбета звучал, словно из глубокого колодца:

- Отрекусь, Старший! Потому что – верю тебе. Все, что есть у меня сейчас, все, что осталось – это моя вера, а потому прими ее, ведь нет у меня для тебя ничего больше. И ни для кого – нет. От хана отрекусь, от любви своей, коли велишь, откажусь, но только не проси от веры отречься. Если любишь меня, брата своего, не проси...

Единственные слова, что могли проникнуть сквозь броню на сердце воина, которого все и всегда привыкли видеть в доспехе, сказал Махамбет. И единственный возможный ответ услышал от старшего побратима:

- Люблю тебя, брат. И никогда больше не посмею тронуть твою веру...

Махамбет перебил, все тем же, страшным, глухим голосом:

- И получишь за это верность мою, преданность, до самой смерти моей...

Так Махамбет, сын Утемиса, пошел против своего хана и благодетеля. Так он стал – бунтарем.

+ + +

Кричевский теребил в руках письмо от Петра Кирилловича Эссена, присланное из самого Петербурга, и заверенное припиской от руки генерал-губернатора Оренбургского, графа Перовского, по-солдатски кратко начертанного: «Согласен, одобряю, к исполнению!», и думал, что уже ничего не понимает в этой степной политике. Ведь все же свидетельства имеются, что острожник этот, Утемисов, есть бунтарь, и изменник, и речи супротив хана, самим государем Бокеевской Ордой управлять назначенного, говорил, и кайсаков к бунту Исатая Тайманова присоединиться подбивал, так что хошь расстреливай его, а хошь просто в холодной держи, где он и так от оспы мается, и сам душу богу своему магометанскому отдаст - все по закону будет! Так нет же, вроде как просит своего преемника, а на самом деле - велит нынче Петр Кириллович, Махамбета, сына Утемисова, на волю отпускать, с соответствующей бумагой о его, генерал губернаторском помиловании. Вот и бумага к письму прилагается, а в бумаге той особо замечено, что помилование это состоялось по личной просьбе и заступничеству хана Жангир-Керея... Того, супротив которого Махамбет сей бунтовать чудит. И чего ему, кайсаку этому, надобно? Верно, сытно есть да сладко жить при шатре самого хана, сынку его, понимаешь, гувернерствовать, так нет, в бучу подался! Поди, пойми этих кайсаков, а того паче – поди пойми, что в премудрой голове строжайшего, но хитроумнейшего из чиновников государства Российского, Петра Кирилловича Эссена, творится? Эх, не по рангу коллежскому асессору – да начальственные мысли пытаться понять, а по ранжиру приказы исправно в исполнение приводить, чтобы самому в бунтовщиках не оказаться. Потому как нету хуже в государстве этом слова такого, чем - бунтарь!

Песнь Махамбета

Я скачу быстрее ветра –

Против ветра перемен.

Мне осталась только вера

В оправдание измен.

Под копытами тулпара

Все сомненья в прах летят.

Степь войны пылает жаром,

И куски свинца – свистят,

Пролетая мимо нас.

Жизни - время. Битве – час.

(стилизация А.Улдуз под стихи Махамбета Утемисулы)

+ + +

*Исатай, мой брат, велик,
как кольчуги воротник,
как надежный, крепкий щит,
от врагов он защитит.*

*Был всегда он другом черни,
для хановичей же - зверем.*

*Он, конечно, свирепел,
но, однако, не зверел.*

*Например, он мог однажды
при набеге резать гадов,
но, в итоге (вот досада!),
проявилась в нем пощада...*

*Лет четыре или пять
вынужден он воевать,
все же ханскую гордыню
смог батыр наш потоптать.*

*...Конь - детеныш кобылицы.
Быль не отпрыск небылицы...*

*Иса-ке наш не боится
правду-быль, беду народа
всему ханскому отродью
сыпануть в глаза и лица.*

*Здесь, сидящий, Иса-ке
с головами тех врагов
уйму снял шоломов с плеч,
испуская вражью кровь,
напоил булатный меч.*

*Разве ветра-аргамака
породит обычный конь?!
Храбрецы среди казахов*

уродятся ли как он?!

Махамбет Утемисулы – «Ода Исатаю»

(перевод Б.Карашина)

+ + +

История четвертая

Цена победы

Карауылкожа бежал. Бежал, как последний трус, отказавшись выходить на бой с Исатаем по древнему адату, хоть и обещался старшина бершей в своем послании, что битый смертным боем не станет, а только сбросит с коня, ударит оземь, так, чтобы вся Великая Степь узнала, какая судьба ждет того, кто на земли этой степи посягать удумает, в личное владение забрать пожелает. Э, нет! Знаем мы этих сарбазов-дикарей, даром что под присягой хану ходят, вишь, взбунтовались же? А значит, нет меж ними, да дикими киргизами, как именует вольных родичей степняков, отказавшихся принимать присягу и служить государю Российскому, генерал-губернатор граф Перовский, никакой разницы! Им человека убить – что коня зарезать, и даже проще. И нет таким дикарям никакого дела, что человек этот, между прочим, образован, и в глазах всей империи российской цвет этих самых киргизов представляет, что дела его – ханом одобрены, законно, по обычаю-адату на белую кошму взошедшим, и народ степи к развитию ведущим. Какие-такие поединки возможны с главарями бунтарей, о какой-такой чести они могут говорить, когда сами, изменив клятве, присяге, честь свою потеряли?

Так успокаивал себя бегущий из осажденного своего аула Карауылкожа, так оправдывал, однако с каждой мыслью, вроде бы призванной успокоить, еще громче, настырнее билось в сердце понимание того, кто он есть теперь, тот, кто сбежал от поединка, оставил на милость повстанцев свой аул, своих жигитов, свое добро... Добра было жальче всего. Хотя нет – себя было жальче. Ведь осрамился, как мужчина, как сын своего отца, старшина своего рода и своих аулов – осрамился, и помнить о нем будет нынче степь, как о том, кто струсил! Ну, разве не жалко?

С тремя сотнями сарбазов пришел Исатай с юга на его кочевье близ Кызылкоги. Казалось – самонадеян старшина бершей, с такой малостью, да против тысячи жигитов ханского родича выступить решился, право же – самоубийца! Однако, когда завязался бой, короткий, яростный, жаркий, несмотря на февральский холод в степи, выяснилось, что каждый боец бунтовщиков, закаленный в бесконечных стычках с казаками, троих ханских жигитов стоит. Ведь к чему привык ханский сарбаз? Не к копы и мечу, но к плетке рука его привычна, не с вооруженным врагом, что на равных с тобой сражается, и убить тебя может так же, как и ты его, но с безоружным бедняком-шаруа, наказываемым за недоимки подати, сражаться привычен жигит первого феодала Бокеевской Орды, как себя в душе называл Карауылкожа. Очень глубоко в душе, и очень тихо, чтобы упаси Аллах, хан не прознал, кого по-настоящему первым в новом российском феоде считает себя его родич. Считает, а потому и собрал свою армию из тысячи жигитов-сарбазов, которые на деле оказались не воинами, но палачами, сборщиками податей, да кем угодно, только не теми, кем должны были быть, когда дело дошло до войны!

Не помогли и ружья, тайно от русских, и даже самого хана, прикупленные для своей армии. Ну, как тайно – ружья приобретались с ведома хана Жангира, и на его деньги,

тайком от русских, и для его личной «гвардии», жигитов из числа ближайших родичей, чьи семьи не пошли за Исатаем, будучи слишком обязанными хану. Однако почти треть из закупленного оружия оказывалась у самого Карауылкожи, еще в Астрахани научившемуся от русских купцов-подрядчиков да писарей при генерал-губернаторской канцелярии о великой науке приписок и «откатов товаром». Тем паче, что при таких вот закупках, когда товар нелегален, цену завышай как душе угодно, хан все одно проверить не сможет, потому как не положено ему по чину со всякой сволочью, вроде торговцев краденным оружием, общение иметь!

Вот и получилось, что ружья у Карауылкожи имелись, а вот стрелять из них жигиты его умели плохо – стрельбищ, из-за царского запрета, не заведешь, каждая унция пороха дороже золота, а охотой его жигиты даже не балуются, зачем им это, когда можно именем хана да под новыми законами скот у шаруа безнаказанно угонять?

Сотня стволов была у его жигитов, да только выстрелили хорошо если половина из них, а уж про то, чтобы в цель попасть, и говорить стыдно! Да и поди тут, попади, коли ты пищаль даже в руках держать не обучен, в скачущего на тебя во весь опор воина-кочевника. Да не просто такого же, как и ты, степняка, а опытного сарбаза, который годами вот так вот, без страха, на реестрового казака, той же пищалью вооруженного, скакать приучен, при чем с одною пикой в руке! Сарбазы же Исатая огнестрелов не использовали, хотя знал Карауылкожа, доподлинно знал – есть они у бунтарей! И ханский сродственник догадывался, отчего. Отважен Исатай, а хитрость с ружьями наверняка ему этот предатель, сын Утемисов подсказал. Уж назавтра пойдут-полетят доклады генерал губернаторам, что в Астрахань, что в Оренбург, и вездесущие наушники орла двуглавого, орла имперского, зорко следящего за землями своими, непременно донесут, что вот, мол, нарушили запрет царский люди ханские, огнестрелом обзавелись, из пищалей по бунтарям стреляют, а значит, сам хан и люди его и есть преступники закона империи, и надобно их менять. А на кого? А на того же Исатая, будьте любезны, его и народ любит, и порядок он наведет рукой железной, не в пример умствующему, обложившемуся книжками хану Жангир-Керею! С ним рядом и верный человек муфтиев казанских, что миссию свою в степях по воле государства Российского творят – Махамбет, сын Утемисов, за которого, известно, особы из самого Санкт-Петербурга заступались! Не за просто так же! Не бесплатно же! У всего ведь есть своя цена. Значит, эти голодранцы обещали своим ресейским заступникам что-то очень ценное. А что может быть ценнее власти?

Скачет-убегает Карауылкожа, за спиной его аул бунтовщики занимают, а мысли беглого родича ханского заняты уж совсем другим. Видит он изощренным в делах политических умом своим, куда клонят бунтовщики, к чему подбираются, и от коварства замыслов их аж дыхание перехватывает у Карауылкожи. А может, то от тряски на спине конской – отвык ханский родич, знатный бай Карауылкожа на коне-то скакать по степным бездорожьям, вот и тряско ему, седло в крестец впивается, спина уж ноет, бедра натерло – невмочь, да только не признает того никогда степняк, заживо похороненный в черной душе его. Все беды – от бунтовщиков и коварства ихнего, и не иначе!

А значит – и не убегает вовсе он, бросая за спиной свой аул и людей своих, нет! Он торопится-мчится к хану своему, Жангир-Керею, о коварных замыслах врага поскорей предупредить, уведомить, поделиться ценными мыслями своими о делах степной да имперской политики, кои никто, окромя него, Карауылкожи, должным образом правителю и родственнику представить не сумеет. И значит – не трус он вовсе, а разумный человек!

Ценный человек! А самое главное – живой человек... и все еще – очень, очень богатый человек! И если у всего есть своя цена... значит, у него тоже еще есть чем заплатить цену за свою будущую победу...

+ + +

- Василий Алексеевич, Ваше Превосходительство, будьте любезны стоять спокойно! – знаменитый живописец, выписанный из самого Петербурга, проговорил это с некоторым раздражением, однако же, довольно сдерживаемым – еще бы, герой турецкой войны, Анапу штурмом брал, с государем дружен, причем так, что августейший монарх простил ему даже связь с декабристами, генерал-губернатор Оренбурга к тому же за портрет свой сам не платил – опять же, государев подарок! При такой особе да раздраженье выказывать, будь ты хоть стократ знаменит, дорогого стоит может! Однако сиятельный натурщик раздражения художника, казалось, даже не заметил – граф Перовский нынче сам был не то, чтобы раздражен, но скорее гневен, хотя военная выучка и позволяла гнев этот в узде держать.

Бывший комендант Калмыковской Крепости, указом самого графа отозванный со службы и возвращенный в присутствие в Оренбург, пребывал в смущении изрядном. И не только потому, что до сих пор никак не мог определиться в своем отношении к происшедшим в его жизни переменам, хотя перемены эти были преизрядными, и задуматься о них вполне себе стоило: с освобождением арестанта и бунтаря Махамбета Утемисова жизнь любителя живописи и по совместительству – коллежского асессора Семена Герасимовича Кричевского изменилась самым решительным образом. И не понятно было, к лучшему оно, или же..? Ну судите сами, милостивые государи – вроде как при самом графе теперь обретаешься, есть возможность выслужиться и в будущем протекцию выхлопотать на перевод из ставших ныне беспокойными степных краев куда ни будь ближе к столицам, а хоть бы и на малую родину, в Суздальщину! Однако есть и обратная сторона медали сей, и сторона для русского чиновного человека весьма неприглядная – под бдительным оком генерал-губернатора Перовского мзды иметь никак не можно, да и должность ныне совсем не та! Ни тебе на фураже для крепостного гарнизона, оставлявшего изрядный *profit*, как сказали бы британцы, на спокойную старость, ни мелких благодарностей от родственников заключенных, «на холсты и краски», так сказать... Ничего! А жалованье коллежского асессора в связи с переводом под графский надзор, простите, менять никто и не думал! Вот и решай, где тут благо, а где козни диавольские!

Впрочем, ныне господин Кричевский был смущен не заботой о земных благах, но, как добровольный и потому более истовый, нежели избравшие живопись себе ремеслом, служитель Глиптии, этой «десятой музы» утонченных натур, бывший тюремный комендант чувствовал ныне робость и восторг одновременно. Еще бы – ведь ему довелось присутствовать при работе самого Брюллова, этой живой легенды русской живописи, обласканного государем и столичным светом, и признанного тако же в Италии и Франции! И не просто видеть все это, но даже...

- Любезнейший, а подайте-ка мне ту кисть, вот, которая подлиннее... - Карл Павлович Брюллов, действительный профессор Императорской Академии Искусств, только недавно вернувшийся из Италии на почетнейшее место в придворном искусстве, обратился к провинциальному коллежскому асессору вот так вот, запросто, по-приятельски, и Семен Герасимович не преминул тут же блеснуть и своим отношением, так сказать, к сонму служителей той же музыки:

- Вы этот вот *filbert* изволили просить, Карл Павлович? – и с глубоким поклоном протянул требуемую кисть именитому живописцу. Брюллов даже растерялся от неожиданности, но благодарно кивнул, и даже любезно поинтересовался:

- Тоже - художник? Имел честь видеть вас раньше? Бывали в нашей академии в Петербурге? Или, быть может, в Риме? На Капри?..

Семен Герасимович еще более смутился, несуразно замахал руками, будто прогоняя саму возможность такового знакомства:

- Что вы, что вы, никогда в Аппенинах... ни разу... а вот в академии... осьмнадцать лет назад... не прошел через экзаменацию, по настоянию родительскому пришлось все оставить, податься на службу... вот... хотя, знаете ли, все еще пописываю натуры...

- Вы, однако, забываетесь, милостивый государь! – окрик Перовского, словно зов Аида, прервавший полет музыки, и обрушивший ее, со сломанными крылами, в самую бездну Тартара, прекратил и полет души коллежского асессора, возвернув трепетную творческую натуру к его прямым служебным обязанностям. Граф смотрел строго, и даже страшно, белки «по-кавказски» больших глаз его, чуть на выкате, будто светились сиятельным гневом государственного человека, и Кричевский, вышколенный еще с гимназической скамьи, в единый миг превратился из художника – в чиновника.

- Прошу прощения, Ваше Сиятельство! Виноват-с! Право слово – дурак-с! Как есть – дурак-с! – повторял, тряся головой, будто болванчик какой, Семен Герасимович, отчего на лице у столичного живописца появилось пренеприятнейшее, брезгливое выражение. Его сиятельство граф Перовский, в свою очередь, выражение это заметил, и решил гнев свой усмирить, потому как выглядеть в глазах столичной знаменитости тираном и самодурствующим солдафоном ему, *ex*-«декабристу» и некогда члену вольнодумного «Союза Благоденствия», никак не хотелось.

- Полноте вам, Семен Герасимович! Прекращайте уж, право!.. – пробурчал он, однако Кричевский никак не желал уняться, а если и желал, то страх, ввевшийся в кровь русского чиновника с первых шагов его карьерного роста, ни коим образом ему этого не позволял. Граф – человек опытный и искушенный в деле управления не только военным, но и чиновным сословием, прибег к самой проверенной методе:

- Господин коллежский асессор! Докладывайте, что делается для того, чтобы покончить с бунтом в Бокеевской Орде? Есть ли письма от Иванина?

- Имеется, Ваше Сиятельство! – будто опомнился Кричевский. Собственно, ради этого доклада и явился коллежский асессор в кабинет к графу, поскольку о депешах от графского любимчика, капитана Михаила Игнатьевича Иванина, велено было докладывать незамедлительно. Этот самый капитан Иванин ныне занимал его, Кричевского должность, будучи назначенным в эту синекуру, на место коменданта Калмыковской крепости, где так тепло и сытно жилось еще недавно Семену Герасимовичу. О том, что сам он наемни в мыслях своих всю поносил и место свое, и крепость ту опустылюю, волею судеб оказавшуюся расположенной в самом сердце бунта в бокеевских степях, Кричевский уже забыл, и к Иванину питал совершенно справедливую, на его чиновничий взгляд, неприязнь, и даже зависть. Однако, служба есть служба, и Кричевский, с полагающейся по табелю о чинах покорностью и смирением протянул графу письмо.

Перовский покосился на живописца, вновь отметил грозящее недовольство на челе столичной знаменитости, и потому позы менять не стал, скомандовал:

- Читайте вы! – и чуть мягче добавил, чтобы сгладить неприятное впечатление от командного тона своего - Уж не сочтите за труд, сами видите, тут... искусству жертву приносим!

- Конечно-конечно, Ваше Сиятельство! – воодушевленно закивал прежним болванчиком Кричевский, и развернув капитанскую депешу, принялся читать вслух:

«Его Сиятельству, генерал-губернатору Оренбурга, Перовскому Василию Алексеевичу! Заранее извиняясь за краткий стиль своего письма, спешу доложить Вашей Милости о текущем положении дел на вверенных мне территориях нашей Империи, а именно: о последних событиях в набирающем силу бунте киргиз-кайсаков супротив своего хана, поставленного милостью Государя нашего во главу Бокеевской Орды...»...

Тут Кричевский не сдержал чиновничьего инстинкта своего, и позволил себе вольность в злорадном комментарии:

- Однако же, ну и стиль у господина капитана! Кто же так депеши составляет? Как смеет он так в официальном эпистолярии Государя упоминать – ни тебе положенных чинов, ни неизменных к упоминанию титулов?!..

- Вы это мне прекращайте, Семен Герасимович! Война в степи, не до чиновничьих ваших кунштюков нынче! – гнев, до сей поры исподволь тлевший в душе генерал-губернатора, вырвался было на волю, но тут же был безжалостно задавлен под осуждающим взглядом Брюллова, а также его недовольным:

- Ну, батенька, милый, Василий Алексеевич, просили же!..

Граф, в сиюминутном проявлении гнева своего изменивший было позу, вновь вернулся в было положение, уже одними глазами приказывая коллежскому асессору продолжать чтение. И каждую новость в депеше уже встречал лишь многозначительным хмыканьем, да порою усугублял это дело вращеньем страшных, на выкате, глаз.

Депеша и в самом деле была составлена предельно кратко, так что Кричевский довольно скоро зачитывал последний абзац:

«Поскольку бунтовщикам, возглавляемым опытным среди степняков в ратном деле Исатаем Таймановым, и соратником его, вдохновляющим многие аулы на неповиновение господам своим, степным пиитом-акыном Махамбетом Утемисовым, удалось одержать несколько мелких, но весьма громких побед над теми из киргиз-кайсаков, что в силу родственной привязанности сохраняют преданность хану Жангир-Керею, все большее число бедноты из степняцких кочевий вливаются в бунт, усиливая и распространяя его. Уже сейчас, согласно доносам из лагеря смутьянов, число вооруженных бунтовщиков перевалило за две тысячи, и цифирь эта грозит расти с нежелательным для нас постоянством. Справиться с бунтом силами малочисленных казачьих разъездов невозможно тактически, стратегия же не позволяет рассчитывать впредь на то, что смута может быть усмирена самостоятельно, силами самого хана Жангир-Керея. И чем доле мы будем тянуть с тем, чтобы выступить на бунтовщиков единым фронтом, собрав в одну экспедицию яицких казаков по реестру, немногочисленный гарнизон, расквартированный в Гурьеве, и тех из кайсаков, что сохранили преданность своему хану, тем выше для нас будет в последствии цена победы...»...

- Цена победы! Каков нахал! Мальчишка! – вскричал вдруг граф, сорвавшись со своего места, и в сердцах метнув кивер, что держал в правой руке, в сторону, ногой же задев мольберт, да так, что т от чуть не перевернулся, а Брюллов только и смог, изумленный, лишь встопорщить в негодовании свои напомаженные усы. Но графу была поистине безразлично уже возмущение живописца, он наконец дал волю чувствам, и первые минуты с полторы изволил ругаться так, как, возможно, ругался при штурме Анапы, смущая османов богатством русского матерного лексикону. Кричевский в мыслях своих аж восхитился искусности, коей Его Светлость сочетал похабности с непотребствами, а богохульства с вольнодумствами, выстраивая из них поистине изящные словесные конструкции, подобно башне вавилонской, произрастающие фундаментом из преисподней, и возносящимся к самым вышним эмпиреям. Местами речь генерал-губернатора напоминала запретного ныне цензурой Баркова, хоть и не имела присущей певцу русского бранного слова рифмы и сюжета. Поэзия в чистом ее виде, вот что это такое! – восторгался тою частью своего ума, что отвечала за художества, любитель живописи Кричевский. Другая же часть, служившая чиновничьим нуждам, удивлялась гневу начальства на своего фаворита. Впрочем, если убрать брань, и оставить только то, что действительно несло смысловое значение, то волнение героя крымской войны становилось объяснимым:

- Нахал и наглец! Мне – мои же мысли, мою же стратегию повторять! Да ведь это я, и никто другой, на своей лекции по военной стратегии в Императорском Кадетском Корпусе, на примере ошибок Александра Великого в азиатской кампании, это преподавал, а он, значит... и даже – без указания авторства!.. Читайте далее, Семен Герасимович, читайте! Что он еще там мне учить удумает, молокосос? Какой еще отрывок из моих же уроков мне возвернет?! – потребовал Перовский, так же неожиданно, как сорвался, вернувшийся на свое место, и даже позу принявши прежнюю, будто и не он мгновением ранее метался по кабинету разъяренным львом. Кричевский поспешил исполнить приказ, и продолжил читать письмо:

- «... цена победы, как вы и учили нас в Кадетском Корпусе, во времена оные, и каковую вашу мудрость ныне *dans une vie effective* наблюдать довелось!»...

Перовский заулыбался, затем вновь сорвался с места, широким, солдатским шагом подошел к статскому советнику, и так же вдруг, неожиданно для того, обнял, и так крепко прижал к своей груди, что у Кричевского аж дыхание перехватило. В голове, в той ее части, что служила чиновничью службу, мелькнуло удовлетворение от снизошедшего понимания, отчего именно Его Сиятельство, чье честолюбие стало притчей во языцех, так любит этого юного капитана, и во всем ему покровительствует. Граф же, в свою очередь, оторвался наконец от своего *lecteur`а*, повернулся к живописцу, подмигнул многозначительно:

- Слыхали, *mon cher*? Нет, вы слыхали, каков удалец, а? Не забыл, значит, науку старика, помнит, и *dans une vie effective*, значит, в практической, понимаете ли, жизни, пользует! Что может быть превыше чести для наставника, нежели пример науки, пошедшей впрок? Что еще нас, стариков, может в этой жизни радовать, я вас спрашиваю, *mon cher Santi*?

- Ну, положим, не такие уж мы с вами и старики, господин граф, да и до Рафаэля мне еще далече... - засмутился Брюллов, однако, явно польщенный генерал-губернаторским сравнением. Настроение же Перовского с каждым мгновением словно улучшалось, он уже командовал Кричевскому, словно на плацу:

- Пишите, Семен Герасимович! Обращение к его сиятельству, генерал-губернатору Петербурга, графу Петру Кирилловичу Эссену! Помня о вашем непреходящем интересе к событиям, происходящим в ранее подначальным вам краях, считаю необходимым прежде, нежели действовать самостоятельно далее, как то и полагается мне согласно чину и занимаемой должности, со всем почтением уведомить и испросить совета по не терпящему отлагательства *malentendu* с незаызвестным вам бунтом в Бокеевской Орде. Памятую наказ ваш как можно далее держаться от явного вмешательства в кайсацкую политику, однако события предприняли совершенно *terrible passage*, а потому считаю, что в дела кайсацкие следует вмешаться незамедлительно! В недалеком уже будущем предстоит нам покончить с произволом хивинцев, ставящим под сомнение господство русского оружия в этих степях, и установить это самое господство до самых киргизских гор на востоке. Затевать же такую кампанию, оставив в тылу бунт, никак не можно, и потому, дабы не преувеличивать цену предстоящей победы, просим высочайшего благословения вашего на немедленное и решительное подавление смуты в Бокеевской Орде, буде даже сие вмешательство нелюбезно и негодно правящему там волею Государя, хану Жангир-Керей! Ибо политика – политикою, но в деле военном имеет значение лишь цена победы!

+ + +

«Воистину, не даром Степь склонилась перед его великим предком, и не зря отцы наши и деды передавали власть над собой тем, в чьих жилах течет кровь могучего Шынгыс-хана!» - думал старый шаман, разглядывая своего нынешнего покровителя. Как ни старался он усмирить в себе это постоянное желание сравнивать их, потому как чувствовал себя невольным предателем своего жуза, своего рода и племени, однако заставить себя прекратить это угнетающее сопоставление – не мог. Хан Жангир-Керей, сын Бокея, и вождь казахов среднего и старшего жузов, еще не хан, возведенный на белую кошму, но уже тот, кто вел за собой армию, большую по численности, чем все население Бокеевской Орды, Кенесары, сын Касима, отличался от своего дальнего родича всем, и во всем. Шала казак Жангир-Керей, воспитанный орысами в чужом для собственного народа духе – и нагыз казак Кенесары, словно воспитанный самой Степью, правитель степняков не только по праву рождения, но по самой сути своей, по дерзкой крови, помнящей и всеокрушающую ярость, и жесткую дисциплину запретов ясы Шынгыс-хана, по могучей плоти степняка, вросшего ногами в конские бока, крепкими руками – в узловатую рукоять булавы-шокпара, головой же высоко парящего под самым взором мудрого Неба-Тенгри... Хотя и тут успели подсуетиться муллы – не отрицая и не запрещая старые обычаи и обряды Степи, Кенесары во всем принимал законы шариата.

Однако старого шамана, покинувшего Бокеевскую Орду и земли младшего жуза, он принял, хоть и не подпускал к себе близко. Это брат его, Саржан, в прошлом году подло убитый кокандским ханом в Ташкенте, к старику прислушивался больше, и советы его доносил до Кенесары лучше, чем это получилось бы у самого шамана. Однако высокий покровитель погиб, и целый год о существовании шамана в ставке Кенесары словно позабыли... до этого дня. Сам послал людей, просил явиться в его юрту. Зачем – не сложно догадаться. Кокандцы – боле не союзники, бухарский эмир колеблется, русский же император все дальше заходит в степь, ставит свои крепости и гарнизоны, пользуясь враждой между киргизами среднего и старшего жузов – и Хивинским ханством. Хива – горячка, кость в горле всем и каждому, по мере выгоды своей то друг, то враг русским,

ханьцам, жунгарам, кайсакам, наивно думает, что это она играет в свою игру, хотя не может хвост вертеть собакой, как бы он себя в этом не убеждал! Кенесары умен, хитер, понимает, что нужно сначала покончить с Хивой, и тогда можно бросить вызов императору орысов, заставить его признать право кайсаков Великой Степи самим выбирать себе правителя, принимать свои законы, и самим решать свою судьбу. Ему нужны союзники!

- Мне нужны союзники, шаман, и ты знаешь это! – стремительно-быстрый, словно степной беркут, Кенесары сразу заговорил о деле, как только дописал письмо на желтом листе рисовой бумаги, добравшейся в эти края аж из самого далекого Циня. Однако играть по правилам своего нынешнего покровителя, пусть даже и потомка самого Шынгыс-хана, старый шаман не собирался. Не умел, потому что, играть по чужим правилам. Оттого и вырвалось, вместо ответа, дерзкое слово:

- Что, даже не поздороваешься со стариком для приличия? Сразу к делу приступаешь?

- А какие с тобой, язычником, приличия у меня могут быть? Только не вздумай про возраст свой напоминать – ты тальхак, дарвиш, скоморох и шут старых богов, жрец забытых обрядов, к которым была слабость у брата моего... - вспомнив о погибшем в Ташкенте Саржане, Кенесары на мгновение будто загнулся, на лицо его словно легла мрачная тень неизбежного, глубокого горя, по так же мгновенно ушла, уступив место жесткости, и даже, показалось – злости. Только от злости мог мудрый Кенесары сказать последующие слова: - Нет у твоего ремесла возраста, а значит и почтения к твоему возрасту у меня быть не может! Тому, кто не идет по пути Аллаха, назначенному нам пророком Мухаммедом, салеиху-ас-салим, я уважение выказывать не намерен. Ты живешь в моем лагере, ешь с моего дастархана, и настала пора отплатить мне услугой...

«Да, не осталось в вас того, что так люблю я в своем, младшем жузе. Вы нас называете грубыми, а себя считаете честными, хотя даже в прямоте вашей – неприкрытое невежество и попрание всех заветов предков! Никогда никто из младшего жуза не стал бы попрекать гостя дастарханом и кровом, как бы надолго тот не остановился в его юрте! Эх, Кенесары, может, ты и лучший правитель для Степи, чем наш Жангир-Керей, да только не пойдет за тобой Запад, потому как не любят у нас невежество, и грубость с честностью путать – не любят!» - подумал шаман, вслух же сказал:

- Хочешь – прогони меня прочь, я теперь и куска мяса не возьму с твоего дастархана, однако услугу, в которой ты нуждаешься, сам тебе предложить хотел. Не ради крова твоего и еды из рук твоих, а потому, что народ степи – мой народ, хотя и сменил своего бога на пришлого, и свободным хочу я видеть степь не меньше твоего!

Смутился Кенесары, замолчал. Провел рукой по лицу, несущему на себе печать огромной усталости от давней борьбы своей, в которой, казалось, невозможно победить, от потерь дорогих людей, которых его бог никогда ему уже не вернет. Глубоко вздохнул вождь двух жузов, оперся могучими руками батыра в столешницу орехового дерева, встал с деревянной, обитой шелковым ковром бухарской работы, тахты, сам налил чаю в пиалу, своими руками поднес, поставил перед шаманом. Склонил голову, сказал смиренно:

- Прости меня! Забылся я, нарушил приличие, неподобающе говорил с тобой, хоть и не заслужил ты ни одного тяжелого слова от меня, будучи гостем моего бесконечного кочевья. Это все... все потому, что ты мне всегда о Саржане напоминаешь, а с этой потерей я так и не смирился! Боль вот тут – стукнул себя в грудь крепким кулаком Кенесары – кинжалом острым сидит, мести требует, а я не могу! Хоть и благословлял

меня весь диван имамов на карательный поход – иди, говорят, на бухарского эмира, истребуй ответа за кровь брата твоего! А я – не могу...

Кенесары опустил голову: - Убью эмира – орысам царский подарок сделаю! Хиве угрожу! Ханьцам пособлю! А значит – должен он жить, чтобы им костью в горле встать! Потому что прав ты, старик, нет ничего важнее, чем свобода народа моего, ставшего, подобно горе, истонченной ветром, таким маленьким, перед этими великанами, только и жаждущими окончательно лишить нас всех прав, подчинить и включить в состав своих ханств, эмиратов, империй! Простишь ли меня, шал?

Шаман, помнивший батыра Сырыма и его восстание, видевший, как не одного хана на кошму поднимали, власть вручая, казалось, был тронут искренностью Кенесары, и ответ его прозвучал мягко:

- Великое Небо не помнит обид человеческих, мне ли, его маленькому служителю, на тебя, чингизид, обиду хранить? Верно ты мыслишь, нельзя идти на эмира, а на Хиву самому идти – сил нет, и значит нужно этих самых сил набираться, а откуда их взять, когда и так оба жуза твою власть приняли, под твои санжаки встали?! Разве что только третий жуз, младший, гордый, которому орысы дали свое ханство, и тем от прочих своих братьев отделили, а такими и править, сам знаешь, много легче. Жангир-Керей хан никогда с тобой в союз не вступит, уж слишком ты орысов разозлил. А он под их царем ходит, от него власть имеет, и бешеной собаке, кусающей руку кормящую, уподобляться не станет. Он сам у нас – как орыс одет, как они говорит, и даже править как они удумал. Налоги новые ввел, собственность на земли и пастбища учинил, и своим только родичам эту собственность нынче в право определил. И даже имамов в его аулах, мулл в его кочевьях губернаторы орысов из Астрахани да Оренбурга назначают.

Кенесары с печалью посмотрел на шамана:

- Значит, младший жуз за мной не пойдет?

- Этого я не говорил, - покачал головой старик, - Как раз наоборот, шаруа, степняки, что по старому адату жить хотят, с радостью твой закон-ясу примут, в твою армию пойдут, за тебя кровь проливать станут, только надобно, чтобы в армию твою их свой предводитель привел. Мой степняк, живущий в Степи закатного солнца, хоть и наивен, и хорошей драки не боится и даже любит ее, но слишком горд, и во главе своих отрядов никого не потерпит, если только между ними и тобой не будет тот, кому они верят, потому что – свой!

- Есть ли такой человек? – с загоревшейся в глазах надеждой спросил Кенесары. – Есть ли такие вожди у младшего жуза, что понимают, за что я борюсь, и поведут своих жигитов в битву за меня?

- Ты – чингизид, Кенесары, сын Касыма, в тебе кровь торе, и хочешь ты для степи правильных вещей, а значит, и люди, что тебя поддержат, в младшем жузе найдутся. Особенно сейчас, когда Исатай, сын Таймана, и Махамбет, сын Утемиса, объединились, и совместно ведут свою войну против нововведений хана Жангир-Керея! Тебе следует отправить посла к Исатаю, предложить ему союз...

- Тебя, шаман! Тебя и следует отправить! – Кенесары, несмотря на могучее сложение, легко вскочил на ноги, от избытка чувств радостно зашагал по просторной юрте взад и вперед, разговаривая будто с самим собой: - Именно так, и не иначе! Кого лучше всего

послушают Исатай и Махамбет, как не старого шамана, который, к тому же, из их рода и племени?!..

Настала теперь очередь шамана печально качать головой, возражая:

- Нельзя меня отправлять, вождь! Исатай-то меня, может, и выслушает, но Махамбет, сын Утемиса – никогда! Так ты только еще хуже сделаешь, и посольство свое заранее на повал обречешь. Отправь лучше любого своего военачальника, такого, чтобы сам батыром был, чтобы мог на дерзость – дерзостью ответить, а на стихи – стихами.

- Насчет стихов ничего не обещаю, а вот отважного и честного человека для такого посольства найду. Говорят, ищешь друга – найди для всех общего врага, а раз так, то отправлю-ка я к Исатаю четверых своих сарбазов, из тех, что со мной в позапрошлом году обоз русских брали, с казаками реестровыми и гренадерами с одними кинжалами в руках расправлялись, и теперь за каждого из них орысский генерал-губернатор Перовский особую награду назначил. Поверит таким людям твой Исатай?

Шаман еле заметно улыбнулся:

- Мой? Пускай будет мой... Поверит! Должен поверить! Иногда вера – единственная цена победы!

+ + +

*Я, как тополь, был могуч,
достигая грозных туч,
для народа я - спаситель,
а для недругов же - мститель.
Словно сокол сильный, хваткий,
не покой искал, а схватку,
На скаку копьё вращая,
своим видом устрашая,
хоть сбивал я пыл коня, -
всех в атаке обгонял.
У мужей врагов не счесть,
Но коварнее всех есть,
С кем они повенчаны.
Это, братцы, женщины.*

Махамбет Утемисулы – «Я был могуч»

(перевод Б.Карашина)

+ + +

История пятая

Разбитое сердце

- Убей! Убей хана, как предателя, как бешеного пса, что предал свой род, племя, кровь, Бога...

- Помолчи! – Исатай прервал Махамбета резко, грубо, даже зло, а такого давно не случалось. А верней сказать – никогда такого не случалось с тех самых пор, как объединились они в своем восстании. И вот теперь – будто злой октябрьский ветер пролетел между соратниками, расколел, разбил союз, дружбу, сердце разбил...

- У тебя, Махамбет, сердце разбито, вот и беснуешься! Или в себя придешь, или я тебя в чувство приведу, выбирай, только я это ведь больно делать буду, ты меня знаешь! – Исатай и не скрывал своей злости, так, что рука, сжатая в кулак, дрожала, будто из последних сил сдерживал себя вождь повстанцев, чтобы не причинить боль своему младшему побратиму.

– Не тебе, Махамбет, о предательстве богов говорить, и не мне, беришу, на чингизида руку поднимать! Не было такого в нашем роду, чтобы законно избранного да благословенного всей Степью хана жизни лишать! Только другой торе, другой чингизид на такое право имеет, таков адат великой Степи – со времен Великого Кочевника! И не нам с тобой адаты менять, раз уж мы сами за возвращение к старым обычаям бьемся, как ты сам повсюду говоришь!

- Старший мой, брат мой, наставник мой, во всем и всегда повинуюсь я тебе, но сейчас прошу, молю, на колени встану, если потребуешь... - Махамбет бросился к Исатаю, словно и впрямь собирался рухнуть перед ним на колени, но Исатай резким, быстрым, как бросок камышового кота, движением левой руки схватил его за отворот стеганого кафтана, сграбастал пыльную, невытую, верно, уже с несколько месяцев, ткань в свой огромный кулак. Схватил, встряхнул так, что у крепкого, коренастого Махамбета клацнула челюсть, а сам батыр, победивший не в одной борцовской схватке мужчин крупнее и сильнее себя, почувствовал себя кожаным бурдюком, полным рыхлого жира и не связанных меж собой костей – такую мощь придала руке старого воина его ярость.

Притянув акына к себе, воин и вождь повстанцев, Исатай, сын Таймана, заговорил, не отрывая темных глаз от побелевшего лица своего младшего побратима:

- На колени? Передо мной? И как ты себя после этого сможешь называть моим братом? А может лучше сразу станешь называть хозяином? Или как там у орысов – барином? А?! Да что с тобой сделала эта женщина? Что сотворила с тобой ее колдовская красота, что ты собой быть перестал, Махамбет, сын старшины Утемиса, который был беден, но горд, и ни перед кем, даже перед ханом своим, колен не преклонял? Иди! Слышишь? Иди прочь из-под моего шанырака, и не возвращайся таким, пока не станешь самим собой. Уходи прочь, похорони свое разбитое сердце, и возвращайся прежним. Верни мне моего Махамбета!

Одним, казалось бы, несильным движением, Исатай отшвырнул от себя прочь своего друга. Но широкий в кости батыр и акын Махамбет пролетел аж до самого входа в юрту, с трудом, но удержался на ногах, и ни слова не сказав, вышел. Как ему и было велено.

Не Махамбет, но остатки Махамбета шли на его ослабших ногах, вели его покорное тело через весь лагерь повстанцев, прятавших глаза, делавших вид, что не замечают они, как

идет тот, кто еще вчера зажигал их сердца, тот, на кого они хотели быть похожим, а ныне только усталая память о былой силе и гордости смотрит из впалых глазниц над резкими скулами, обтянутыми почерневшей кожей. Не Махамбет, но робкая память о нем, из последних сил обошла холм, чтобы повалиться на глинистый берег у ручья, протекавшего через весь лагерь, и дальше, к самой ханской ставке, вот уже третий день осажденной войсками повстанцев.

Осада ханской ставки должна была покончить с самим этим восстанием – по замыслу Махамбета, не того, что нынче был похож лишь на руины себя – прошлого, но того Махамбета, который родился воином, и жил им все то время, пока не встретил свою судьбу на проклятом приеме у генерал-губернатора. Судьба эта стала любовью и судьбой другого человека, друга, покровителя и законного правителя его. И потому, согласно замыслу, хан должен был погибнуть. Быть убитым, растерзанным яростью повстанцев за то, что предал адат-обычай, сошел с дороги предков, пытался сделать из степняков... что же он на самом деле пытался из них сделать? Неужели ханша была права?..

Разбитый человек у ручья затряс головой, и в этот миг более всего он был похож на старика, чьи годы на излете, силы – на исходе, а разум и вовсе на закате. Еще вчера он был иным, сильным, строившим виды на будущее, в котором он был бы единственным обладателем той, что ныне принадлежит другому. Но – нет! Сегодня вождь и побратим, старший во всем, Исатай, отказался его понимать! А ведь такая удача выпадает только раз в жизни – застать хана врасплох, запереть в ущелье, одного, без поддержки, которая, если медлить, непременно придет, уж слишком крепка в степняках преданность наследию Великого Кочевника, преданность, выраженная в верности потомкам его, носителям крови чингизидов – торе! Впрочем, нет в Степи нынче силы, способной побороть храбрейшего и мудрейшего из ныне живущих военачальников-сарбазов во всей Бокеевской Орде, и любой, кто придет, будет побежден Исатаем, чьи войска многочисленнее любой другой силы среди степняков, а слава о силе его бежит вперед, гонимая людской молвой быстрее ветра. Только Империя могла бы справиться с ним, но русские не вмешиваются в проблемы кайсаков, оставляя их разбираться самим в собственной политике.

Вчерашний Махамбет догадывался о том, что склонить Исатая к штурму ханской ставки и убийству самого хана будет трудно. Сам Исатай, когда только ставили осаду вокруг ханского аула, заявил, что намерен вести переговоры, добиться от хана наказания Карауылкожи, отмены всех прежних указов-фарманов, и прилюдного признания верности адатам предков. После чего вновь наступил бы в Орде мир. Но Махамбета это не устраивало, и тогда ночью решил он на дерзкое проникновение в ханскую ставку, к самой ханской юрте... не за тем, чтобы убить хана Жангира, но чтобы разбить ему сердце, украв у него самое дорогое, что только может быть у настоящего мужчины – его любовь!

+++

Ночью темной, черным врагом пробрался он в самое сердце ханской ставки, обманув людей хана дерзкой, уверенной поступью своей – так шел он по лагерю, накинув поверх рубахи богатый шапан, подаренный когда-то ему самим ханом. Для пущей убедительности предварительно нашол на плечи шапана по эполету, какие бывают у русских офицеров – манеру эту придумал ни кто иной, как сам Карауылкожа, еще несколько лет назад введший эту позорную моду среди прочих соратников Жангир-Керея, таких же, как он сам, воспитанных орысами из детей аманатов в собственные смешные пародии. Кто ни посмотрит – сразу поймет, вот идет один из тех, кто вместе с ханом

учился в Астрахани, товарищ гимназических лет его, верный слуга, потому как никому другому и не достать таких пышных эполет из золотого, витого шнура, и никто другой не посмеет с такой уверенностью идти не в юрту, где хан обычно совет держит, и где его походный рабочий кабинет обыкновенно располагается, но в бревенчатый домик, точная копия ее покоев в недавно построенном дворце в Нарын-песках, построенном им для своей самой любимой жены – Фатимы. Бревна для этого домика возили отдельным обозом при каждом перемещении ханской ставки, и каждый раз строили заново, в точности повторяя все, от внешней отделки до внутреннего убранства.

От доверенных людей в лагере Махамбет знал, что в это время Жангир-Керей совершает намаз в обществе своих ближайших слуг и родичей, имамом же в молитве служит мулла, назначенный из самого Оренбурга, по рекомендации Мухамеджана-ходжи, почтенного отца Фатимы. А значит, сама Фатима должна быть одна, занимаясь... чем они там занимаются, эти женщины, воспитанные русскими? Махамбет вдруг задумался о том, что он, на самом деле, вроде бы собрав столько сведений о Фатиме, совершенно не знает женщину, покорившую его сердце и ум! Вот, скажем, женщины степняков – известно, чем они в такое время могут быть заняты, и даже о чем думают, не самая великая тайна. Дети, уют в юрте, да кипящий казан на очаге для усталого от ратных ли дел, от ухода за скотом ли, мужа. Весь мир жены степняка строится вокруг ее семьи, особенностей кочевого хозяйства ее, да из забот о благополучии всего аула, если муж – бай, или хотя бы староста.

Но чем может заниматься женщина, которая не обременена хозяйством, чья красота делает ее мужа настолько покорным, настолько заботливым, что он в проявлении любви своей снимает с нее все бытовые заботы, которые, как мыслит Махамбет, и есть смысл жизни для любой женщины!? Что делают все эти жены русских офицеров и губернаторов, когда их мужья заняты своею службой? Все свое представление об русских женщинах Махамбет складывал из того, что ему удалось увидеть и понять за время жизни в Астрахани и Оренбурге. Увидеть удалось немного, понять же и того меньше, и потому жизнь русской жены, русской хозяйки казалась ему праздной, лишеной истинного смысла, отсюда и к мужчинам русским отношение у Махамбета было несколько презрительным. И все же Фатима не была русской, а значит, это отношение не распространялось на нее. Не была она и степнячкой в полном смысле, а значит ничего на самом деле не знал о ней Махамбет, и любил, получается, не просто женщину, но большую тайну, неведомое и новое, скрывающееся за пределами известного ему мира.

Для того, кому учителя-суфии эти границы расширили за пределы невозможного, всякая тайна была вызовом. Но эти же учителя-суфии ничего не рассказывали ему про женщин. Эта величайшая из тайн вселенной пугала Махамбета, несмотря на то, что он сам был уже и дважды женат, и обзавелся детьми. Женщины собственного племени всегда любили Махамбета, он привык к этому сизмальства, их гордость, недоступность, дерзкий нрав всегда проявлялись по отношению к другим, но всегда обходили его стороной, будто создан он был для любви женщин, для почитания ими, всегда признавали они его мужественность, отвагу, видели в нем опору, защиту, дар же певца-акына еще больше распалял их сердца, делая беззащитными перед его страстью ли, прочими ли желаниями! Верить в силу мужчины, видеть в нем защитника – уже зачастую довольная причина для женского сердца, а когда к этому в придачу идет еще и талант мастера слова – сердце редкой красавицы устоит перед таким жигитом! Настолько редкой, что среди своих соплеменниц таких Махамбету и не встречалось. Но обратной стороной дела стала уверенность в себе, и полное незнание, непонимание женщины, как человека, равного себе, такой же личности, имеющей свою силу, свой дар...

- Куда идете, агай? Хан сейчас в мечети, его здесь нет! – голос сарбаза, вооруженного старинным мушкетом, несущего свой пост у самого крыльца деревянного домика ханши, вывел Махамбета из раздумий. Повезло – жигит оказался из новеньких, видимо, из тех, кто пришел к хану на службу недавно, уже после начала восстания, и потому не узнал бывшего наставника ханского сына. В сердцах обругав себя последними словами за такую беспечность и риск, Махамбет, тем не менее, гордо поднял голову и заговорил с презрением в голосе:

- Я не хуже тебя знаю, где сейчас наш хан, солдат! Я здесь с его ведома и дозволения, с письмом к ханше от ее отца, почтенного ходжи Мухамеджана Гусейнова!

Письмо при Махамбете действительно имелось, и оно в самом деле было от отца ханши, оренбургского муфтия Мухамеджана, только было оно старым, и адресовалось не дочери, но самому Махамбету. И, тем не менее, бумага с убористой арабской вязью, которой Махамбет принялся размахивать перед носом у ошарашенного жигита, явно не наученного читать язык Корана, сделала свое дело: сарбаз смутился, и даже попятился, будто боясь, что бумага со священными письменами навлечет на его голову проклятие Творца Миров, да благословенны будут тысячи имен Его! Ведь кто его знает, что оно там написано, в этих бумагах, верно, только муллы, а с ними связываться себе дороже. Как и вызывать недовольство приближенных хана Жангира, к коим, безо всякого сомнения, относился этот коренастый, низкорослый человек с обритым наголо черепом и пронзительным взглядом черных, как ночь, глаз. Вон, какие золотые эполеты себе на шапан нашил, и обратился не по степняцки, не жигитом назвал – *солдатом!* Точно – из этих, что среди орысов воспитаны, из бывших аманатов! Ханша таких порой принимала и без присутствия хана, но всегда – с его ведома.

Растерялся сарбаз, приуныл, отступил в сторону, пропуская такого важного человека к крыльцу, а тот, даром что невысок, прыг-скок на кривых, крепеньких ножках, и уже перелетел через ступени лестничные, дверь открыл без стука, вошел, и закрыл за собой – аккуратно так, видимо, чтобы не беспокоить!

В сенях встретила Махамбета сама ханша, видимо, услышавшая разговор с постовым сарбазом, и спустившаяся из светлицы, чтобы принять письмо от отца:

- Ассалам алейкум, ага, письмо от уважаемого отца моего принесли? Благодарю вас! – казалось, Фатима не замечает лица вошедшего, не различает, кто он таков, и только письмо интересуется ее, так спешно она чуть ли не вырвала бумагу из руки Махамбета, принялась читать, быстро, про себя, лишь слегка, совершенно беззвучно, шевеля губами. Махамбет залюбовался ею: цепкий, умный взгляд, устремленный на вязь письма, чуть выделяющиеся скулы, как оно и бывает у татарок, широкий, будто крылья беркута, разлет тонких, ухоженных бровей, которые на глазах сводятся в недовольстве, складывая морщинку на переносице над небольшим носиком...

- Ты... самозванец?! – наконец поняла ханша, и взгляд ее, устремленный наконец, прямо в лицо вошедшему, не сулил ничего хорошего. Впрочем, кричать и звать на помощь эта женщина так же явно не собиралась, и даже какое-то узнавание мелькнуло в ее лице: - Я тебя знаю! Ты – то самый Махамбет... батыр и акын, бывший друг моего мужа, а ныне – изменник, бунтарь и предатель!

- А еще – друг твоего отца, ханша! – с усмешкой ответил Махамбет, дерзко отвечая на вызов во взгляде татарки.

- Это-то я уже поняла! – нехорошо, криво улыбнулась Фатима, и швырнула письмо, написанное отцовской рукой, чуть ли не в лицо Махамбету.

Письмо это было подобрано не случайно. Оно было одно из тех посланий от почтенного ходжи Мухамеджана, в которых тот довольно прозрачно намекал своему духовному сыну Махамбету, что сердце ханши не навечно занято ее нынешним супругом, что только высокое происхождение да каприз хана вынудили их с генерал-губернатором в свое время пойти на этот брак, на самом же деле еще во время первой встречи своенравная дочь его была весьма впечатлена молодым акыном, и если однажды судьба приведет к такому исходу, при котором хан погибнет, то первым, кто сможет завоевать ее сердце, будет именно он, Махамбет, и сам Всевышний не встанет против такого союза!

Махамбет с волнением вглядывался в лицо ханши, и увиденное вовсе не радовало его. Возможно, впервые в своей жизни он прочитал в женских глазах чувство, доселе никогда не обращенное к нему – жалость! Несмотря на кривую улыбку, и презрительный тон в голосе, глаза Фатимы были наполнены именно жалостью к нему – батыру, любимцу народа, к тому, чей голос пробуждает отвагу в жигитах, в женщинах же только – любовь! А тут – на тебе, словно ребенка малого видит перед собой татарская красавица, и голос ее меняется, и уж нет в нем презрения, но та же обидная жалость, от которой становится больно:

- Что же ты, акын, поверил старому лису? Как же ты, батыр, доверился тому, кто собственную дочь ради власти и выгоды разменять готов, а уж «духовного сына» своего, и вовсе в расход пустит, ежели ему выгодно будет, а того паче – если ему начальство прикажет! В одном прав отец мой – не хотела я замуж за хана твоего, не собиралась судьбу свою связывать с человеком, мне вовсе не знакомым, а готовилась наутро после того приема у губернатора, где мне суженого моего представить должны были, бежать с офицером из гарнизона – в Париж бежать. Да только сама же решение свое и изменила, не ради воли отца, не потому, что покровители его в высоких чинах так ему велели, а сама, по зову сердца. Когда увидела, какой он на самом деле. Когда поняла, какой он человек, и какие люди его окружают, а он все равно собой остается, как бы трудно ему это ни было... Вот тогда и решила стать ему женой и другом. А что ты? Неужто и вправду решил, что интересен мне, что понравились мне звонкие, да бахвальные песни твои? Нешто в самом деле думал, что руки твои сильные волновали девичье сердце мое?..

- А разве – нет? Разве не о том говорили глаза твои, пел мне смех твой, и каждым своим словом разве не ты давала мне надежду, заставляя гневаться будущего супруга своего? – с жаром заговорил Махамбет, бросился было к Фатиме, но остановился, будто уперся в стену каменную – таким взглядом встретила она его порыв, не злым, не гневным, но жестким, истинно повелительным, как и пристало ханше.

- Совсем ты женщин не знаешь, Махамбет. Да, хотела я ревность вызвать в человеке, которого еще не знала, назло отцу, назло губернатору, назло ему самому, что согласился судьбу мою решать, да без моего на то согласия, вот и использовала тебя. Слышишь? Использовала! Был бы на твоём месте другой – ни на миг не задумалась бы, так же поступила бы, только бы отомстить тому, кто в мою жизнь так вмешался, только потому, что родился мужчиной. Играла я с тобой, акын, а ты из-за игры этой, значит, изменником стал, бунтарем?! Жалко мне тебя!..

- Себя жалеи, женщина! – гнев вскипел в Махамбете, и только странное чувство, которому он и сам не мог найти названия, мешало ему броситься к ханше, схватить ее за плечи,

сорвать с головы шапочку замужней, распустить, опозорив, волосы, и так, простоволосую, взять здесь же, под кровом ее мужа, а после перебросить через седло своего коня, и ускакать в степь, где он, мужчина, будет сам, единолично и по праву рождения мужчиной, решать ее судьбу. – Себя жалею, отродье Хаввы, сподвигшей предка нашего, пророка Адама, мир ему, на первородный грех! Во всем ты ей подобна, и гореть тебе в аду...

Что-то неуловимо изменилось в лице ханши – будто скучно ей стало вдруг, и потеряла она всяческий интерес и к словам Махамбета, и к страсти его, и к самому нему, словно стал он никем, только одним из многих мужчин, протягивающих руки к ней... грязные, похотливые руки, все правота которых – только в их силе, да власти, данной им их верой и государством. И прервала она Махамбета так же – скучным, бесцветным голосом, какой он порой слышал... от собственных жен:

- В аду, говоришь? Верно... если сможешь меня похитить, сделать своей – ад меня только и ждет, уверена...

Будто холодной водой окатили акына. Аж сердце остановилось. Почувствовал себя Махамбет вдруг последним из низкий, низайшим из подлецов, подлейшим из всех мужчин, что рождались на свет, и так ему захотелось в этот миг защитить свою любимую от... от кого?... от таких же, как он сам?! Сам не понимая, что несет, он вдруг не заговорил – запел:

- Я предал в этой жизни, наверное, все и всех – но только не тебя, потому что все эти измены ради твоих глаз! Звал людей умирать за свободу от нового рабства, но на самом деле бросал их в пламя собственной страсти, рабом которой сам сделался. Я убивал – в надежде, что буду дарить новую жизнь с тобой, и зреть эта новая жизнь будет от моего семени, и в твоем чреве! Уходи со мной! Брось тщедушного, жестокого хана, познай волю степняка, и я изменюсь ради тебя, и стану другим, тем, кто достоин тебя! Веры своей никогда не предавал, но если потребуешь – и от нее отвернусь, стану проклятым – только бы ты была рядом!..

В этот раз никто не прерывал Махамбета – сам прервался. Замолк, только заметив, как слеза катится по щеке той, кого он любил больше своей веры и чести. Она заплакала раньше, когда он сказал о новой жизни, которое ее чрево лишь единожды сумело зачать, чем не единожды попрекали татарку злые на язык степнячки на женских собраниях своих, укоряя в том, что не плодит ее лоно от семени высокородного мужа. Мужа, которому прочие его жены рожали множество сыновей и дочерей. Фатима плакала, и с каждой скатившейся слезинкой ее Махамбету казалось, что жизнь его становится на десяток лет короче. Но слезинок этих было немного – меньше, чем пальцев на руке, сильна была ханша, сдержала слезы, сберегла годы жизни акыну. Только вот сердце его беречь не стала!

- Волю познаю, говоришь? С тобой? Нет, и не будет мне воли там, где мужчина или царь и бог, или пыль под ногами женщины. Не умеете вы еще находить золото в умеренности что страстей своих, что предательств. Жизни новой я тебе не рожу – коли от мужа больше не смогла, а он у нас тот еще жеребец, хоть и называешь ты его тщедушным. В одно верю – на самом деле любишь ты меня. Словам твоим – верю, потому как самое сильное это в тебе, умение слова в узор вязать, небо в цвет крови своей красить, и все, кто слова твои слышат, верят в них. И я – верю. В любовь твою – верю. А теперь и ты мне поверь... - при этих словах Фатима, любимая жена хана Бокеевской Орды, чингизида Жангир-Керея, приблизилась к бунтарю и изменнику Махамбету, и ласково погладила его по щеке. Уж

лучше бы не делала она этого – потому как слова, что прозвучали сразу после того, еще глубже вонзились в ставшее хрупким от мороза безысходности сердце, и разбили его на тысячи мелких льдинок: - Я мужа своего люблю. Не за силу рук, которые у тебя – сильнее. Не за умение красиво слагать слова, он порой самую разумную мысль свою с трудом изложить может, особенно если взволнован, ты же в этом одарен свыше меры, и волнение твое дар этот только сильнее делает. А спроси за что – и не смогу ответить. Только одно знаю – когда говорит он мне о мечтах своих, о том, куда хочет привести народ свой, вижу я человека, которому нет равных среди батыров и акынов. И понимаю теперь, за что отец мой его не любит, почему в тебе надежды ложные пестует, по воле, не сомневаюсь, начальников своих. Никуда я с тобой не уйду. Потому что люблю только его, мужа своего. Как и должно настоящей степнячке! А ты со своей страстью мне только жалок. Вот тебе последнее мое слово!

Ошарашенный, стоял Махамбет, не зная, что и сказать, как ответить на такое откровение ханши. Подвел его дар, разбегались слова, как непослушные жеребцы-айгыры в табуне по весеннему гону, норовили лягнуть большее в и без того израненное сердце, не желали строится в ряд, в мысль, в смысл. Только и смог выдавить из себя, уж неведомо зачем – может, обидеть хотел из мести:

- Последнее слово? Разве не должно последним словом охрану звать, сарбазов, велеть вязать меня, изменника и предателя, казнить за дерзость?!..

- Должно? Если позову, если закричу – так и будет. Да только нельзя, чтобы тебя не стало, чтобы погиб ты сейчас. Муж мой этого не позволит. Знаешь ли ты, сколько писем мы вместе с ним составили генерал-губернаторам да чинам имперским, чтобы тебя отпускали из арестов и острогов? Ведомо ли тебе, как до сих пор любит тебя твой хан, и помнит, как лучшего друга своего непростого детства? А еще – знает он, что нужен ты, народу этому нужен, земле этой, что судьба твоя и без того нелегка, и потому нельзя дать тебе погибнуть, как бы ты сам не рвался на встречу собственной гибели? Хотя, скажу тебе честно – прознай он о твоей дерзости проникнуть в мой покой, то никакая память о лучших ваших годах, никакое признание важности твоего дара для будущего народа нашего не спасли бы тебя. Не от ревности глупой, но от страха за мою жизнь и честь велел бы казнить тебя, и тем самым обрек бы самого себя на мучения. А самое главное – замысел его великий в тебе нуждается, и как верная жена его, я все сделаю ради успеха моего мужа. Так что – поди вон, Махамбет, изменник и предатель, поди прочь из-под крова преданного тобою хана, и живи с разбитым зеркалом чести своей в своем собственном аду. Вон!

Фатима вытянула руку в сторону выхода, голос ее дрожал от гнева, и Махамбет впервые в жизни повиновался женщине так, как никогда ранее этого не делал. Без единого слова вышел он из покоев ханши, как призрак, прошел через весь лагерь, и никто не остановил его, будто и не было его вовсе, а так, аруак-привидение шло меж живых людей, а те боялись признать его реальность и само существование.

Шел он призраком истинным, мертвым, без сердца – потому что разбито оно было нынче в живом теле. Вышел из ханской ставки, дошел до тайного места, где оставил коня, сбросил дурацкий шапан с нашитыми эполетами, шапку... Как добрался до Исатая – уже и не помнил. Помнил только, что с каждым шагом, что приближался он к лагерю повстанцев, все сильнее терзало его одно страшное, могучее и черное желание: убить Жангирхана!

+ + +

- Убить Исатая! И Махамбета казнить смертью страшной, чтоб неповадно было впредь никому против ханской воли идти! – брызгал слюной Карауылкожа, а хан хмурился, но молчал. Речь зятя и однокашника его не то, чтобы беспокоила – мнение Бабажанова знал тут каждый, и призывы его слышал не раз, но – раздражало. Жангир-Керей устал, и хотел быть сейчас не тут, на этом мажилисе-совещании, но рядом с любимой женой. И не только ради утех любовных, но за-ради простого, человеческого разговора с душой, не жаждущей от него милостей, земель, шапанов да мяса с ханского стола, а имеющей то же видение, что и он, разделяющей мечты его. С душой, что истинно понимала его, и была единственною таковою на все его ханство, на всю Бокеевскую Орду.

Осада ханской ставки, требования бунтовщиков созвать курултай биев – все это создавало неудобства, вызывало возмущение знати, но самого хана, казалось, вовсе не тревожило. Возможно потому, что он это предвидел. Знал, что перемены вызовут возмущение. Догадывался о том, что раздача земель знатым биям и приближенным из-за жадности да глупости хотя бы нескольких из новых дворян приведет к бунтам. Но не бунтов боялся Жангир-Керей, сын хана Бокея и воспитанник просветителя Андреевского. Более всяческих восстаний и недовольств опасался хан вмешательства Империи в дела степняков. Жангирхан знал, что только это может сделать его настоящим врагом собственному же народу, и потому стремился как можно скорее покончить с восстанием. Для этого он уже поручил доверенным людям своим направить послания к самым почтенным биям и старостам, и собрать курултай, как того хотел в своем послании к нему Исатай. Курултай состоится непременно, и на нем же состоится примирение!

Почти обо всем уже было договорено – вот уже месяц без устали между ставкой хана и кочевьями биев и старшин быстроногие тулпары носили доверенных гонцов, подготавливая мирное соглашение, которое должно было покончить с бунтом, а главное, развязать хану руки в самом важном из предстоящих ему на пути грядущих перемен деле – укрощении собственной знати! В любимейшей среди книг, что были подарены ему Андреевским, в «Государе» Макиавелли, прописана была сия стратегия, и хан знал, что таких, как этот же Карауылкожа, следует первыми бросить на заклятие новому порядку, дабы прочие умерили свою алчность. Хотя...

Следует так же признать, что это разобьет ему сердце. Бабажанов был ему не просто родственником, он был его другом, наперсником детских игр и забав, с тех еще времен, когда они были заложниками-аманатами от степных ханов при дворе астраханского генерал-губернатора, и даже мысль, что Карауылкожа сам своей непомерной жадностью привел к этому, не давали забыть пухлого, всегда веселого, острого на язык и готового на любую проказу мальчишку, которого любили все, даже русские дворовые девки, прозывавшие того не иначе как «кайсак-колобок». И «колобок» этот был не то, чтобы плохим человеком, вовсе нет! По-своему, очень по-своему, он был даже добрым и верным. И умным. Жангир-Керей помнил, как толстый мальчишка, казавшийся таким бесполезным вначале их пребывания в Астрахани, в особой квартире, обустроенной для степняцких аманатов, из своих карманных денег дал взятку старому солдату, чей сын верховодил среди уличных воцунчиков, главных бузотеров среди дворовых мальцов, и в результате никто и никогда не смел даже плевать в сторону узкоглазых барчуков. А ведь поначалу не только плевались, но и грабить пытались на манер взрослых барымтачей, потому как считал русский малец, наслушавшись от старших своих, что кайсаку не место в городе. Это «колобок» устроил их первый поход в заезжий табор, к

цыганским девкам, хотя и первым, в отличие от своих товарищей аманатов, прилежных в учении, но скромных по отношению к женщинам орысов, познал ласки дворовых девок, охочих до подарочков, и порой и звонкой монеты.

И вот «колобок» вырос. Вырос и его аппетит, а ум, казалось, остался таким же. Острым, но маленьким, заменив недостающее хитростью, выгодной здесь и сейчас, но недалекой, и даже вредной для дальних планов своего правителя. И теперь правителю следует наказать своего друга детства – ради будущего своего народа. Своих детей. А значит, так тому и быть. Быть мажилису биев, быть мирному договору с бунтовщиками, и ценой одной судьбы хоть и близкого, но вредящего нынче ему человека, быть лучшему будущему для степного народа, чья судьба нынче неразрывно связана с силой, намного превосходящей ее собственную... Но не всегда же так будет! Разве не пали Рим и Византия, причем под копытами наших предков-гуннов? Разве не Великая Степь наклоняла перед собой в подобострастном поклоне великую империю Цинь, и разве не кровь Великого Кочевника, чьим именем пугали монархов, течет в его жилах? И что такое судьба одного «колобка» перед видением Великого Будущего, которое должно начаться со Спасения одного народа? Тяжела ханская ноша, но ради будущего Орды, он должен делать то, что вознамерился...

+ + +

«Ради моего будущего – я должен это сделать!» - думал Карауылкожа, старательно выводя при свете тусклой лучины подпись, похожую на ханскую. Масляная лампа в его юрте имелась, но привлекать к себе внимание в этот поздний час сразу после совета в ханской юрте, где сам хан его при всех унизил, прервав речь и чуть ли не прогнав с мажилиса, ярким светом не след. Еще подумают – кому это опальный зять письма пишет, донесут! Рисковать «колобок» не любил. Хватит и того, что гербовая бумага из запасов ханской канцелярии была изъята в нарушение всех правил и привычного ведения дел, за мзду, данную писарю-татарчонку, приехавшему вместе с новым муллой в начале года из Оренбурга. От него же «колобок» и прознал о казачьей сотне, что, согласно его тайной договоренности с генерал-губернатором Перовским, стояла в схороне неподалеку от ставки, дожидаясь указа от хана вмешаться и расправиться с бунтовщиками.

Все хорошо сделал Бабажанов, обо всем озаботился, только тамги ханской не достал, да не беда, все равно большинство этих орысов читать-писать разумеют с трудом великим, а уж про казаков и того сказать нельзя! Главное – чтобы бумага была гербовая! Иначе никак!

Никак иначе нельзя, ведь хан уже решил, что соберет курултай биев, а значит, именно он, родной зять, ближайший друг детства, и станет тем, чья голова полетит на жертвенный алтарь соглашения с бунтовщиками. Быть жертвою ханских планов по созиданию нового мира Карауылкожа не хотел ни коим образом. Новый мир, если и быть ему, нуждается в таких как он – цепких, хватких, знающих цену человеческой верности, и цена эта меряется золотом, отарами, табунами, а того паче – властью государственной. А кто в степи нынче власть? Верно – Империя! И Империя желает, чтобы именно она железной рукою навела порядок, показав всем, кто в степи хозяин. А ханские потуги разрешить дело миром никому не нужны. Не миром и договорами, но сталью, свинцом и кровью ставится власть империй в человеческой истории, и этот урок аманат-гимназист Бабажанов вынес из своих занятий лучше всех иных. Заложник, выданный Империи собственным отцом, он знал цену и родственным связям, и властным амбициям, и идеалам, что существовали лишь на словах. Нет ценности превыше своей собственной жизни, и нет ничего важнее

собственного благосостояния там, где власть в руках империй! Империи же награждают верных им, и возвеличивают согласно заслугам перед ними, но никак не перед народами, или историей.

«Колобок» подул на чернила, потрогал пальцем аккуратно подделанную подпись хана, убедился – высохло. Скрутил гербовую бумагу в свиток, спрятал за пазуху, задул лучину, и вышел из юрты. Ему еще предстояло добраться до ущелья меж холмов, где спрятались казаки. Ему предстояло спасти себя – ценой разрушения замыслов своего хана.

+ + +

Сотня атамана Яблочкина, казака яицкого, смелого да отчаянного в бою, состояла из ровных ему во всем – от истовой веры в Господа по старому обряду, до неистовости в бою. Сотня, в которой сын сменял отца, и каждый, кто погиб в многочисленных сражениях, был сменен если не членом семьи своей, то знатным бойцом из своей же артели с честью прошла с ним войну с французами и Азов, под началом самого Перовского. Потому, несмотря на приверженность свою старому обряду, облечен был атаман Яблочкин особым доверием своего бывшего командира, ныне – генерал-губернатора в Оренбурге. И на доверие такое отвечал редким уважением и стараньем, какое не каждый никонианец от старовера дождется. Потому, получив тайный приказ собрать сотню, да неприметно выступить и схорониться недалече от летней ставки кайсацкого хана Жангира, немедля приказ сей в исполнение и привел. Ни на миг не сомневался достойный атаман в командах и военных планах бывшего командира своего, одно только смущало старого реестрового казак – буйная, да только не нюхавшая никогда порошу в боях молодежь, что пришла на смену старшим своим, была нетерпелива, в схороне боевом стоять не приучена, и недельное стояние в засаде уж изрядно утомило всех. Особливо – самого атамана, в который раз охаживавшего плёткою семихвостой спину очередного парубка из новеньких, затеявшего от буйства крови да характеру драку в лагере.

Потому, хоть и было уж за полночь, и не случись этой оказии, собирался он уж почивать в своей палатке, устамши от забот трудного дня, все ровно обрадовался он появлению посланника ханского, зятя ханского, Карауылкожи Бабажанова, с приказом от самого Жангир-Керея – немедля выступать, с тем, чтобы разбить бунтовщиков, осадивших ставку. На радостях даже не обратил внимания, что нет у письма, написанного на гербовой бумаге, какой обычно хан пользовался, жангирхановой тамги, а подпись ханскую он и без того различить не смог бы, потому как, то была страшная тайна атаманова – грамоте обучен был он старым денщиком еще во французскую кампанию, читал плохонько, писать же и вовсе не умел, выучившись только криво-косо имя свое выводить для подписей в реестрах солдатских. Но все это сейчас для него не имело ровно никакой значимости – приказ, что он держал в руках, содержал желание хана, совпадающее с желанием не только его самого, но всей его сотни. Выступить!

+ + +

Ранним утром сотня казаков, тихо, незаметно, как научило их не одно поколение предков, выживших в этой степи за полторы сотни лет, встало на позицию, как сказал бы генерал Перовский. А сотник Яблочкин, как в молодости, при Азове, только хмыкнул бы, правая стальной наконечник пика, готовясь в бой. Нынче правленных пик была добрая сотня, и все под его началом, готовые вонзиться в ряды кайсаков, не ожидающих никакого нападения, и мирно спящих в том бедламе, что степняки именуют осадю. Ну разве так

осаду ставят? – думал Яблочкин, наблюдая лагерь бунтовщиков, казавшийся обычным аулом, разве что баб да детей маловато. Нет, не воевать пришли эти степняки со своим ханом, коли так беспечно расположились, и зря хвалят вождя ихнего, Исатая Тайманова, коли с такой армией, да самого правителя, что под защитой империи стоит, осаждать удумал! Вот сейчас и прознает силу имперскую – одной сотни хватит ему, чтобы покончить со всем бунтом здесь, и сейчас! Только для начала след пищали в ход пустить – по опыту своему знал Яблочкин, что боле всего смущает кайсака огнестрел, ему имперским веленьем недоступный. Правда, зять ханский, Бабажанов, упредил, что у бузатёров могут оказаться свои пищали, но числом малым, да все порченые, так что беспокойству не место, а место войну воевать, порядок восстановить, а там и за наградою по реестру положенною можно Перовскому писать, уж не обидит благодетель, не обидел старых боевых товарищей!

Первый залп казацких пищалей напугал разве что ворон – в рассыпную спал лагерь бунтарский, без порядку, как османова осада при Азове, без строя, а вот на конях оказались они раньше, чем для второго выстрела пулю в ствол вогнали казаки. А уж когда в ответ не из редких стволов, но добрых полусотни пальнуло, и трех бойцов на таком расстоянии убило, и вовсе растерялся атаман. Ненадолго, видит Бог, на миг какой-то, а уж потом собрался, солдатская душа, да приказал молодняку с пиками во весь опор скакать на лагерь, а трем десяткам из стариков с пищалями их огнем прикрывать, пока не схлестнутся в бою кайсак с казаком. А там уж, как Бабажанов клятвенно обещал, и ханские сарбазы должны подоспеть, чтобы зажать бунтарей в клещи, и как клещей в шинели походной – раздавить безо всякой жалости!

+ + +

Показалось! Не иначе – привиделось, сквозь муть, застилавшую глаза пеленой боли, обиды, острого чувства собственной ничтожности, тяжким покрывалом накрывшей чело, и... нет, это не слезы! Только не они! Я не плачу! – беззвучно крикнул сам себе Махамбет, и протер грязным рукавом глаза. Но мутное видение не проходило – воды ручья окрасились алым, будто не родниковая влага, но кровь, свежепролитая из ран, текла по небольшому руслу, окрашивая камни в цвет боя и смерти.

Сжав кулаки, Махамбет поднялся с колен, и только сейчас понял, в каком неудобном положении провел последние несколько часов – сколько, уже и сам не помнил. Спина и ноги затекли, плечи ныли от напряжения, в котором, оказалось, пребывали все это время, шея болела, будто ее сдавил великан-батыр на борцовском майдане. Сердце, которого, казалось, не было, вдруг заныло от беспокойства. В шорохе листвы карагачей, растущих вдоль русла, чудился ему тревожный зов... И сквозь шорох этот он наконец расслышал – выстрелы!

Вскочил, и отступила, сбежала куда-то боль усталых от пережитой и такой невыносимой печали. Вдруг неведомо откуда взявшейся силой наполнились коренастые ноги, не взбежавшие – взлетевшие на вершину холма, чтобы показать прояснившемуся взору случившуюся беду: на лагерь напали!

Тулпар Махамбета, подаренный ему еще жеребенком перед самой смертью отца, был обучен различать свист своего хозяина, и теперь мчался, будто не ощущая зацепившейся за веревки пут жерди, а когда она все же зацепилась за какую-то телегу, мотнул могучей головой, и вовсе разорвал крепкие веревки, и в несколько мгновений долетел-доскакал до ожидавшего его на вершине пригорка акына. Еще мгновение понадобилось Махамбету,

чтобы вскочить на спину, не обремененную седлом, ухватиться за шею, и броситься вперед, туда, где схлестнулись жигиты Исатая с невесть откуда взявшимися казаками.

Не доскакал – клич-уран ханских воинов послышался слева, со стороны осажденной ставки, и оглянувшись, Махамбет принял решение, повернул коня в сторону, откуда на лагерь мчались почти три сотни бойцов с пиками наперевес. По пути наклонился, подхватил с земли ту самую жердь, которую волочил его конь, и с криком рода беришей «Агатай!» помчался, выставив жердь с развевающимися на ней обрывками веревок, словно копье-низу, прямо на нападающих ханских сарбазов. Не оглядываясь, только по топоту копыт за спиной, понял – услышали! В этой битве он будет не один!

Не один воин из числа преданных хану выходил в свое время с Махамбетом на борцовский поединок-курес. Не один из них бывал побежден им, случались и такие среди них, кто сами побеждали акына-батыра. Но никто и никогда из ближайшего ханского окружения, кто был с Жангирханом еще с тех времен, когда дружба еще связывала нынешнего предателя и его хана, не сходились с сыном Утемиса в смертном бою.

Жердь ударила в грудь скачущего впереди отряда ханских воинов борца и батыра Кайсара, одного из немногих, кто мог похвастаться тем, что укладывал Махамбета на обе лопатки в борцовском поединке. Мог, да не хвастался никогда, скромн и молчалив был Кайсар, и сейчас молча принял удар, только рот открыл, чтобы воздуху хватить, потому как весь он был выбит от страшного удара о грудную клетку, даже жердь треснула в первой четверти своей, и сломалась. Махамбет не успел выбросить обломок, разгоряченный конь нес вперед, и острый в обломившемся месте конец жерди вошел в живот ханскому бойцу Кайсару, пробил внутренности, зацепил краем позвоночник и вышел черным от крови острием из спины, у самого хребта. Кайсар, будто удивившись, посмотрел на жердь, торчащую у него из живота, затем поднял расширившиеся от изумления глаза на Махамбета, встретился с ним взглядами, и так же молча, медленно, начал валиться вбок из седла.

- Прости, Кайсар! – только и прошептал сын Утемиса, и успел выхватить пик из слабеющей руки умирающего от страшной раны батыра, прежде чем тот рухнул из седла на землю. Бой будто замер, остановился, не успев начаться. Ханские воины, с такими знакомыми лицами, изумленные, устрешенные, смотрели на Махамбета расширившимися от ужаса глазами. Огляделся сын Утемиса, посмотрел назад, на своих сторонников, повстанцев, вооруженных не жердями, но пиками да клинками, и увидел, как те отводят глаза, не желая встречаться с ним взглядами. Впервые это случилось с самого начала восстания, впервые степняк-батыр убил своими руками своего брата-батыра, того, с кем делил беспармак за ханским дастарханом, с кем делил славу постоянных победителей на свадебных играх и праздниках. Там, за их спиной, казаки убивали их братьев, и это казалось делом привычным людям, родившимся в жестокое время, в жестоких краях. Но убийство своего собрата бериша только за то, что тот остался преданным своему хану, чингизиду, торе... даже повстанцев это смутило. Но – не Махамбета, сына Утемиса, впервые пролившего братскую кровь в этой войне. Повернулся он к своим, закричал, и казался этот крик воем не человека, но раненного зверя:

- Не я, братья, эту войну начал, слышите? Не я! Не я послал их против нас с пиками! – кричал он, указуя пикой, выхваченной из рук убитого им Кайсара, в сторону будто застывших ханских воинов. – Это Жангирхан послал братьев убивать братьев! Это не я – Жангирхан убил Кайсара, отправив его на этот несправедный бой, заставив выйти против

меня с оружием! Не переговоров хочет хан – войны. Не будет никакого мира на этой земле, пока жив хан! А значит всякий, кто встанет на нашем пути – враг! Ясно вам?

Не отвечали повстанцы, не поднимали глаз, опустили концы пик к земле, и только сдерживали коней, нетерпеливо бивших копытами после внезапной остановки в самый разгар боевой скачки. Повернулся тогда Махамбет, сын Утемиса, к воинам хана, заговорил горячо:

- Хан отправил вас убивать нас, ваших братьев, пришедших сюда за справедливостью! Так кто вы теперь в своей верности тому, кто предал наш адат? Батыры степные, или верные псы своего хана?!

Гнев разгорался в ответ в глазах ханских бойцов. Отборные батыры, поклявшиеся жизнью в верности чингизиду, они направились сюда по приказу самого хана, прознавшего о внезапном нападении казаков, чтобы прежде тех схватить Исатая и Махамбета, не дать их убить, но живыми привести на ханский суд. Теперь же все повернулось на самую страшную для всех тропу, скакать по которой – значит сеять смерть и дальше. Губайдулла Ахмедов, воин из рода Байбакты, редкостный силач, на потеху разрывавший голыми руками грудную клетку быка и ударом кулака валивший с ног взрослого верблюда-нара, один из немногих, кто подобно Кайсару побеждал Махамбета на борцовском майдане, медленным шагом повел коня вперед, вслед за ним выступили и прочие. Встали стеной перед телом павшего Кайсара, выставили вперед пики. Губайдулла заговорил:

- Не тебе предательством попрекать, акын! Не будь ханской воли, за Кайсара лично бы тебя разорвал, сердце бы твое черное вырвал...

- Нет у меня сердца, Губайдулла, слышишь, нет! – закричал, прервал его Махамбет. – Давай, ИДИ, РАЗОРВИ, УБЕЙ МЕНЯ...

Покачал головой силач, и будто врос в землю копытами коня. Застыли и окружающие его батыры.

- Все здесь – дело рук одних предателей. Поди теперь разберись, кто из вас, предавших друг друга ли, свои клятвы ли, нынче прав. Не будем мы сегодня братьев своих убивать. Но в сторону хана нашего и смотреть не думай. Уходите прочь, пока волею хана вам это позволено! Отсюда вам далее – не пройти!

Махамбет почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. Повернулся резко, в ярости от собственного бессилия перед правотой того, кого всегда считали сильным, да глупым, в отличие от него, велеречивого, акына и воина, любимца всей орды бокеевской...

- Там... Исатай с казаками бьется... велит всем отходить от ставки...

Смотрит в глаза Исмаилу, бойцу степному, Махамбет, сын Утемиса, а видит себя, натворившего в ярости своей столько ошибок, что еще одной уже допускать нельзя – сам себе не простит! И срывается с места, с безумным воплем: «Алга! Агатай! Исатай!» - туда, где слышны выстрелы, где под казачьими пулями падают, сраженные, степняки, сбившись вокруг окруженного Исатая.

+++

Сотню всадников, скачущих во весь опор на казачью позицию, Яблочкин заметил издали. Как раз привелось – пищали только перезарядили, и пристрелялись уж довольно, так что с

приказу «пли!» аж десяток идущих в атаку степняков упали с коней, чтобы больше не встать, прочие же смешались, остановились, давая время перезарядиться.

Второй выстрел был еще удачнее – почти два десятка из оставшихся в живых нашли свою смерть, но вот оставшиеся уже не мешкали, а будто вдохновленные яростью от гибели товарищей своих, еще резвее погнали коней прямо на его, Яблочкина, позицию, угрожая сбить весь его тактический план!

+ + +

- Убьют ведь, у них пищали! – кричал сквозь грохот бешеной скачки Исмаил, тот самый, что принес ему приказ Исатаю об отступлении. Впрочем, ни одна пуля еще не задела его, чего не скажешь о самом Махамбете, которому один кусок свинца из пищали пробил насквозь плечо, второй пронесся у головы, задев мочку уха и вырвав ее напрочь, так что кровь теперь замарала всю половину лица и шею, отчего казался Махамбет еще страшнее.

- Не сумеем прогнать этих, что с пищалями там спрятались – все умрем. А так хоть сумеем дать уйти Исатаю с его отрядом. Понял? – закричал в ответ акын во все горло, Исмаил кивнул в ответ, еще сильнее пришпорив резвого степного коня.

Там, внизу, Исатай, пользуясь тем, что Махамбет отвлек от него огонь казацких пищалей, начал уже выправлять положение, сумел прорвать вражескую линию и теперь уходил... прямо под прицельные выстрелы тех, с пищалями, что укрылись на пригорке, и которых теперь нужно оттуда выбить, если понадобится, ценою собственной жизни...

+ + +

Яблочкин впервые за долгую свою солдатскую карьеру был в растерянности. Ни турок-осман при Азове, ни француз-лягушатник такого не творили на его памяти – идти на самоубийство, прямо под пищальные выстрелы, рассчитывая... на что?

- Пли! – заорал он, надеясь, что вот теперь-то повернут, отступятся...

+ + +

Кончилась удача гонца Исмаила – прямо под сердце вонзилась свинцовая пчела, ужалила, сбита с коня, и еще с десятков таких же злых жужжалок нашли свое пристанище в телах человеческих. Одна крепко засела Махамбету в мякоть бедра, по счастью не задев кровеносную жилу, но причиняя адскую боль, усугублявшуюся бешеной скачкой.

Скачкой, которую оставшиеся в живых не замедлили ни на миг, и только в единый голос из полусотни ртов ревела восставшая Степь: «Агатай! Алга!»...

+ + +

- Да что же это за дьяволы такие, так их... прости мя Господи!.. – присовокупил истовый христьянин, казацкий атаман Яблочкин забористое богохульство, и понял, что надо уходить. Со стороны ханской ставки отряды вроде бы двинулись, да только не слышно оттуда звуков сражения. Эх, предал Бабажанов со своим ханом, наобещал пустое, а теперь проливай тут христьянскую кровушку за этих кайсаков!

Старый атаман понимал, что времени у него теперь будет только на один выстрел, после чего оставшиеся в живых всадники достанут, сметут его строй, схлестнутся в рукопашной, а не для того сюда он самых старых да метких ставил, в стрелковую, понимай, позицию, чтобы в рукопашной зазря в расход пущать! Или же можно уйти. Уйти

самим, позволив заодно уйти и остаткам бунтовщиков, ну так какое ему с того огорчение, ежели приказ командира своего, генерала Перовского, он уже и так выполнил? Велено было осаду с ханской ставки снять? Извольте принимать ставку без бунтовщиков в округе. Чего лучше желать, коли сами кайсаки обязательств своих исполнять не стали, оставив казачью сотню одних супротив всей армии повстанцев баталию держать? Так что...

- Ааатступай, служивый! – зычный крик атамана прозвучал вовремя – старые стрелки только собирались вновь заряжать, и теперь спешно вскакивали на коней, стараясь закрепить верные, но тяжелые и старые свои пищали у седла, потому как предстояло еще в галопе уходить от этих дьяволов, не убоявшихся смерти, и ставших из мишеней – охотниками...

+++

- Уходят! Уходят, Махамбет! – кричали ему радостно чудом оставшиеся в живых жигиты числом менее полусотни, но он в ответ лишь махнул рукой – Алга! Не дайте им остановиться и снова начать стрелять! Алга! Агатай!..

Жигиты, повинуясь приказу, бросились вперед, конь же под Махамбетом вдруг споткнулся, сбил шаг, и внезапно рухнул на бок, примяв под собой ногу всадника. Ту самую, в которой сидела пуля. В угасающем от страшной боли сознании, и без того ослабленном потерей крови от ран истерзанной плоти, всплыла единственная мысль, и была она не о любимой женщине, разбившей накануне сердце, и не о любимом побратиме и вожде, чей отход сумел прикрыть ценой стольких жизней: - Пронес ведь... сколько пуль в себя схлопотал, а пронес... до конца... вместе...

Последняя мысль степняка с разбитым сердцем, прежде чем его покинуло сознание, была о его коне.

+++

Обращение Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова к его пр-ву, генерал-губернатору Оренбурга, его сиятельству графу Василию Алексеевичу Перовскому:

«Просьбы и жалобы наши никем не принимаются, имущество у нас отнимают и мы, точно иностранцы, страшимся всего, несмотря на то, что принимали присягу на верноподданство Государю Императору. Но так как Ваше Превосходительство представляет здесь лицо главного начальника, то я почел довести до Вашего сведения и просить об откомандировании к нам правдивых чиновников, которые вникли бы в наше бедственное положение и произвели по жалобам нашим всенародное исследование. Особенно мы желаем, чтобы жалобы наши были исследованы господином подполковником Далем»

Резолюция оренбургского губернатора: «Подполковнику Геке незамедлительно выступить с экспедициею в Бокеевскую Орду с тем, чтобы усмирить кайсацкий бунт, виновных желательно взять заживо, и в кандалах сопроводить в острог Калмыковской крепости для дальнейшего примерного наказания. О послание сем г-ну Далю ни в коем случае не упоминать, сохранить в архиве под строжайшею тайной от всякого, не входящего в число военных участников кампании по усмирению...»...

+++

*У кого вынослив конь,
сам тот солнцем опалён.*

*Панцирь слаб перед стрелой,
коли та стрела имеет
наконечник–латобой.*

*Всех коней хоть чистокровней
и резвее сивый конь,
но, не будучи подкован,
на камнях бесславен он.
Не надейся, что ордынца
ты забудишь без следа,
а свою стрелу-возмездье
не вонзит в тебя орда.*

Пестрый камень есть в горах...

*Кто страдает, тот в слезах.
Если кто-то смел в речах,
то не значит, что герой:
днем бравирует иной,
а вот ночью он боится
выйти, чтобы помочиться.*

*Если сын рожден достойным
всех достоинств отца
и характер свой бойца
проявил на поле брани,
то ни просьбы о пощаде
или милости от дряни, -
хоть ты вырви ему печень, -
не услышишь в его речи.*

Махамбет Утемисулы – «У кого вынослив конь»

(перевод Б.Карашина)

История шестая

ЦЕНА ПОРАЖЕНИЯ

1837 г. ноября 17. — Рапорт подп. Геке оренбургскому военному губернатору о действиях карательных отрядов против Исатая Тайманова.

9 числа сего месяца я выступил из Ханской ставки с 40 казаками и 400 ордынцами для присоединения с идущим из Горской крепости отрядом. На втором переходе я получил известие о приближении этой команды, назначив направление, куда она должна идти, соединился с ней на следующий день при месте, называемом Мула (кладбище) сына Караул-Ходжи.

Здесь получил я через киргиз неблагоприятные известия, что будто бы отряд, выступивший из Кулагина и Зеленого под командой подп. Меркульева, был окружен киргизами в превосходных силах и принужден возвратиться к линии. Не давая полной веры сему рассказу, я, однако же, счел необходимым приказать, чтоб приготовленные два орудия были немедленно выдвинуты в степь, и, по прибытии их, намерен был, хотя с малыми силами, идти навстречу отряду Меркульева, коему назначено было ожидать меня на Тереклы-кум. Вслед за сим, находясь еще на том же месте, я был извещен, что отряд Меркульева находится только в 35 верстах от меня. Я немедленно распорядился, чтобы его придвинуть; к вечеру оба отряда соединились.

По благоприятнейшему стечению обстоятельств в тот самый день, 12 числа, когда посланы были приказания прислать артиллерию, прискакавший киргизец известил, что верстах в 25 виднеется русская команда и что везут пушки. Я послал 50 казаков и 100 ногайцев им навстречу, и к ночи 12 числа весь отряд благополучно соединился в одно место.

13 числа мы выступили, направив путь на Тереклы-кум, и, сделавши верст 30, остановились для ночлега; аул Исатая Тайманова отсюда перекочевал уже прежде и находился на Бекетаяе, верстах в 50.

14 числа рано утром отряд выступил из Тереклы-кум и направил путь через Джаман-кум (25 верст) на Бекетай, куда прибыл в 6 часов вечера, сделавши 50 верст.

Здесь полагали расположиться ночлегом. На пространстве между Джаман-кумом и Бекетаяем виден был вдаль, во время марша, пожар, произведенный Исатаем, который, откочевав, зажег сено, тут находящееся. На сем же расстоянии виднелись малые отряды киргиз, наблюдавшие следование отряда. Я послал вперед, верст на 6, двухсотную команду с есаулом Егановым и партию из киргиз, при отряде находящихся; но они не успели достичь противников, а только захватили 4 человека, которые, будучи изранены, должны были сдаться. От пленных, сих узнали, что виднеющийся пожар есть место, где был аул Исатая, который откочевал из Бекетая и хотел остановиться в Тас-Тубе, в 25 верстах от Бекетая. Этим известием я переменил намерение ночевать в Бекетаяе и, дав отдохнуть людям, покормив хорошо лошадей, выступил в поход во 2 часу ночи.

С рассветом 15 числа мы приблизились к Тас-Тубе и намеревались сделать привал, чтобы дать время обогреться людям, озябшим в холодную ночь; но верстах в четырех завиднелись несколько партий киргиз в большом числе. Отряд двинулся немедленно вперед

и приблизился к месту, где стояла собравшаяся на высоте шайка Исатая, примерно человек 500 из отборных его приверженцев. Они отнюдь не показывали вида, что намерены бежать, а, напротив, наездники и батыри их выехали и гарцовали перед отрядом. Тут и думать было невозможно действовать на сих мятежников убеждениями, и потому я приказал отряду выстроиться и, заслонив сначала орудия прикрытием, поставил их на возвышенность, с приказанием, чтобы после первого выстрела две сотни ударили в атаку.

Мятежники сами начали действие несколькими ружейными выстрелами на наших; делать было нечего, я приказал выстрелить из одного орудия ядром; видя, что вреда им не причинено, они сами бросились на нас в то время, как казаки пошли в атаку. Превосходство их отборных лошадей, умение владеть пикой, в особенности торопливость наших казаков, которые, по желанию сблизиться с мятежниками, не могли быть удержаны офицерами, и все бросились в беспорядке в атаку, сначала произвело расстройство между нашими. Воспользовавшись удобной минутой и подвинув орудия, из одного ударили по близкому расстоянию картечью и вслед за тем дали другой картечный выстрел; среди мятежников сделался беспорядок; казаки ударили в атаку и повернули противников, которых преследовали на расстоянии 7 верст, после чего отряд остановился. Хотя отчаянная шайка Исатая разбрелась, но никто из главных лиц не мог быть схвачен; сам Исатай, будучи преследуем и близок попасть в наши руки, успел на скаку пересест на другую лошадь и скрылся. По телам, оставшимся на дороге, полагать должно, что мятежников убито от 50 до 60 человек во время преследования, в числе их сын Исатая, молодой человек лет 20, а несчастным случаем, как говорят, и жена его. С нашей стороны ранены 3 казака, двое легко, но третий казак, Бородин, ранен тяжело в спину пикой, железо вошло вершка на два, а древко переломилось; он остался на месте, но когда отряд остановился, я послал за ним команду и его перевезли на повозке; бедняк очень страдает, но ему помогло киргизское врачевание; надеяться можно, что он останется в живых. После разбития Исатая захвачено множество из ограбленного им скота и несколько семейств, не успевших спастись; семейство самого Исатая, как говорят, спаслось заблаговременно. Киргизцы рассказывают, что в числе убитых находится бывший старшина Калдубай, но этот слух неверный.

Из точного и справедливого описания происшествия ваше пр-во усмотреть изволите, каким отчаянием руководима шайка Исатая, ибо утверждают, что это беспримерно, чтобы ордынцы отважились броситься на орудие; полагать должно, что чувствуя безнадежное свое положение, они захотели защитить себя и свои семейства до крайности.

Остановившись в 7 верстах от места, где началось действие, отряд и теперь здесь находится; во-первых, необходимо дать отдохнуть казачьим лошадям, изнуренным сильными переходами и преследованием, а во-вторых, нужно получить верные сведения о месте, куда взял направление Исатай, и о намерениях его. Некоторые сведения уже имеются, но они еще недостаточны.

Вчера завиднелись издали несколько человек киргиз, полагая, что это провожатые кочевья, а может и часть шайки, я послал 200 казаков и 100 ордынцев, чтобы стараться захватить аул, со строжайшим предписанием не делать им вреда, если не будет сопротивления. Прошедши верст 12, команда увидела только человек до 40, которые при появлении ее ускакали, и возвратилась к отряду. Приверженные хану киргизы, посланные со мной, так напуганы исатаевой шайкой, что одни отнюдь не отваживаются идти

вдаль без казаков и потому присутствие их здесь я считаю нужным более для морального влияния на прочих ордынцев. При сем я долгом себе поставлю засвидетельствовать пред Вашим пр-вом об усердии, с которым действует состоящий при мне султан Чингалий Урманов. Ему я весьма обязан добрыми советами и опытностью, он мне много помогает, а строгим надзором за киргизами успевает сохранить несколько порядок в беспорядочной толпе, находящейся при отряде, ибо султан Чука, с доброй волей, не в силах с ними справиться.

Хотя действие 15 числа против Тайманова не совершенно успешно, ибо не удалось его захватить самого, но оно бесспорно будет иметь важные последствия сильным впечатлением на мятежные умы киргиз Внутренней орды. Теперь он, вероятно, не найдет средств к умножению своей шайки и должен будет оставаться при непосредственных своих приближенных, число коих, полагать можно, до 300 человек. Ныне необходимо усугубить меры предосторожности на линии, ибо неприменное намерение его есть прорваться на ту сторону и, вероятно, не один. Я сего дня же пишу о том начальнику Нижней дистанции.

Отряд кулагинский уже несколько дней без хлеба и довольствуется одним мясом. Я посылал во все направления, чтобы отыскать транспорт с провиантом, вышедший из Кулагина 10 числа, наконец, вчера получил сведения, что он направил путь на Айгур-кум, послал за ним и ожидаю его прибытия к вечеру или в ночь. Главные трудности этого похода суть неизвестность местностей, расстояний, глубокие пески, сугробы и удобность, представляющаяся мятежникам в них скрыться от взора и преследования. Погода до сих пор сносна, снегу нет, но сильные морозы при северном ветре.

Меры приняты, чтобы постараться пригласить сюда кого-либо из почетнейших киргиз, через них только можно будет уговорить прочих возвратиться к порядку, ибо гнаться невозможно за всеми ныне рассеянными их партиями. А потому желательно весьма захватить самого предводителя, с ним окончатся, надеюсь, все беспокойствия.

Представляю при сем полученный мной рапорт подп. Меркульева, а о дальнейших действиях своих буду иметь честь в свое время донести вашему пр-ву.

Сейчас, до отправления этой бумаги, прибыл ожидаемый из Кулагина транспорт с десятидневным продовольствием для отряда, он находится под прикрытием 60 человек при офицере.

Местность, где теперь находится отряд, называется ур. Кускулак, в 8 верстах от Тастубы, где рассеяна шайка Исатай. Это урочище — в 120 верстах от линии по прямому направлению к Кулагину и в 70 верстах от Глиняного форпоста. Исатай, как говорят, находится теперь в Джуван-Тубя, ближе к Уралу. Я дождусь возвращения посылаемой в сию ночь партии за 25 верст по другому направлению, где замечено также скопище людей, а потом пойду на Джуван-Тубу, если не получу противных известий об Исатае.

Я пишу сегодня к начальнику нижней линии отношение, с коего, вероятно, Вашему пр-ву представится копия.

Подп. Геке.

При урочище Кускулак, в 8 верстах от Тастубы.

Резолюция оренбургского губернатора: «Уведомить г-на Покотилова, что отсюда послан в Уральск фельдшер Истомин, которого следует без потери времени доставить в отряд подп. Геке. Уведомить об этом подп. Геке. Предписать подп. Геке принять меры к сбережению скота и имущества, отбиваемых у Тайманова и его сообщников; скот этот необходим для удовлетворения многочисленных претензий пострадавших от шайки Тайманова и возврата казенных издержек. Предписать ему также строго наблюдать, чтобы казаки, в отряде его находящиеся, не грабили, и киргизы не удовлетворяли бы себя самопроизвольно. Еще предписать, чтобы всех сообщников Тайманова, по разогнании шайки, обезоружить, отобрав у них как огнестрельное оружие, так равно и сабли и пики. 25 ноября».

ЦГА КазССР, ф. 4, оп. 1, д. 1963, лл. 299-303 об.

+++

*Мы, собравши свою рать,
вышли, чтобы воевать.
Я свой стан разбил, устав,
в бекетаевских песках.
Прежде, чем врубиться в бой,
прореву клич родовой:
«Агатай-Берш!» мой уран¹,
он и смерч, и ураган!
На подмогу нам Жунус
байбактинский дал улус².
Хан взмолился от испуга,
как последний жалкий трус.
Появилась вражья рать,
кто в ней - можно разобрать.
Исатай, наш вождь, ведущий,
я же - вслед за ним идущий.
Исатай сидит в седле,
шлем его на голове,
он не может спрятать гнев,
свирепеет, словно лев.
А под ним конь Актабан,
бьет копытами, как лань.
Словно овцы и ягнята,*

голосят бойцы отряда.
К бекетаевским пескам,
к дому-срубам прискакав,
подоспела к нам подмога,
сил немало в ней, премного.
Мы готовились всю ночь,
до утра копили мощь.
Как заря зарделась вдруг,
осмотрелись мы вокруг:
будто звездная плеяда,
окружал нас неприятель.
Поливать он стал свинцом,
залпы, будто бы буран,
повернувшись к нам лицом,
Нас, противник, взяв на мушку,
дал три выстрела из пушки,
а когда раздался взрыв, -
ускакал батыр в отрыв.
Надо было отступить :
поредела резко рать,
пали львы-богатыри,
Калдыбай и Ерсары.
Словно чибис, сирой птицей
с горем нам пришлось сродниться.
Проклял нас небесный свод
и людской бездушный род.
...Плачьте вдовы,
плачьте вдоволь,
плачь, несчастный мой народ,
слёзы смешивая с кровью,
утешай своих сирот...

Махамбет Утемисулы – «Битва»

(перевод Б.Карашина)

+++

- Дорого! За такую цену – не возьму! – Исатай прислушался, как Сулеймен, младший из братьев Махамбета, недавно примкнувший к повстанцам, и сразу занявшийся вопросами фуража, торгуется с жылкыши. Тот привел на продажу армии бунтовщиков небольшой табун кормовых лошадей: предстоял согым – забой и заготовка мяса на зиму, и этот, первый из табунщиков, что привел скот в лагерь бунтовщиков, несмотря на строгий запрет хана и его людей, не должен был уйти с пустыми руками. Сулеймен же прижимист, торгуется за каждую копейку из его, Исатая, казны, радеет, значит, будто за свое добро, но не время сейчас мелочится, и потому надобно вмешаться!

Откинув полог юрты, вождь беришей вышел на необычайно морозный для середины ноября в степи воздух, встал за спиной табунщика-жылкыши, молча, значительно посмотрел на Сулеймена. После неудачной схватки у Тас Тобе, где погибли младшая жена и один из сыновей Исатая, суровый военачальник стал, казалось, еще жестче, еще молчаливее прежнего, и только глаза его теперь горели ярче – черным, гневным огнем, каким могут гореть глаза только у такого отца, который пережил своего сына, но не сломался, и выковал из своей боли оружие. Смертельно опасное – как для чужих, так и для своих, ежели таковые в чем станут перечить его воле. Совсем не похожий на Махамбета, высокий и гибкий Сулеймен отличался, однако, таким же пронизательным умом, как и его ученый брат-крепыш, и без слов понял, чего хочет предводитель восстания. Вновь заговорил, обращаясь к пастуху-жылкышы:

- Передумал я. Как подумал, сколько ты труда потратил, через какие опасности прошел, чтобы этот табун к нам пригнать, решил – нельзя Аллаха гневить, несправедливость творить, нашему хану в этом уподобляясь! Ты не в аул к Карауылкоже пришел, не в ставку к Жангир-хану! Ты привел свой скот к Исатаю, сыну Таймана, а значит, получишь полную цену! И благодари за это не меня!.. – Сулеймен остановил табунщика, радостно бросившегося в ноги фуражиру повстанцев, взял за плечи, развернул лицом к Исатаю: - его благодари! За тебя, за таких как ты он поднял степь против своего хана! Вот, деньги твои, бери, и всем, кого встретишь, расскажи о справедливости Исатая!

Жылкыши рванулся было в сторону вождя восставшей степи, но остановился, словно столкнувшись с невидимой стеной – такая строгая власть исходила от этой высокой фигуры, облаченной в доспехи, и такая сила была во взгляде черных, вытянутых к вискам, глаз, что шаруа смутился, прижал правую руку к сердцу, поклонился и бормоча что-то благодарственное, поспешил убраться прочь, придерживая кошель, чтобы монеты не звенели так громко.

Сулеймен приблизился к Исатаю, посмотрел снизу вверх, но без малейшего подобострастия, в глаза предводителю:

- Если и дальше будем такие щедрые, все твои деньги кончатся, агай!

Исатай лишь кивнул в ответ, повернулся, вошел обратно в шатер. Но настойчивый фуражир и не думал сдаваться – брат буяна и бунтаря Махамбета, он за свою пусть недолгую, но такую насыщенную жизнь навидался и властных, и сильных людей, и волшебство их характеров, мощь их личностей, так воздействующая на всех прочих, на Сулеймена, сына Утемиса, похоже, не действовала вовсе. Вот и сейчас, отодвинул рукою

полог, бесцеремонно вошел вслед за вождем восставшей степи в его юрту, и продолжал, как ни в чем ни бывало:

- Высоко стала нам цена поражения при Тас Тобе, Исатай, очень высоко! Твоя казна пустеет, а союзники деньгами поддержать не спешат, да и прочая их помощь только на словах, даже обещанного скота на согым не прислал еще никто! Чем жигитов кормить будем этой зимой? Своих стад и табунов у нас, почитай, уже не осталось, все на прокорм войска уходит. Да и аулы, что прибились к нам, отказавшись платить новые подати Карауылкожи, обедают, ничего у них своего нет...

- Потому и пришли они к нам, под нашу защиту, что все у них отнял хан Жангир-Керей! Сами пришли, сыновей своих в наши ряды привели! У Тас Тобе мы проиграли, потому что мало нас было. Орысы и сейчас думают, что нас мало, не знают, не ведают, что со всей степи к нам шаруа стекаются, словно ерики Орала в весеннюю пору. В этом наше преимущество, которое снизит цену нашему поражению, чтобы привести к новой победе. Так что сохранить людей сейчас для нас важнее всего! - наконец, заговорил Исатай. Раздражение было заметно в его голосе, потому что прав был назначенный ответственным по фуражу Сулеймен Утемисулы, и подготовка к предстоящей зиме шла из рук вон плохо. К повстанцам и в самом деле присоединялась самая беднота, лишившаяся от новых ханских поборов последнего добра своего, и потому пришедшая к Исатаю лишь со злом и ненавистью, которые тот пока что неплохо смог использовать в схватках против ханских сил, но вот в повседневной жизни что от злости, что от ненависти, толку мало. На каждый же день битвы – месяц мирной жизни приходится, и в мире этом пока что нет ни желающих торговать с повстанцами, ни помочь чем-то более существенным, чем обещания. Что-ж, значит, надо созывать совет...

- Все уже пришли в юрту моего брата, агай, ты сам велел совет там собрать. – будто прочитав мысли Исатая, подал голос Сулеймен. – Все ждут тебя... все, кроме самого Махамбета. Он еще не вернулся, хотя и обещался быть сегодня. Может, до заката поспеет...

- Нет времени ждать. Он поехал уговаривать поделиться с нами скотом аульских старшин тех кочевий, что еще не решили, поддержать ли им нас, или встать на сторону хана. В прошлом месяце наши жигиты спасли некоторые аулы от набегов казачьих барымтачей, Махамбет теперь надеется на их благодарность. Может, и не зря...

- Может, - согласно кивнул Сулеймен. – Однако, надежду в казан не бросишь, и сурпу из нее не сваришь, и пускай мой брат своей надеждой кормится, а тебе здесь людей накормить надобно. Здесь и сейчас. И если ты разрешишь мне навеститься в те же аулы, но только в сопровождении сотни твоих вооруженных жигитов...

- Опять ты за старое! – поморщился Исатай. – Что ты, что прочие мои сотники, все кричат: давай скот у врагов отнимать! А чем мы тогда лучше хана да Карауылкожи будем? Потому и велел я казнить тех, кто против слова моего на стада и табуны, идущие на зимовку, напал. Оправдывались – мол, у хана отнимаем, а что на деле вышло? Что скот тот был не ханский, и целых три рода пошли за защитой к полковнику Геке. Между прочим – от нас защиту просили! Будем и дальше так себя вести - отвернется от нас степь, люди отвернутся...

- От доброго, но бедного Исатая отвернутся быстрее, чем от жестокого, но хлебосольного! Впрочем, ты наш басшы, тебе и решение принимать! – примирительно сказал Сулеймен, помогая Исатаю накинуть плащ из волчьих шкур, и вышел вслед за ним на морозный

воздух, где продолжил говорить, выпуская клубы пара изо-рта, будто только что нахлебался горячей сурпы: - Тринадцать сотников ждут тебя, Исатай, и каждый верит, что ты найдешь выход, привыкли они тебе верить, и сейчас поверят, ты, главное, сам в себя верь...

- Вот в этом вы, дети Утемиса, воистину одинаковы – умеете веру в себя придать, но до того вмажете, впечатаете в самую землю каблуком, заставите почувствовать себя слабым, а потом – давай, агай, будь сильным, мы в тебя верим! – скривился Исатай, подходя к юрте Махамбета, где собрались военачальники восьми сотен армии восставших, сумевших за какой-то год навоевать больше, чем иная армия из тысяч туменов. Вот он вошел, и оглядел их: восемь батыров, жир земли степной, порой излишне хитрые, и даже иногда жадные, не всегда меж собой дружные, но в смелости, отчаянной отваге и верности их сомневаться не приходилось. Многие из них не одним сражением, не одной стычкой с врагом проверены, а потому и следует держать с ними совет, хоть все едино – решение ему одному принимать, и ответственность на нем одном будет, на Исатае, сыне Таймана, ставшим ныне предателем и бунтовщиком, поднявшим степь против своего законного правителя, потомка великого Шынгыс-хана, наследника крови торе, по праву вознесенного на белую ханскую кошму.

Сотники, о чем-то отчаянно спорившие, при виде Исатая замолкли в миг, уважительно склонили головы, и будто стесняясь того гама, что сами же устроили, теперь хмуро поглядывали друг на друга, будто каждый обвинял другого в неподобающем поведении.

- Ассалам уалейкум, достар, о чем спорим, будто овцу не поделили? – с наигранной, совершенно неожиданной для него, нынешнего, шутливостью, спросил Исатай. «Да, не умеет наш вождь шутить, совсем не его это!» - подумал Сулеймен, однако благоразумно промолчал. Зато не смолчал Тогызбай, батыр сильный, приведший с собой полсотни жигитов, но к восстанию присоединившийся совсем недавно, и успевший, если ему верить, уже сразиться с войсками Жангир-хана, хотя никто, кроме него самого, о той битве и не слыхивал. Впрочем, это не помешало ему потребовать равного участия в доле при дележе будущей добычи, а уж когда Исатай запретил отнимать у побежденных их скот, и вовсе возмутился. Жаден был девятый сын бая из рода кызылкуртов, уродившийся хоть и сильным телом, но слабым на желания. Вот и сейчас, открывал рот кайсак, а говорила за него – его жадность:

- Была бы овца, может, и спора бы не было, Исатай ага! От того и спорим, что нет у нас – ни овец, ни коров, ни табунов, чтобы согым как следует подготовить, к зиме запастись...

- Это у тебя-то нету? – возмутился Берик, сын Курмана, из рода Себек-Берш. Берик тоже был из богатого рода, однако один из немногих весь свой скот отдал на прокорм армии, и теперь был не богаче простого степняка-шаруа. Однако почетом пользовался неизменным, потому как ратную службу нес с Исатаем еще до восстания, во времена, когда единственными врагами для них были казаки-разбойники, а единственным правителем – единый хан Бокеевской Орды. Берик не любил Тогызбая, и уже не первый раз схлестывался с ним в жестоком споре: - У тебя за холмами табун в четыреста голов стоит, стадо овец, у ханских чабанов угнанное, в тысячу голов, пасется, а ты про голод кричать взялся, мол, нечего зимой нам есть будет...

- Мой табун! Мои овцы! Мои жигиты угнали, значит – мое! – лицо Тогызбая аж покраснелось от напряжения и злости: - Я на твоих овец, на твоих коней не заглядываюсь, так и ты на моих не смотри!

- А когда мой скот на общий дастархан резали, не ты ли, Тогызбай, за обе щеки уплетал да расхваливал мой беспармак? – в запальчивости крикнул Берик, и тут же пожалел об этом – Тогызбай широко раскинул руки, словно призывая в свидетели случившегося святотатства всех присутствующих: - Курметти агайын, уважаемые, вы это слышали? С каких пор казах – казаху мясом со своего дастархана попрекает? И что можно сказать о человеке, который осмеливается так нарушить самые священные обычаи наших предков? А не за эти ли обычаи мы с вами сражаемся, и проливаем свою кровь?..

Хитер Тогызбай, ничего ему не возразишь на такое! Берик, сын Курмана, в ярости сжимает кулаки, но голова опущена, взгляд от стыда уперся в землю, и только зубы скрипят в бессильной ярости за то, что вот так вот, сам не понял как, а оказался он самым неправым в споре с жадным и хитрым Тогызбаем. Тот, довольный, улыбается, хитро прищурившись, смотрит на Берика, и все смотрят на Берика, тоже не знают, что и сказать на такой оборот дела. И только Исатай смотрит на Тогызбая, а Сулеймен – на самого Исатая, и словно слышит мысли вождя бунтарей, старого солдата, ненавидящего несправедливость всем своим сердцем. Ведь это он, Исатай, принял Тогызбая с его сарбазами, разрешил встать в свои ряды, дал место в совете, и сейчас стал свидетелем того, как кызылкурт унижает старого друга.

- Откуда у тебя скот, Тогызбай? – тихо спрашивает Исатай, и все головы поворачиваются к нему. И только Тогызбай, прищурившись и улыбаясь, не отрывает взгляда от Берика, делает вид, будто не слышит вопроса. Исатай повторяет:

- Где ты взял скот, Тогызбай? Я в третий раз спрашивать не буду. – по голосу предводителя понимает Тогызбай, что смолчать не получится. Медленно сползает улыбка с его лица. Медленно поворачивается голова на толстой, будто бычьей, шее, красной и всегда потной, заросшей рыжим волосом, выглядывающим из многочисленных жировых складок. И видят все, что боится Тогызбай. И не зря, ох не зря дрожит сейчас его голос!

- Скот этот я в честном бою отбил у чабанов ханских. Трех человек потерял в схватке, а потому часть этой добычи даже не мне, но семьям умерших жигитов принадлежит, агай!..

- А еще пятерых потеряла сотня Берика, когда прикрывала не отступление даже, но настоящее бегство твоих жигитов от преследовавших их людей хана. – вдруг подал голос Сулеймен, с самого своего появления здесь заведший полезную привычку собирать все слухи, вслушиваться во все разговоры, и потому знавший о делах в лагере повстанцев больше, чем сами предводители восстания. Впрочем, делу этому он сам решил посвятить себя, и не только потому, что любимый брат – Махамбет – примкнул к восставшим. Сулеймен, сын Утемиса, верил в это восстание. Он верил в свою Степь. И, в отличие от своего брата, не очень верил в бога татарских муфтиев.

- Ты... ты мне веришь, Исатай ага? Мудрейший и сильнейший среди батыров младшего жуза – веришь ли ты мне? – Тогызбай вдруг, изменившись в лице и в голосе, заговорил зычно, громко, будто не в юрте, но перед площадью-аланом речь держал: - Поверишь ли ты в мою честность, и в мое желание поделиться своей добычей, но не с одним Бериком, нет?! Я держал этот скот для тебя, мой вождь, я хотел, собирался передать его тебе весь, целиком...

- Это хорошо! – кивнул Исатай. И повернулся к Сулеймену: - Скот весь у Тогызбая опишешь, приведешь в нашу стоянку. Забирать поедешь сегодня же, возьмешь с собой сотню из моих ардагеров, проверенных старых бойцов, и если кто из жигитов Тогызбая возражать осмелится – урок преподашь. До крови, но не до смерти!

- Сделаем, агай! – в ответ склонил голову Сулеймен, и добавил: - Прямо сейчас? Или всё-таки после совещания?

- После. – зло усмехнулся Исатай. И уже совершенно серьезно добавил: - Но сегодня. До заката. А сейчас хочу выслушать, что мои сарбазы мне предложить хотят, какие мысли есть у вас, как помочь нашему делу, как зиму пережить...

- Могу сказать, агай? – выступил вперед Берик.

- Говори, - махнул рукой в латной перчатке Исатай, будто в сражение отправляя своего верного ардагера. А Берик и впрямь настроен был воинственно.

- Зима голодная будет, знаем. Нет и не будет у нас достаточно скота, чтобы хорошо эту зиму пережить – тоже знаем. Значит, придется отбирать скот у кого-то...

- Правильно говорит храбрый Берик, верно говорит! – вмешался молчавший после исатаева решения Тогызбай. Снова улыбался он во всю ширь своего плоского, лоснящегося от жира лица, будто это не у него решил вождь восставших всю добычу отнять. И говорил вновь с присущей ему уверенностью и так громко, словно хотел, чтобы слова его услышали и за пределами юрты: - Отбирать, агай, у всех, кто верен хану, кто не присоединился к тебе – отнимать, а кто противиться будет – наказывать, да не как моих жигитов, до первой крови, а смертным наказанием, чтобы знала степь, с кем она, чтобы определились со своей стороной в этой войне!..

- Не то говоришь, Тогызбай! – поморщился Берик. – Не гоже это, у своих степняков последнее отнимать. Многие ведь хана просто бояться, а иные из уважения к крови его, к роду торе, что единственные по праву рождения ханами над степью стать могут, не восстают, терпят. Но и в нас врагов не видят. Потому ни за них, ни за нас кровь не льют, но и вражды у них с нами нет. А если мы всех, кто не с нами, грабить начнем, это что же будет? Ради чего мы тогда о кровном братстве своем вспоминаем, если сами братьев своих кровного их добра, последнего имущества лишить готовы? Вся степь против нас будет, никакой поддержки никогда не получим! Нет, Исатай ага, не то хотел я предложить. Нельзя нам больше у казахов добычу промышлять.

Исатай нахмурился:

- Не понимаю я тебя, Берик! Сам говоришь, что где-то добычу брать надо, что не протянем без этого, и сам же против своих слов идешь...

- Не против слов своих, агай! – замотал головой Берик, и густые, рыжие волосы его, выбивающиеся из-под шапки волчьего меха, будто засветились темным золотом в скудном свете тусклого зимнего неба, с трудом проникающего через отверстие в шаныраке в юрту. – Не против слов, но против того, чтобы свой же народ против себя обернуть! Слова же мои о другом. Не у степняков надобно нам добычу пытаться, а у тех, на ком власть врага нашего держится. На казачьи станицы, на поселения надо нападать, на гарнизоны орысов, на обозы с продовольствием, что из Астрахани и Оренбурга в Уральск и Гурьев идут. Там добычи много больше будет, и с настоящим врагом наконец схватимся, с давним врагом, что под пятой нас держит!

Тишина воцарилась в юрте после этих слов кызылкурта Берика, отчаянного степного воина, за свою недолгую жизнь успевшего побывать в кровавых схватках и с казаками, и с ханскими сарбазами. Многие из присутствующих на этом собрании-мажилисе имели такой же опыт, но вот так, чтобы вступить в открытое противостояние с гарнизоном

империи, чтобы нападать на обозы государевы – такого еще не было в истории Бокеевской Орды – государства степняков, созданного и существующего не волею самих исконных хозяев Великой Степи, но милостью государя российского! И потому сказанное ныне Бериком прозвучало, как дерзновеннейший вызов тому укладу, в котором привычно было жить последний век потерявшим свое было величие наследникам Золотой Орды.

Исатай застыл, будто в камень обратился. Озвучил Берик самые потаенные его мысли, те, которые порой он от себя гнал, как страшнейшую ересь. Выступив против своего хана, он уже преступил через верность собственной клятве, принесенной в тот день когда Жангир-Керея возносили на белую кошму, доверяя главенство над жизнью и судьбой степного народа. Не приносил Исатай, сын Таймана, клятву верности императору российскому, не был опутан узами присяги чужому государю, по чьей воле земли предков его ныне заселили те, с кем ему привычно было воевать с самой юности. Казаки яицкие, поселившиеся меж Едилем и Жайыком, Волгой и Уралом, с самого появления своего в этих краях в степняках видели не людей, но тех, кого можно и должно грабить, убивать без жалости, словно бездушное зверье, и даже паче того, к зверю и рыбе относились с большим почтением, нежели к жизням киргиз-кайсаков. Не даром за-ради того, чтобы рыба красная икру метала без испугу, даже из епархии дозволение выхлопотали, на время нереста благовест колокольный отменить в тех церквях, что по берегам Урала поставлены, а кайсака стреляли без жалости за одну попытку только коня в реке напоить!

А солдат гарнизонный, и того пуше, ни казака-старовера, ни тем паче кайсака-басурманина, за человека не считал, но если случалась стычка промеж теми и другими, всегда на сторону христианина стоять привычен был, потому как на казаках власть русская в степи держалась. Но в чем прав был Берик, так это в том, что власть эту орысы над степью получили лишь потому, что степняки сами промеж собой не в ладу были. И сейчас предлагал молодой сарбаз отказаться от стародавней привычки бить своих, потому как чужие уж давно не боятся, а начать бить чужаков, чтобы своих же родичей, кровь свою к себе возвернуть, на свою сторону привлечь, и под единым степным небом – единым народом стать...

- ... но такую силою нам никогда не стать, Исатай, даже не думай! – оторвал предводителя от его мыслей Отарбай, сын Рахымжана, второй после Махамбета акын в лагере повстанцев. Хотя, чего уж греха таить, боле чем певцом восстания против хана, был этот акын из рода ысык певцом деяний самого Исатая. Пел он плохо, слова его были громкими, но звучали пусто, как и тогда, когда он служил своим небольшим талантом акына хану Жангир-Керею, и у которого впал в опалу за то, что посмел выступить с хулою ханских новшеств. В число участников постоянного мажилиса ближайших советников Исатая Отарбай был допущен в силу своего возраста, да того уважения, что питали к титулу поэта степняки по стародавним обычаям своим. И вот сейчас он первый, и судя по молчанию прочих, единственный, кто нашелся, чем ответить на дерзкое предложение Берика. Акын ханский - против воина-повстанца, придворный поэт против солдата-бунтовщика, он призвал себе в союзники самого стародавнего врага всяческой свободы – страх! И хоть говорил он смело, но каждое слово его было о страхе, и страхом порождалось: - Каждый из нас по отдельности слаб, а уж с такими же слабаками, на чью поддержку Берик надеется, о чьем малочисленном добре заботиться, если в один тумен собираться вздумаем, так только слабость на слабость приумножим, и еще слабее станем. Кассак милость не поймет, доброту твою, заботу – не поймет, слабостью посчитает, и правильно сделает. Разве Шынгыс-хан не жестокой силою объединил вокруг себя Великую Степь? Разве начал он с нападения на Империю Цинь, вместо того, чтобы жесткой рукою воина,

под клинком своим, собрать свою Орду, и уже потом повести их на более сильного врага?
А?

Отарбай оглядел собравшихся, пристально вглядываясь в глаза каждому из них, и все они, смущенные ученостью и велеречивостью старого придворного акына, только смущенно опускали глаза, и даже сам Берик, словно пристыженный, склонил буйную голову, и только тихо бормотал: - Дурыс айтасын, верно, верно говоришь...

А поэт все продолжал, еще больше распаляясь:

- Ты, Исатай, вождь наш, ведущий от победы к победе, разве против русского государя поднял свой меч, чтобы теперь такого могущественного врага себе обрести там, где можно и нужно этого избежать? Разве есть в этом мудрость?

Отарбай приблизился к Исатаю, посмотрел ему в глаза, ткнул узловатым пальцем куда-то в небо:

- Я тебе сейчас скажу, в чем воистину есть мудрость! Когда ты на прошлой неделе отказал людям Кенесары, привезшим тебе его предложение союза и просьбу выступить совместно против Хивинского ханства – ты поступил мудро! И хан наш, Жангир-Керей, поступил мудро, отказав ему, и в этом оба вы показали, что являетесь нашими правителями, вождями степняков Малого Жуза, которым надоело извечно проливать кровь за неблагодарных своих братьев из жузов Среднего и Старшего. В этом ты стал равен самому хану Бокею, который своей мудростью получил дозволение на ханство от государя орысов, равен его сыну, а ведь они – торе, потомки и наследники Шынгыс-хана! Наша война, наш бой – не с властью, которая дана нашим правителям волей Кудай-Аллаха, и не нам, грешным рабам божьим, с волей этой спорить! Наш бой – с такими как Карауылкожа, жадными родичами и приближенными нашего хана, которые закрыли его мудрые глаза, опутали ложью и наветами, так, что он сошел с пути предков, отказал в своей милости и в своем дастархане своим самым преданным слугам, самым отважным сарбазам, самым лучшим акынам...

- Ну, хватит! – Исатай, будто облитый холодной водой, опомнился, и последние слова Отарбая, чуть ли не клявшегося в верности хану, с которым он воюет, здесь, в его шатре вождя повстанцев, привели его в чувство, и чувство это было не из приятных. – Ты это мне прекращай! Да, людям Кенесары я отказал, как мне Махамбет посоветовал. Потому что в этом ты прав – у нас своя война, за свою орду. Может, и вправду мудро поступал Бокей-хан, ведь только у нас из всего степного народа есть своя власть, своя Орда, нам есть за что сражаться, а прочие, даром, что считают себя старше нас, Старшими нам так и не стали, и даже в свободе своей не равны нам ни в чем. Махамбет тогда письмо составил генерал-губернатору Перовскому, попросили мы его выслушать жалобы наши на деянья хана Жангира, встать на нашу защиту, а для переговоров обо всем просили назначить со стороны государя орысов хорошего знакомого Махамбетова – полковника Владимира Ивановича Даля...

- Тогда отчего же Геке со своим отрядом на нас напал, из пушек по нам стрелял? – перебил вождя отчаянный Берик. Никогда раньше он так не делал, и никогда прежде не прошло бы ему это безнаказанно, но изменились времена, и сам Исатай ныне изменился. Казалось, огонь в глазах его вдруг потух, и из-под мертвой, холодной золы раздается глухой его голос:

- Татарский муфтий, приближенный к канцелярии генерал-губернатора, через Махамбета дал знать, что полковник Геке действовал сам, без приказа начальства. Говорил, Перовский его за такое самоуправство накажет непременно, нам только надо дождаться, чтобы сочувствующий нам Владимир Иванович Даль из столицы вернулся, а там он уже обязательно поможет, и Махамбет в это верит. А я – верю Махамбету! Так что - ждем ответа, и если Небо будет на нашей стороне, и Перовский согласится разрешить наш спор с ханом Жангиром по справедливости, то не нужна нам будет эта война, и снова вернемся все к мирной жизни. Но пока ждем ответа от генерал-губернатора, должны мы крепко подготовиться к этой зиме. И уж никак не можем воевать с орысами, с казаками да гарнизонами! Так что думайте, откуда припас брать будем! И собирайте юрты – как вернется Махамбет, выходим отсюда, и идем к Эмбе. Там рыбы зимой в изобилии, не мясо, конечно, однако голода избежим, и полковник Геке со своими казаками нас там быстро не достанет. А потому ночью идем, тихо идем. Помним, что это не они, а мы нынче проиграли, и у каждого поражения – своя цена...

+ + +

Вот, вроде, полагается радоваться, а на сердце все равно щемящая пустота. И странное ощущение совершенной ошибки, как тогда, когда уходил, послушавшись, Наставника, из Ак Медресе. Как и тогда, он не знал, но чувствовал, что обманывает тех, кто ему доверяет. А может, и пустое все это, может, сказывается раздражительность от всех этих разговоров про победы и поражения?

Только о них о говорили нынче в степи – об одной победе, и об одном поражении. Победе хана Кенесары при Акмоле, и поражении Исатая под Тас Тобе. И если ханом Кенесары восхищались за то, что осмелился бросить вызов аж самому царю ресейскому, то про Исатая только и было разговоров, что осмелился восстать он против своего хана, предал его, против своих же пошел. «Нет, не Исатай предал хана, но хан наш предал свой народ, свои обычаи и древние адаты-традиции!» - убедительно и с жаром возражал Махамбет, собирая там и тут мажилисы старейшин кочевий, мелких биев и всех тех, кто еще сомневался в своем решении поддержать ли Исатая, или же встать на сторону хана Жангира.

Первый, вроде, действительно предал хана, законно воссевшего на белую кошму, по праву крови и наследия, однако правдой было и то, что нововведения ханские уж очень больно били по кочевому хозяйству, отбирая пастбища, налогами и поборами забирая порой последний скот у шаруа – степной бедноты, выживающей только благодаря своим малочисленным стадам и табунам. Именно на них рассчитывал Махамбет, от них надеялся – и получал поддержку, потому что сила была в голосе его, пламя убеждения пылало в словах бунтаря-поэта, стихи его разносились по скованной предзимними заморозками степи, словно весенние ветры, распалая огонь возмущения несправедливостью в вольнолюбивых степняках.

Вот и сейчас – получилось, сумел убедить старейшин аж трех кочевий сразу присоединиться к Исатаю, выделить бойцов в помощь, и скот на согым, чтобы зиму пережить, и вроде бы должен быть доволен: не с пустыми руками возвращается в лагерь к названному старшему брату своему и вождю восстания, сорок жигитов при оружии, пусть без стволов, но с добрыми клинками и на хороших конях, едут с ним, а сзади догоняют чабаны, сопровождающие медлительный скот – стадо овец в триста голов, да табун с полсотни кормовых лошадей! После поражения ни разу не удавалось заполучить одновременно столько помощи, и надо бы быть довольным, да беспокойно на сердце!

А может, все потому, что приходит запоздалое понимание ошибки? Может, надо было набраться смелости, пойти на союз с ханом Среднего жуза, поставить против одного торе – хана Жангира, другого носителя крови Шынгыс-хана, пусть еще не ступавшего на кошму белой верблюжьей шерсти, но разве это не поправимо?! Ведь тогда только одно оставалось бы Кенесары – двинуть свои силы на Запад, в Бокеевскую Орду, чтобы в честной схватке победить Жангир-Керея... Убить его! То, чего не смог, не захотел сделать Исатай! А ведь преступил он тогда этот глупый закон – «чингизида может убить только чингизид!» - эта война уже бы закончилась! И Фатима была бы свободна!..

Замотал головой Махамбет, прочь гоня подлые мысли, шакальи мысли... мысли, что подспудно терзали его все то время, что прошло со дня, когда он увидел глаза татарской волшебницы, услышал ее смех. Нет! – твердил он себе с таким же жаром, с каким выступал перед мажилисами – Не ради страсти своей, но ради чести и справедливости восстал я против хана! И желание обладать женой хана не имеет власти надо мной, как нет надо мной власти ни у глаз ее, ни у смеха, которые я не могу забыть! Нет! Не...

- Нет больше Шапраша, брат! Убили! – кричит молодой еще, но уже окривевший на один глаз степняк в изодранной абе. Запыхавшийся от бешеной скачки, на взмыленном, но очень хорошем коне, на каком впору не такому голодранцу, но иному баю ездить, он вытирает окровавленный лоб рукавом старого, рваного шапана, а из луки дорогого седла сзади торчит стрела, чудом не угодившая в спину... от кого же он убежал? И на кого кричит?

Махамбет направил коня в сторону окровавленного гостя, присмотревшись же, узнал в нем одного из коневодов-жылкыши, которым было поручено вести табун для Исатая. Трое братьев их, старший – этот кривой, другой совсем еще мальчишка, поэтому их и определили в пастухи, а среднего их отец, староста небольшого, небогатого кочевья, поручил встать под санжак Исатая с дедовским клинком. На него, на среднего брата своего и кричит теперь... Шапраш – так младшего брата звали, вспомнил Махамбет. Вспомнил и отца их, больше всех ратовавшего за поддержку восставших, помогавшего Махамбету убеждать прочих старейшин встать на сторону Исатая...

- Исатая люди это были, брат, говорю тебе! Мы за вами, на юг идем, а они с востока подошли, незаметно, налетели быстро, сразу убивать стали. Когда нападали, кричали: «Исатай! Тогызбай!» Тогызбай – это главный у них, сзади скакал, толстый такой... Я с коня упал, мертвым притворился, разговоры из слышал. Они всех наших перебили, брат наш первым погиб...

Замолчал кривой табунщик, из единственного глаза по растрескавшейся коже на лице темная влага течет, с грязью, пылью, кровью смешивается, каплет на взмыленную шею степного коня. Средний брат истуканом каменным застыл, только пальцы на рукояти дедовского меча сомкнулись, сжали, дрожат от напряжения, вот-вот выхватят старую сталь из старинных ножен – новую кровь пускать. Все сильнее смыкаются пальцы на рукояти меча, и только губы разомкнулись, наконец, чтобы прохрипеть:

- Ты... как выжил?

Будто извиняясь, что сам не погиб вместе с младшим братом, виноватым, тусклым голосом заговорил:

- Говорю же, как меня по голове стрела царапнула, наискось прошла, так я со своего коня и свалился, к земле прижался, мертвым прикинулся. Слышал, все, что они говорили, когда

всех убили... Я же, почитай, у самых ног коня этого Тогызбая и оказался, он меня за мертвого принял, внимания не обращал... А я... что я? Сам я Шапраша тело не видел, слышал, как один из грабителей предводителю своему, Тогызбаю, докладывать стал, что мол, всех убили, а тот в ответ довольный такой, вот, говорит, Исатай рад будет столько скота получить, поймет, кто для него на самом деле полезен, вернет свое уважение. Потом Тогызбай этот велел с добычей на юг, к лагерю Исатая идти, сарбаз ускакал, тут я с ножом на Тогызбая этого и метнулся, прямо с земли, один раз ударить успел, уж не знаю, убил ли, а только с коня свалил, вот, на его лошади к вам и доскакал... Погонялись они конечно за мной, не только из лука-садака, даже из ружей стреляли, да только куда им?! Хороший конь, вынес!.. – улыбка трогает губы человека, потерявшего брата, но что уж тут поделать, такие мы, степняки, когда речь идет о хорошем тулпаре-скакуне...

Раздается выстрел, и кривой табунщик медленно валится с богатого седла байского коня, которым он так недолго владел. На холме появляются один за другим преследователи – сарбазы из отряда Тогызбая, не оставившие преследование того, кто осмелился ткнуть ножом в тушу их предводителя. У одного из них в руке еще дымится ружье, но он уже спешит, торопится перезарядить, потому что летят на встречу ему сорок жигитов с ханжарами наголо, и впереди них – средний брат, и раздается еще один выстрел, и третий брат подает с коня мертвый, но мчатся в бой с людьми Исатая оставшиеся в живых, те, кто должны были стать им соратниками, но стали – кровниками... из-за цены одного поражения.

+ + +

Из частной беседы графа Петра Кирилловича Эссена с управляющим МИД графом Карлом Васильевичем Нессельроде на торжественном генерал-губернаторском приеме, состоявшемся по случаю расширения границ Петербургской Губернии:

« - А вы, любезнейший, прежде чем делами по строительству доходных домов в Петербургской Губернии интересоваться, прекратили бы старика обижать!

- Помилуйте, Петр Кириллович! Да чем же я вас, ваше сиятельство, отец родной, обидеть мог? Когда?

- А может и не вы! А может и не сами! Однако человечки ваши, что в вашем веденьи значатся, совсем стариковы желанья уважать перестали, не считаются, чин ни во что ставят, все границы перешли, молодежь!..

- Да кто таков?! Кто посмел? Вы мне только имярек шепните, Петр Кириллович, дорогой вы мой, мы его быстро к ранжиру призовем, из всех достойных присутствий выкинем, будет кайсацких верблюдов в Семиречье считать!

- Вот кайсацких-то нам и не надобно, дражайший мой Карл Васильевич! Ни верблюдов, ни коней, ни овец, и вообще не надобно нам, чтобы кто-то из ваших шибко прытких юнцов в дела кайсацкие нос совал, вы уж простите мне мою несдержанность! Народ степной иным миром живет, у них свои понятия, свой еsole, и вчерашним солдафонам в хрупкую, но верную стратегию подчинения степи имперскому скипетру со своею грубостью лезть не след! А того паче нас, стариков, за дураков почитая, в письмах одно доносить, а на деле совсем иное вершить! Сие, дражайший мой, есть измена – не государю, но чину, уважению, а самое главное – той стратегии, которую люди умнее да поопытнее загодя, со всей причитающейся тонкостью в жизнь воплотили.

- Не о Перовском ли вы, душа моя?

- А о ком же еще, сударь мой любезный?! Этот инженеру всерьез посчитал, что мне убедят неведомо о его самоуправстве? А знаете ли вы, к чему оно способно привести? Понимаете ли вы в недалёковидности своей, что перебрав с грубой силой способны только ухудшить положение, позволив степным народам обрести не вождя бунтарей, но мученика, святого, того, кто даже мертвый, будет способен противостоять нам самой идеей борьбы за некую видимость свободы от власти Империи?..

- Полно, полно вам, Петр Кириллович, брюзжать на молодость! Ну, переусердствовал в рвении своем, так за чем же дело стало? Одернем! Укажем на ошибки! Уволить, иль в какую опалу сослать не обещаю – сами знаете, Перовский у нас в государевых фаворитах, однако же окорот дать завсегда сможем...

- Вот и дайте, дайте окорот щенку, пускай своею Хивой занимается, а в дела Бокеевской Орды, да со своим солдафонским рылом не лезет, не про него высокая политика!..»

+ + +

Из записки К.В.Нессельрода генерал-губернатору Оренбурга, графу В.Перовскому:

«- Старый брюзга в крайнем недовольстве пребывать изволит, что способно нежелательно отразиться на делах наших в Петербурге. Государь к нему прислушивается, и хоть о благоволении монарха нашего к вам известно мне наилучшим образом, однако прошу вас впредь воздержаться от всяческого рода военных интервенций в кайсацкие дела, пока Петр Кириллович по положению своему и чину неудовольствие свое в наше неудовольствие не обратил. Держите меня в полнейшем ведении о делах в наших пограничных с Бокеевской Ордой краях, дабы я и впредь мог удержать вас от опрометчивых решений...»

1838 г. июня 26. — Письмо оренбургского военного губернатора В. Перовского управляющему МИД графу К. Нессельроде о руководителе восстания в Букеевском ханстве И. Тайманове.

Милостивый государь граф Карл Васильевич! Имею честь сообщить Вашему сиятельству следующие известия, полученные мною разными путями о здешних пограничных делах.

Кайсаки, прибывшие сюда из хивинских пределов, уверяют положительно, что персиане побили наголову войско хивинское около местечка или городка Джамии-Лангора. Хан выслал ныне против персиан еще 10 000, с коими пошел и сам мехтер. Хивинцы говорят, что этот мехтер назначен и послом в Россию для привоза сюда пленников наших и что отправление его последует по возвращении из этого похода. Хан собрал с каждого дома задержанных в России хивинцев по пяти золотых, на что и выкупаются повсюду русские пленники.

В степи зауральской, между подведомственными мне кайсаками, заметно, особенно на юге и на востоке, значительное брожение. Вероятно, я найдусь вынужденным действовать силою оружия, о чем и донес уже графу Александру Ивановичу. Собственно по делам здешнего управления нет ничего, что могло бы подать повод к этим беспокойствам; но кайсаки сибирские, как, вероятно, уже Вам, милостивый государь, известно, произвели, особенно в Акмолинском округе, большие беспорядки, потом вовсе удалились из округов и, таким образом, распространили волнение и на Восточную часть киргизов оренбургских. С другой стороны, бежавший зимою из Внутренней орды возмутитель Исатай Тайманов соединился на р. Эмбе с беглым же султаном Каип

Ишимовым, где собрали уже около себя до 2 000 человек, большею частью родов: адай, чиклы и табын, оттуда рассылают они возмутительные воззвания свои, рассылают подручников своих и успели склонить часть западных ордынцев ведомства правителя Баймохаммеда Айчувакова к неповиновению: одни откочевали, другие, еще колеблются. Но Ишимов и Тайманов в письменных воззваниях своих грозят затоптать копытами всех непокорных; кайсаки, по удалении из пределов наших, не надеясь защиты, повинуются и дело это может сделаться немаловажным.

Новых сведений относительно ожидаемых из Хивы пленников нет, слухи затихли, и это потому именно, что хана занимает теперь война с Персией и что сообщение с Хивою посредством кочующих там родов кайсацких прервано. Уже и по отношениям нашим к Хиве, бездействие с нашей стороны, при явном возмущении скопища ордынцев, было бы вредно; это легко могло бы снова подать хивинцам повод усомниться в силе и решимости нашей и дело по размену пленников могло бы опять затянуться.

Имея честь сообщить Вам, милостивый государь, неприятные сведения эти, мне остается только присовокупить, что я прибегну к оружию только в крайнем случае, хотя и теперь уже не предвижу, каким образом можно будет кончить дело это иначе.

Прошу Ваше сиятельство принять уверение в отличном почтении моем и совершенной преданности.

В. Перовский.

АВПР, ф. Гл. архив, 1-9, д. 5, лл. 380-383.

+++

ПЕСНЬ ОБ ОРЫС-БАТЫРЕ И КАЙСАЦКИХ ПЛЕННИКАХ

**Пропетая старым шаманом в шатре Кенесары через месяц после поражения войск
Исатая при Тас Тобе**

Ай, Орыс-батыр, сильный множеством!

Что же ты, батыр, так рукою слаб?

Победил меня, не отвагой ратника -

на жигитов горстку ты пустил тумен.

Вот ведешь, Орыс, Кабланбая ты.

Не один ведешь – всемером, считай.

Затянул арканом руки пленнику,

окружил десятками удалых солдат...

За тобой стоят губернаторы,

Генералы все, с Императором.

Далеко стоят, не под пулями.

Кровь свою, батыр, ты за них пролил.

Только больше лил ты не кровь свою –
Кровь степняцкую, кровь казахскую.
Ты не званный гость, не желанный гость
В степь пришел с ружьем, машешь шашкою,
Пушкой бьешь меня, колешь пикою,
Называешь нас Степью дикою!
Победил ты нас слабой силою.
Там, под Тас-Тобе, победил меня.
Пушкой бил меня, сталью гнал меня.
Жизни ты лишил сильных истинно:
Калдыбай погиб, Ерсары - убит,
Жакия батыр, Исатай сын –
С Кабланбаем в плен угодили твой.
Молодым волкам умирать в бою
От руки врага – только счесть за честь.
Но... быть скованным? Но... быть поротым?
Что же ты, орыс, с нами делаешь?
Сотен пять таких, как и ты, солдат,
Слабых силою, сильных множеством,
Встали в строй рядком, взяли шомполы,
Да по разу три били пленников.
С Кабланбаем вы так не справились.
Всемером вели, обвязав его.
«Ах, какая глыба этот Кабланбай!» -
Так полковник твой про него сказал.
Твой полковник – смел, твой полковник – храбр!
В битву с нами он сам отправился.
Будто Исатай наш, что всегда в бою
Впереди своих на врага летит.
Геке звать его, он большой батыр,
Победил он нас, не поспоришь тут.
Только что же ты, победить сумев,

Так над пленником издеваешься?
Ты его – убей, ты его – казни!
Но не дай ему так унизиться!
Кровь врага пролей - слез пролить не смей!
Не позволяй себе палачом прослыть!
После казни той, биты-пороты,
Между жизнью ли, перед смертью ли,
Вы погнали их в безвозвратный путь,
Да на каторгу, словно мало им.
Ау, орыс-батыр, слабый силою,
Победив меня – ты не Степь побил.
Много в Поле нас, мы бесчисленны,
Степью живы мы, ею вскормлены,
Молоком коня мы напоены,
Ветром северным дышим радостно,
Сердце волка в нас непокорное,
Не собаки мы, не прикормишь нас.
Ты потом, батыр, уж не спрашивай
Почему тебе тут не рады мы,
И по чьей вине, коль настанет срок,
Степь детей твоих прочь погонит вдруг.
Я – степной шаман, зрю в грядущее,
Вижу – будет день, сбросит Степь ярмо.
В небеса взлетят: золотой орёл,
бирюзовый стяг, солнце жёлтое!
Из твоих детей только тот родным
Будет для Степи, кто душой – казах!
А все прочие, сердцем ватные,
Рабством гордые, ложью хвалены,
Честь забывшие, силой слабые -
Всех прогонит Степь, вольных Родина!

(А.Улдуз, стилизация)

+ + +

Истории седьмая и восьмая:

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ - ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

- Ак Жайык нас не кормит, брат! Он сейчас кормилец для казачьих артелей, для купцов красной рыбой, для кого угодно – только не для нас. А значит, нужно уходить отсюда, как можно дальше уходить, на север. Уходить, чтобы соединиться с ханом Кенесары. Самим нам в этой войне уже не победить! И не спорь!.. – Исатай поднял руку в кольчужной рукавице, словно желая остановить готовое прозвучать возражение побратима и соратника. Металлические части чуть слышно звякнули, словно подчеркивая волю хозяина руки.

- Что ты такое говоришь, брат? – Махамбет, в общем-то, возражать не особо собирался, и даже наоборот, но уж слишком хорошо знал вождь повстанцев своего товарища – даже согласие свое сын Утемиса начинал с отрицания. – Разве спорить я собираюсь с тобой? Ты прав сейчас, как когда-то был прав и я, когда говорил, что тебе следует убить Жангирхана, тогда при осаде ханской ставки. Но ты, в отличие от меня, ошибку свою признать не готов, так что же с того? Разве стану я тебе напоминать сейчас об этом?..

- А что же ты сейчас делаешь, брат мой? Нет, не спорь, не возражай! – вновь звякнули металлические кольца боевой перчатки, будто предупреждая. – Через многое мы с тобой прошли, и многое о тебе я узнал. Ты – батыр, Махамбет, ты – герой, но ты раздраем изнутри собственными чувствами. Возможно, таков удел всех акынов, и мне, простому воину-сарбазу, привыкшему орудовать не словом, но копьем, тебя не понять, не посочувствовать. Однако юлить не стану, и сразу предупрежу – если ты надеешься, что объединившись с одним чингизидом, я пойду на смерть другого, сразу забудь об этом. У меня самого надежд уж не осталось – ни на мир с ханом Жангиром, ни на орысов с их акынами, и даже лучшие из них, вроде Даля, нам оказались не в помощь. Но я надеюсь, что вместе с ханом Кенесары мы сумеем принудить орысов больше не вмешиваться в наши дела, и тогда разберемся между собой – сами, по своим законам. Не с тем я сражался, и предан был не тем, кого считал врагом. Хан Жангир Керей нам не истинный враг, но лишь союзник того, кто лишил нас свободы. И сам станет скоро жертвой своего сильного покровителя...

- Как она говоришь... - пробормотал Махамбет, и Исатай прервался:

- Кто – она? Фатима? – Исатай не знал о содержании беседы во время последней, да собственно и единственной встречи между Махамбетом и его страстью, женой владетельного хана Бокевской Орды хана Жангир Керей, но догадывался о многом. И здесь он угадал, догадался о сути, но вот имени женщины, разбившей сердце акына и батыра ему называть все же не стоило. Напряглось лицо Махамбета, заиграли желваки, скулы будто заострились, еще миг – и не выдержал акын, повернулся, порывисто, словно ветер степной, выбежал-вылетел из юрты предводителя восстания.

Как тогда, год назад, не помня себя, стремительно шел он через весь лагерь повстанцев-шаруа, спешно собиравшийся по приказу Исатая – в кочевье на север. Более шести месяцев простоял Исатай в этом месте, у большой излучины реки Урал, казалось бы, вдали от Гурьева с его гарнизоном и казачьими разъездами, однако – недостаточно далеко. Прямых нападений на его лагерь за это время не было, слишком уж слабы были ханские войска для нападения на лучшего полководца степи, а для окончательного решения вопроса с повстанцами имперскими силами слишком много интриг завертелось

вокруг степной политики, чтобы генерал-губернатор Перовский мог пойти на решительный удар по бунтовщикам.

И все же, очень тяжелое полугодье провела армия восставших. Не решаясь на прямую атаку, ханские сарбазы да казачьи отряды непрестанно нападали на немногие продовольственные подвозы, что удавалось заполучить путем торгов да переговоров, и сумели сделать это время для сторонников Исатая Тайманова по-настоящему голодным. Пришлось и в самом деле грабить своих же степняков, оправдываясь необходимостью, однако последствия не заставили себя долго ждать, и большинство кочевий, обитавших вдоль реки, окончательно перестали поддерживать повстанцев. Да и мало их было, степняцких поселений в этих краях, окончательно захваченных казачьими станицами, державшими под своим надзором берега реки, служившей главным, если не единственным источником их благоденствия.

Степняки бежали отсюда – от казаков, не ставивших жизнь кочевника ни во грош, от повстанцев, с голоду готовых отобрать последний скот, от ханских сборщиков податей, словом от всей этой суматошной возни, в которую вылилась имперская политика в Бокеевской Орде. Теперь, вслед за степняком, бежавшим от войны на север, туда бежала от голода, созданного ею же самой, и сама-война. Бежала спешно, собирая свой смертоносный скарб на вьюки, складывая оголенные ребра юрт в связки, будто кости гигантских скелетов от убитой и обглоданной мирной жизни.

Забитый за прошедшие полгода стоянки скот, на самом деле немногочисленный для такой армии, скелетов за собой не оставил: каждая кость в голодающем лагере была ценной пищей. И все же сами люди к началу лета выглядели как скелеты, исхудавшие донельзя. И все же была у всего происшедшего хоть одна полезная сторона: теперь армия повстанцев могла кочевать налегке, быстро, не обремененная отарами скота и табунами кормовых лошадей. Коней боевых по строгому приказу Исатая трогать не смели, и если даже голодали сами, то для верных тулпаров своих степняки завсегда изыскивали корм, и даже самая большая стычка с казаками за прошедшие полгода случилась именно что за конский корм, когда сотня жигитов напала на обоз с кормовым овсом, шедший из Уральска в гурьевский гарнизон. Сейчас им, драгоценным половинам степных кентавров, предстояло нести на своих спинах армию шаруа, прочь от негостеприимного Ак Жайыка, на север, туда, где близ Ахтубы Исатай Тайманов, вождь рода Бериш намеревался встретиться с передовыми отрядами хана Кенесары Касымова, чингизида из рода торе.

По мере своего стремительного прохода через лагерь Махамбет успокаивался. Он уже не был тем буйным человеком, бросавшимся на дерзкий риск ради своей страсти, какому разбила сердце ханская жена чуть менее года. Голодная зима, а того паче: изменившееся отношение к нему самому, да и к повстанцам, со стороны собственных соплеменников, изменили изрядно и его самого. Он словно повзрослел, понял, прочувствовал всю неоднозначность, и даже все чаще смущающую его двусмысленность их борьбы с ханом. Решения, казавшиеся такими правильными еще год назад, нынче заставляли усомниться в собственной разумности, и только воля Исатая, его решимость, и безупречное благородство даже в самые тяжелые времена, заставляли держаться, служили тем знаменем, вокруг которого сгрудились остатки чести и достоинства воинов-повстанцев, словно волки, окруженные стаями псов, лающих сомнениями и грызущих упреками.

Изменились и песни Махамбета. Они все еще были полны огня, но в них все чаще сквозила какая-то обреченность, и потому в последнее время Исатай все реже просил побратима брать в руки домбру, но все чаще отправлял с различными поручениями... в основном туда, где угроза быть пойманным имперскими силами была достаточно высока. Словно чувствовал, подозревал – Махамбета не тронут, не заберут, а если и поймают – то отпустят в скорости. Так и происходило. Два раза за это время задерживали Махамбета –

один раз в Астрахани, и единожды в Оренбурге, и оба раза, не сочтя доказательств вины его достаточными, отпускали восвояси.

Правда, и поручений Исатай выполнить, чего уж греха таить, не удавалось – Перовский в присутствии принимать отказывался, и даже письма в канцелярии не заносились в реестр, знакомые же из высоких чинов, вроде Даля, способные помочь, словно по волшебству какому в единое время все вдруг исчезли из степных краев, по каким-то важным государственным поручениям направленные в столицу. Явно демонстрируя нежелание вмешиваться во внутреннюю распря в Бокеевской Орде, государство Российское не так явно, но вполне ощутимо показывало, что в распре этой оно никак не на стороне бунтовщиков, посмевших встать супротив правителя своего. В присутственных местах и канцеляриях Махамбет чувствовал себя, словно муха, угодившая в густой кисель, в которой вроде бы и безопасно, и во всем сладком, однако ни двинуться, ни дать бой этому липкому, жирному врагу, обволакивающему тебя со всех сторон такой мягкой, но необоримой силой.

А сейчас, в преддверии предстоящего кочевья на север, он чувствовал себя еще более бессильным и бесполезным. Союз с Кенесары был отвергнут по его совету полгода назад, и сейчас Исатай шел на него, хотя теперь он был более чем выгоден для личных, тайных чаяний поэта. Фатиму он теперь не то, чтобы не любил – страсть, испытываемая к жене хана, превратилась поначалу в ненависть, всежигающую, требующую немедленного покорения этой дерзкой, сильной, необычной женщины, и даже унижения ее. Однако прошедшая зима изменила даже это. Теперь он не знал, чего именно хочет, но все чаще понимал, что не было бы для него большего блаженства, нежели завоевать ее одобрение, увидеть это одобрение в глазах ее, услышать из уст. Союз с Кенесары – это то, что не учтено ни орысами, покровительствующему хану, ни ее хитроумным отцом, ни ею самой. Они считают восстание обреченным на гибель, а вождей презрительно именуют бунтовщиками, недалекими, не способными увидеть будущего для своего народа. Что-ж, это будущее есть у чингизида Касымова. А значит, он еще способен удивить ее. И – убить Жангирхана. Даже если для этого придется совершить много битв, в одной, самой последней битве, он до хана все же доберется...

+++

В мире лучшие луга -

Ак-Жаика берега.

*Будем мы ещё, как знать,
жить там летом, зимовать.*

*Будем холить и седлать
темно-рыжих мы коней.*

*Бог же даст нам лучших дней,
все дела свои поправив,
вражьи силы, наконец,
безбоязненно и браво
мы погоним, как овец.*

Махамбет Утемисулы – «Берега Ак Жаика»

(перевод Б.Карашина)

+ + +

«Сим заверяю преданность свою и почтение...» - Перовский протер глаза кулаком, выпачканным в чернилах, размазав оные по скулам, зевнул, отложил перо, потянулся за графином с настойкой полынной водки. Водка была на редкость гадкою, однако граф Перовский, герой крымской кампании и большой любитель вин, ныне сам себя наказывал таким вот манером, отказывая себе в нежных букетах души виноградной лозы, и прикладываясь к солдатскому горлодеру, изготавливаемому для оренбургского гарнизона кайсаком-выкрестом в трактирном подвале. Зарок такой был у графа – покамест не покончу с бунтом – ни капли вина в рот не возьму!

Про зарок этот знал только Кричевский, оказавшийся невольным свидетелем графской истерики в прошлом году, когда Василий Алексеевич получил письмо от некогда друга и покровителя, графа Нессельроде с преизряднейшим выказыванием всяческого недовольства политикою, проводимой оренбургским головой относительно Бокеевской Орды. Пожаловаться государю Перовский не мог – хотя и формально, и по духу системы рангов государственной службы дела кайсаков, как подданных российского государя, и не находились в ведении министра иностранных дел, однако во время визитации хана Жангира в Петербург Карл Васильевич Нессельроде неведомым каким-то образом умудрился затесаться в окружение Эссена, представлявшего хана ко двору, и даже сумел через свое ведомство провести некие малозначительные торговые соглашения, тем самым заполучив некое официальное отношение к делам Бокеевской Орды.

К тому же планы генерал-губернатора Оренбурга относительно Хивы, так или иначе, должны были заполучить поддержку в канцелярии иностранного министра, а потому ссориться с Карлом Васильевичем резону никакого не было. Пришлось обиду стерпеть, и даже написать убедительное письмо с уверениями в преданности былой дружбе и памяти о добрых делах. Последнее-то поди забудь, когда Карл Васильевич никогда не погнушается напомнить о самой незначительной услуге, совершенной им для кого бы то ни было! Уж таков он был, величайший интриган при дворе самодержца Николая Первого, министр, способный перехитрить кого угодно, но чаще – самого себя, и тем не менее, ухитрившийся завсегда без ущерба для себя из любой оказии выбраться.

Вот и сейчас, граф писал Нессельроде, выдерживая самый высокий эпистолярный штиль, а в глубине души своей костерил Карла Васильевича на чем свет стоит, даром ли солдатский паек под Измайлово совместно с солдатами глодал, и крепким словом умел Перовский приложить не хуже иного гренадера. Ругать-то ругал, но понимал – не время нынче ссориться с министрами да губернаторами столичными, ох не время! Поклоны раздавать, да улыбаться, скрипя зубами и скрывая волчий оскал!..

Кричевский молча стоял поодаль, у самого входа в кабинет генерал-губернатора, и боялся слово молвить. Во-первых, бывший тюремщик – любитель живописи устал, как черт после шабаша: деспотическая манера заставлять подчиненных находиться в присутствии, пока сам генерал-губернатор службу не покинул, сегодня держала служащих в канцелярии аж за полночь. Причем мелких писарей граф велел отпускать, а вот чиновникам средней руки никаких послаблений не изволил, и Семен Герасимович, страдавший в последнее время желудком, вконец сходил сума от режущей боли в животе, вызванной отсутствием в оном желудке причитающегося ужина. Надежда на то, что генерал-губернатор закончит свои эпистолярные и отпустит служивых домой, испарилась с появлением мелкого кайсака, принесшего бумагу, запечатанную тамгой Карауылкожы Бабажанова. Такие послания содержали, как правило, доносы, да всяческие иные сведения от лазутчиков, шнырявших по Орде, и докладывавших обо всем генерал-губернатору через ханского зятя, и получав такие письма, становился обычно граф Василий

Алексеевич чрезвычайно нервным, и мог засидеться аж до первых петухов. Что, кстати, ни в малейшей мере не отменяло обязанности прийти в присутствии в положенный утренний час, да при всем параде, безо всякого следа ночного бдения.

Глотнув полынной водки, граф поморщился, и только тут разглядел согбенную от усталости, стоящую в полутьме у самой двери.

- Семен Герасимович, друг болезный, почто это вы там встали так, будто скрываетесь во тьме, аки тать ночной, а? – эдакая игривость в голосе начальства пугала еще больше, нежели привычная раздражительность, и бочком, бочком, неловко и даже как-то стеснительно, Кричевский приблизился к столу и положил на самый краешек желтую в тусклом свете оплывших свечей бумагу, тамгою вверх. Василий Алексеевич недоверчиво глянул на сложенную бумагу, оказавшуюся так некстати на его столе, поднял глаза на Кричевского:

- Когда принесли?

- Да вот... - от чего-то испугался еще больше Семен Герасимович, сглотнул ком страха, так некстати возникший в гортани, продолжил: - надясь... мене часа назад, ваше превосходство...

Однако граф уже не слушал, нетерпеливо ломая печать тамги, и с громким шуршанием разворачивая желтый лист послания. Пробежал глазами. Будто – не поверил, прочитал снова, теперь уже медленнее, в отдельных местах проговаривая слова и даже целые предложения беззвучно, одними губами, будто жвачку какую жевал. Не отрывая взгляда от бумаги, потянулся к графину с полынной, налил полную рюмку, выпил, не поморщившись. Снова наполнил рюмку, поднес к губам, но отчего то передумал, со стуком поставил на стол, да так, что горько пахнувшая жидкость расплескалась через края, запачкав бумагу с письмом для Нессельроде. Василий Алексеевич как-то странно посмотрел на собственное послание, будто не узнавая его. Затем вдруг резко схватил, и принялся рвать на множество мелких кусочков, приговаривая:

- А вот тебе вот так, мил государь, и вот так, и еще – вот так... Ибо! – последнее граф Перовский, генерал-губернатор Оренбурга, чуть ли не вскричал, воздев указательный перст к потолку, обрывки же собственного письма бросив вверх так, что они тебе, медленно кружась, желтыми хлопьями необъяснимого жаркой июньской ночью снега, падали вокруг и на голову его превосходительства. – Ибо дело государственной важности! Ибо – бунт супротив власти растет и ширится, и не время нынче в политикусы играть, а время исполниться воинскому долгу – во славу Государя и Отечества!

- Да что же такое-то, Василий Алексеич? Нешто ханьцы на нас войной напали? – забеспокоился, запищал Кричевский, чья резь желудочная от графской истерики еще более усугубилась.

- Нет, ханьцы не при чем! – взмахнул рукой, одним этим движением словно отрубая, отгоняя бесчисленные орды коварных ханьцев от границ государства Российского, генерал-губернатор Перовский. – Бунтовщик Исатай идет на сближение с ханом Кенесары Касимовым! Два бунтаря готовы объединиться, и тем самым поставить под угрозу саму власть государя-императора над вверенными нам территориями, Семен Герасимович! А значит – прочь политикусы, и никаких отныне извинительных отчетов и реляций! Только – война, только – победа! Гром победы, раздавайся, веселися, славный россе!..

Генерал-губернатор запел фальшивым, но глубоким и сильным басом, а у Семена Герасимовича Кричевского, действительного советника и любителя живописи, все сильней и невыносимей болело в животе.

+++

- За веру... и верность! Вот девиз сего ордена, милостивый государь, и никаких иных наград и наук нам не надобно, коли сочла тебя Империя – достойным ордена сего, а вера и верность есмь главные познания твои на государевой службе! – Петр Кириллович нежно, даже как-то ласково погладил своего «Андрея» - нагрудный знак высшей награды государства Российского хоть и был лишь из золота с эмалью, однако носил его граф Эссен так, словно находился при полном статуте алмазных знаков ордена святого апостола Андрея Первозванного. Собеседник его, министр иностранных дел Российской Империи, граф Карл Васильевич Нессельроде, монолог генерал-губернатора Санкт-Петербурга слушал с выражением таким, словно у него болел живот.

Вот уже четыре года и два месяца прошло с того дня, как бывшего генерал-губернатора Оренбурга, героя войны с Наполеоном, графа Эссена наградили «Андреем». Наградить-то наградили, да вот какой пассаж! – алмазных знаков, по статуту причитающихся, к орденскому званию по причине недостатка алмазов в государстве, истощенном бесконечными войнами, да и не выдали. Иной бы и тем был счастлив, да не тот человек Петр Кириллович Эссен, никогда не довольствуется малым там, где может взять все, а коли не может, так вести себя будет так, словно и не нужно оно ему ни в малой мере. И золотой с эмалью нагрудный знак выпячивал безо всякой надобности, к месту и без оно, и камзол статутный носил все эти четыре года непрестанно, чем вызывал множество насмешек... тайных, конечно же!

Смеяться над могущественным петербургским генерал-губернатором рискнул бы только блаженный умом да скорбный рассудком, поскольку зело злопамятен был граф Эссен. Шуток же не терпел и вовсе никаких. Карл Васильевич же, напротив, шутить любил и умел, тяжелых же по духу своему людей опасался и стремился сторониться. А потому дружба Нессельроде с этим мощным стариком, глыбой имперской политики и левиафаном столичной интриги была не от сердца, но от предпочтительной нужды иметь этого человека скорей в союзниках, нежели во врагах. Шестидесяти шести летний Эссен с каждым годом становился все более раздражителен, и в то же время, как ни странно – сентиментален. Вот и сейчас, вызвав к себе в приемный кабинет министра иностранных дел, с коим позволял себе обращаться порой как с мальчишкой, несмотря на то, что Карл Васильевич был младше него всего на восемь лет, Петр Кириллович вдруг резко сменил тему беседы, а вернее – монолога, потому как говорить изволил только сам:

- В степи нынче хорошо! Маки, небось, только отцвели, а у нас, вишь, май петербургский, и весною-то назвать стыдно! Кости ломит... о чем то бишь я? Верность... да!

Столичный генерал-губернатор отошел от окна, медленно опустился в кресло, обитое темным бархатом, помолчал, пожевав сухими, старческими губами, продолжил, глядя сквозь министра, словно сквозь прожитые годы:

- Верность – она порой с позывом души не сочетается. Есть некие долги... чести, что ль? А можно и эдак сказать, почитай, что и чести, отчего же не сказать? Долги уж нее людям живым, но токмо памяти ушедших в мир иной, мир лучший... и люди эти гораздо лучше нас с вами были... Уж не знаю, помните ли вы Андреевского? Степан Семенович Андреевский, в годы оны генерал-губернатором Астрахани служил, замечательнейший человек был, не чета нынешним да и нам с вами не чета – ученый, врач, первым язву сибирскую определил, в классификацию недугов внес, исследовал... Так вот весь успех нашего политикуса к делам степных, киргизских – его заслуга! Я-то человек прямой, порой, говорят, жесткий, как ремень солдатский, да и то понять можно, из инфантерий вышел, не штафирка штабная, не в обиду иным будет сказано...

Нессельроде закашлялся. Еще ни разу не упускал возможности граф Эссен уколоть его за то, что службу армейскую по причине слабого здоровья Карл Васильевич провел по штабам, пороха не нюхал, в атаку не ходил, а значит и человеком считаться может с

большую натяжкой на полковничьи эполеты, неведомо как по штабам заслуженным. Обидно было, конечно, однако ему ли, иностранцу, сделавшему такую головокружительную карьеру в стране, почитай, никогда из военных кампаний не вылезавшей, жаловаться на то, что в России солдатская выправка превыше ума почитается?! Приходилось терпеть. И сейчас вытерпел. Петр Кириллович же, обыкновенную для себя шпильку пустимши, как ни в чем ни бывало продолжил, будто и не он обидел собеседника своего. И сквозь продолжал глядеть – будто и не было того здесь вовсе.

- Многому научил меня, солдафона, Степан Семенович. Не силою грубой, но умом дела решать в степных краях научил. Наследник первого хана орды бокеевской, нынешний хан, Жангир, Степану Семеновичу воспитанником приходится. Аманатом, считай, заложником брали детей из знатных киргизских семейств, и на свой лад кроили, воспитывали, и уж как преуспел в этом Андреевский, что нынче нам и солдат на смерть отправлять не надобно, сами ханы в узде для нас степь держат, не дают из-под власти имперской вырваться. С этой мыслию я и ранее не позволял человечку твоему, Перовскому, в дела орды влезать, дабы народ к хану, нами на правление благословенному, уважение и доверие не утерять. Почитай, все не токмо в память другу и наставнику своему, но и за-ради блага империи нашей не давал развернуться, вмешивался, останавливал. Было дело! А нынче вот, настала пора спускать с цепи борзого, что рвется кровушки волчьей. Спускать, да еще и подзуживать, кричать, ату его, ату!

Нессельроде, наконец, был заинтригован:

- Что такое, Петр Кириллович? Что изменилось?

- Всё! Всё изменилось, Карл Васильевич, и нынче не политику старого друга беречь следует, но верность интересам имперским превыше всего ставить потребно. Бунтари, что под началом Исатая Тайманова весь прошедший год, почитай, безнаказанны были, идут к хану киргизов среднего жуза Кенесары Касимову, человеку зело опасному, умному, и власть государства Российского над собой не признающему. А это уже совсем другой расклад, сударь мой! Дозволить хану Кенесары усилить свои ряды пусть небольшой, но опытной, проверенной и закаленной в боях армией кайсаков младшего жуза, да еще под предводительством Исатая Тайманова, никак нельзя!

- Так что же теперь делать прикажете, Петр Кириллович? Не поздно ли спохватились? Успеем ли вмешаться? Я понимаю, что случись этот союз, государь будет в гневе, и вина за допущенную ошибку ляжет на вас... - Нессельроде откровенно наслаждался ситуацией. Впервые далась ему в руки не только возможность отомстить за все нанесенные мелкие обиды и оскорбления ответными обидами, но редчайший шанс нанести удар по нерушимой, казалось бы, карьере этого политического левиафана.

- Ты, брат, не шибко радуйся! Захочешь – помоги, а нет, так и без тебя справлюсь! – вдруг осерчал Петр Кириллович Эссен, и крепко хватанул кулаком по ореховой столешнице, так, что чернильница горного хрусталя подпрыгнула, слетела со стола, да и разбилась о дубовые половицы, обрызгав сапоги Карла Васильевича. Нессельроде поморщился:

- Да отчего же не помочь?

- А тогда, мил человек, не злорадствуй, я твою штабную душу насквозь вижу, ты у меня вот где, Карл Васильевич, со своими доходными домами, не забывай об этом! – и петербургский голова потряс поросшим редким рыжим волосом кулаком перед носом министра иностранных дел Российской Империи. – Вот где ты у меня со своими деньгами и домами, алчная ты душонка! Так что веди себя хорошо и впредь, как ране вел, чтобы о делах твоих государю доложено не было! Понял ли ты меня, любезный мой друг Карл

Васильевич? – последние слова Эссен сказал уже совершенно спокойно, и будто даже помолодел от пережитого нервного пассажа.

Нессельроде только и смог, что кивнуть в ответ, потрясенный живостью и близостью угрозы от этого страшного человека, который еще мгновением ранее казался сломлен последствиями своих действий, а нынче, подобно фениксу из пепла, восстал из собственных руин и пылает гневом и силою.

- А раз понял, так делай, как велю. Напишешь Перовскому послание, от своего ли имени, или чьего еще, да только чтобы обо мне там ни слова, ни литеры не было! Отправишь то послание самым быстрым гонцом своим в Оренбург, и упаси Господь тебя, Карл Васильевич, медлить с этим! А в послании том отпиши своему протеже, чтобы выступал немедля, и разбил бунтовщика Тайманова безо всякой жалости. Однако с оговоркою, чтобы некоего Махамбета Утемисова, что при главаре бунтовщиков обретается, ни в коем случае не убивать! Без полководческих талантов, следует признать, изрядных, Исатая Тайманова, бунт этот обречен, однако же гибель своего поэта от рук чужеродных, люд степной хану никогда не простит, и тем самым засеет мы семена для восстаний грядущих, а допускать сие не след, ибо... Ибо – вера и верность!..

+++

- Вера и верность, господин Бабажанов, вот на чем держится империя Российская, и в этом залог нашего успеха! – безымянный чин из самого Петербурга, сопровождавший конную сотню от самого Оренбурга до Уральска, где и встретились ханский родич и карательный отряд, выделенный Перовским для полного и окончательного разгрома восставших шаруа, всю дорогу говорил цитатами из «Патриотического вестника». Станный был этот господин, по виду – вовсе не военный, однако же, видимо, большой властью обладал над всем и прочими, военными чинами в этом, не менее странном, отряде. Карауылкожа, хорошо знакомый с гарнизонным составом что Оренбурга, что Астрахани, а то и Гурьева, ни одного из этих служивых никогда ранее не видывал. Суровые и молчаливые, ни одного младше тридцати лет, у многих лица в боевых шрамах, они не выглядели рядовыми солдатами, хотя никто не носил положенных по ранжиру знаков офицерского отличия. Да и форму солдатскую, положенную гарнизонам, не носил – вся сотня была одета в казацкие платья, явно взятые с чужого плеча, однако по дисциплине и порядку становилось понятным, что никакие это не казаки.

Поначалу, обнаружив, что для решающей битвы с Исатаем генерал-губернатор направил всего лишь одну конную сотню, Карауылкожа возмутился. Топал ногами в приемной Уральского головы, брызгал истерической слюной, призывал проклятия и грозился написать самому государю. Однако вышел к нему навстречу из кабинета градоначальника этот странный чиновник, коего все именовали с трепетом «Ваше превосходительство» - худой и высокий, что сушильная жердь, бровастый, нос клювом птичьим над капризно очерченным ртом нависает, а рот этот все улыбается, криво так, будто с презрением. Так улыбаются только убийцы... или те, кому привычно решать судьбы человеческие в силу власти и полной безнаказанности. Чиновник этот представляться не стал, велел именовать себя по титулу – Статским Советником, и в отличие от бойцов отряда, к коему был приставлен, по собственным заверениям, в качестве наблюдателя, разговорчив был не в меру. Только говорил странно – все сплошь чужие изречения да выдержки из государевых указов. Одним таким указом и припечатал в первую же встречу все возмущение ханского родича, прервав истерику последнего громко заявленным: «Не числом, но умением русский солдат города берет! Знаете, чье это? Думаете, Суворов? Ан нет – сама императрица сказать изволили, а Суворов уже перед солдатами повторил, вот ему и приписывают. Так кто мы такие, чтобы с мудростью монаршьей спорить, а... как вас там? Бабажанов?! Чудесно, Бабажанов, а теперь отвечайте – кто мы с вами такие, чтобы в

мудрости монархов империи Российской сомневаться? Верно, никто, и звать нас никак! Только данные нам государями титулы есть истинные наши имена! Вот, впредь по титулу и зовите!» ...

С тех пор Статский Советник не умолкал. Хотя смысла в словах его Карауылкожа уловить не мог, как ни старался, все сплошь торжественные реляции, словно на параде. Одно только не укрылось от взгляда ханского порученца – несмотря на щеголеватый вид и будто нарочитое пустозвонство, пистолеты в потертых, вовсе не щегольских седельных кобурах, и армейский палаш в закутанных в потертую кожу ножнах вовсе не выглядели щегольскими. Рукоять сабли была простой, серебряный набалдашник казалось уж почернел от времени, но чудилась в этом темном серебре одна лишь смерть, скучная, привычная и обыденная для людей войны, пользующихся таким оружием. И у всех прочих в сотне оружие было очень похожим – сабли без эфесов, защищающих кисть руки, ножны спрятаны, клинки ножен не покидают даже на вершок, и пистолеты – оружие дорогое, обычному солдату не доступное, все так же тщательно укрыты от возможных любопытствующих глаз. Но при этом имеются у всех!

На первом же ночном привале не сдержался Карауылкожа, от любопытства своего сгорающий, дождался, когда странные солдаты примутся за обязательный для военных людей ежедневный ритуал чистки и осмотра оружия. С флягой неплохого вина подошел к одному из бивачных костров предложить солдатам выпить, да поглядеть, что же у них за оружие такое? Пить солдатики отказались напрочь, а вот оружие подсмотреть Карауылкожа таки успел. Успел – и обомлел от увиденного: клинки боевых сабель были усыпаны червленой арабской надписью выдержек из Корана, серебряные накладки на рукоятках пистолетов так же украшены строками из Священной Книги мусульман, да клеймами мастеров с мусульманскими именами! И вздрогнул тут ханский родственник – неслышно подошел к нему Статский Советник, да как хлопнет по плечу, и рассмеялись бородатые, обычно суровые солдаты, при виде испуга кайсацкого:

- Что, брат кипчак, удивлен? Небось, не слыхивал никогда о черкесской сотне?

Проглотил испуг свой Карауылкожа, сглотнул ком в горле, сипло спросил:

- Кто... откуда эти?..

- С гор они все, с Кавказа, по большей части из кавказского племени чеченов, что у себя на родине знатными барымтачами были, разбоем промышляли, а теперь, вишь, присягу государю Российскому приняли. Среди своих то они предателями считаются, изгоями, а у нас, вишь, муштру прошли, солдатской науке обучены, присланы верность свою короне в хивинской кампании графа Перовского доказать. Ну, а эта вылазка – так, для разминочки, чтоб первую кровь пустить, давно уж не воевали, почитай, с самой присяги...

- Они – мусульмане? – удивленный Карауылкожа кивнул на арабские надписи на оружии. Статский Советник пожал плечами:

- Есть среди них и выкресты, навродь абазов, есть урожденных пара христиан из армян, а по большей части веру отцов сохранили. Смешно, да? Веру отцов сохранили, а вот веру самим отцам – не особо, потому как на таких вот кавказцах и будет строить империя власть свою: преданных вере своей, но не народам своим. Скоро, очень скоро весь Кавказ под нами окажется!..

- А вы, ваше превосходительство? Тоже – с Кавказа? – набрался смелости спросить Карауылкожа. Рассмеялся статский советник:

- Прадед мой из чеченов был, еще в годы оны на Русь перебрался, да веру сменил за ради любви к прабабке моей, столбовой дворянке из рода Сурковых. А я... русский я, понял?

Действительный Статский Советник его императорского величества государя Российской Империи, граф Сурков! Но для тебя, брат кипчак – токмо по титулу, так что гляди, не ошибись!

- Не ошибусь, Ваше Превосходительство! – Карауылкожа низко поклонился русскому чеченцу, повернулся, да и пошел быстрым шагом прочь от костра. Впервые с тех самых пор, как он самого себя помнил, почуял бывший аманат-заложник, поднявшийся до нынешних высот, страх перед будущим. Еще в ранней юности, отданный собственными родителями в качестве залога преданности русскому императору на воспитание генерал-губернатору Астрахани, сын бая, до того считавший свою семью могущественной, а себя – особым, ибо – наследник! – испытал глубочайшее разочарование в собственной крови. В собственном народе. Жизнь среди русских убедила его в том, что сила и хитрость являются главными залогом успеха что для людей, что для народов, и со свойственной юности гибкостью принял мысль о том, что будущее степняка зависит от «старшего брата», который, пусть и ведет себя, как хозяин, но сможет обеспечить покровительством. А может быть, даже, и поделиться со временем своею силою. Единомышленник хана Жангира по многим вопросам, касавшимся необходимых изменений в вековом укладе жизни кочевников, он увидел в них свою выгоду, но к тому же искренне считал эти изменения необходимыми для будущего своего народа, казавшегося ему слабым, отсталым, а порой и непроходимо глупым. Если и боялся он чего-то, так умело скрывал, наученный жизнью, свыкшийся в детстве с тем, что сама жизнь его была разменной монетой в большой политике империи и орды. При всем презрении его к степному укладу, к самому народу своему, тем не менее этот самый народ он любил, хотя никогда не признался бы в этом при прочих. Так любит ребенок отца-пропойцу, байстрюк – мать гулящую, а преданный собственным народом в руки завоевателя ребенок-заложник – своих предателей. К завоевателям же начинает испытывать благоговение и страх пред их силою. Однако ныне страх пересилил это благоговение, и превратился в ужас. Он узнал в этом Суркове – себя. Порой и сам ведь называл себя – русским, будто отрекаясь от собственной крови и рода, желая стать частью той силы и мощи, что представляла собой Империя. Империя, требующая веры в свою непогрешимость, и верности своим интересам. И сейчас увидел ханский родич и новый степной феодал Бабажанов, к чему может привести его собственный народ такие – вера, и верность.

+++

Подполковник Геке устал. С полусотней таких же усталых солдат – остатками экспедиционного корпуса, направленного Перовским в самую глубь Великой Степи, почти до самого Аральского моря, он выдвинулся обратно на запад, как только получил приказ со срочным гонцом, еще две недели назад, и за этот кратчайший срок сумел совершить чуть ли невозможное, добравшись до северных границ Бокеевской Орды. Здесь, согласно предписанию графа, встал лагерем, до дальнейших указаний.

Указания последовали прошлой ночью – в лагерь прибыл важный чин из новой столичной аристократии, статский советник Сурков, в сопровождении двух абреков грозного вида. Несмотря на лохотный вид, статский советник оказался крепким малым, и не пожелав даже малость отдохнуть, приказал собрать срочный совет в палатке подполковника. Абреков своих на совет привел, хотя и не по уставу это – не должно денщикам знать о планах и стратегиях военных. Видать, не простые это абреки, и доверяет им этот большой начальник, да и сам он явно не прост, и абрекам своим, жестокостью славным, ровня, коли первым же предложением своим поверг офицеров имперского экспедиционного корпуса в полнейшее смятение:

- Малую артиллерию направите на обоз...

Зашептали, загомонили русские офицеры, засверкали глаза на усталых лицах людей, последние, почитай, полгода, выживших благодаря кайсацкому гостеприимству. В степях приаральских не приходилось им ни грабить кочевой люд, ни иных непотребств творить – пастухи киргизские кормили и выхаживали израненных после стычки с одним из отрядов Кенесары Касимова русских солдат, и даже платы не требовали. Многие из солдат и офицеров впервые в жизни увидели быт и жизнь кочевого народа, играли с их детишками, пили шубат и кумыс, приготовленный их женщинами, а тут на тебе – на обоз пушки направить велют! Так ведь кто в обозе-то у киргизов завсегда? Понятное дело – дети да бабы, так можно ли?

Однако статский советник миндальничать не стал, строго так выговорил:

- Степняка в степи на большую баталию заманить сложно, почитай – невозможно! Именно по этой причине военный гений графа Перовского и создал этот великолепный план. С юга в нашу сторону направляется гурьевский гарнизон, объединенный с казачьим корпусом атамана Яблочкина, они, можно сказать, гонят перед собой армию Исатая Тайманова. Когда подойдут сюда, с северо-запада ударим мы, с востока – ваш отряд. Однако даже при таком раскладе есть угроза, что большая часть армии бунтовщиков сбежит, утечет, как вода сквозь пальцы, не ввязываясь в большое сражение, и сохранив основные силы. А значит, мы обязаны сделать все, чтобы предотвратить их уход, навязать им сражение, и покончить с бунтом раз, и навсегда. Для этого есть только один путь. Кайсаки чадолюбивы, ради семей своих рассудок легко потеряют, дисциплину нарушат, да и встанут на защиту своего обоза. Но сделают это только в том случае, если поймут серьезность наших намерений. А серьезность эту без крови никак не показать! Ясно ли вам, господа офицеры? Готовы ли вы исполнить свой долг перед царем и отечеством?!

Замолк ропот в палатке, потупились офицеры русские, в чьих сердцах сейчас боролись между собой честь, и долг, озвученный таким вот образом, и по всему разумению выходивший этой самой чести супротив. И тогда заговорил подполковник Геке:

- Мы, ваше превосходительство, долг свой знаем. Ни к чему эдак вот нам, не первый год в степи интересы империи кровью своей охраняющим, такие словеса. А коль надобно будет, так и сами словеса нужные найти горазды, среди наших и бывшие царскосельского лица птенцы имеются, не абы кто, самого Пушкина знакомцы, так ли, Тынянов?

При упоминании балагура и полкового поэта Тынянова офицеры заулыбались, сам «однокашник Пушкина» смущенно потупился, тоже, однако, улыбнувшись. Геке же продолжал:

- Однако согласно уставу русского офицера, не может и не должен русский солдат в детей и женщин из артиллерии стрелять, а значит – не будет! Ужо всяко этот – не будет! – уже жестко сказал подполковник, обведя широким жестом офицеров у себя за спиной, и глядя прямо в глаза статскому советнику. Тот взгляд выдержал, выдержал и паузу, затем спокойно ответил:

- Ну, то, что вы тут гордитесь службою в одних рядах с участниками декабристского бунта супротив государя нашего, карьере вашей совсем не поможет, это я вам обещаю. А всю малую артиллерию, что имеется в наличии вашего экспедиционного корпуса, полномочиями, данными мне генерал-губернатором оренбургским, графом Перовским, реквизирую. Будьте любезны сейчас же передать все пушечки в мое ведение... сколько их там у вас? Две? Вот и замечательно! И артиллеристов к ним в придачу, да по полной батарее! И чтоб кунштюков мне потом во время сражения не выкидывали, иначе солдат ваших забью батогами, а на вас, подполковник, рапорт незамедлительный подам вплоть до трибунала, и никакие ваши предыдущие заслуги вас не спасут, ясно? Вижу, что ясно. Да, прямо сейчас. И выходим в ночь, некогда время терять, будите батареи.

Гостеприимством вашим, подполковник, пользоваться не стану, иначе обяжет это меня, так что воздержусь. Надеюсь, что свой долг во время битвы выполните с той же честью, с какой нынче отказали государеву чиновнику. Ибо помните, что русским офицером вас делает вера – и верность! Как вижу, веру в поставленных вами руководить чинов государством российским вы потеряли, так буду надеяться, что хоть верность в вас – осталась.

+ + +

Кочевье растянулось аж на четыре версты, и это беспокоило Махамбета. А еще больше его беспокоило то, что Исатай, казалось, был происходящим вполне доволен.

- Агай, надо подождать, чтобы возы с юртами подтянулись, - направив коня вперед, в самую голову каравана, где ехал Исатай с десятком самых верных бойцов из числа родичей, крикнул он своему Старшему еще издали, и с раздражением отметил, как вождь повстанцев нахмурился. В последнее время большинство советов от Махамбета глава бершей воспринимал не то, чтобы явно в штыки, но с явным недовольством, а уж следовал им и вовсе редко. Ничего! – подумал Махамбет, - я достучусь еще до твоего сердца, Старший!

Подскакав, наконец, поближе, заговорил убежденно:

- Агай, нельзя так растягиваться, если что случится, нападут сзади – как защитим?

- А кто на нас сзади напасть может, Махамбет? Кого мы позади себя оставили? Гарнизон гурьевский? Ты что, в самом деле думаешь, что они сейчас следуют за нами? Успокойся, и оставь военное дело нам. Твое время поспеет, когда будем переговоры вести, людей убеждать, а сейчас займись чем ни будь... да, чем хочешь! – Исатай отчитал своего соратника при всех, безо всякой жалости, и обида ножом полоснула по сердцу акына – устал он терпеть такую несправедливость от названного старшего брата. Развернул коня, хлестнул камшой по крупу что есть сил, галопом помчался прочь, назад, туда, где так медленно, на его взгляд, плелись обозы с юртами, женщинами и детьми.

Исатай посмотрел ему вслед, покачал головой:

- Вот столько времени с нами в степи войну ведет, а так и не освоил воинское дело степняка! Слишком много книжек своих читает, про науку военную, как она у русских да прочих народов устроена. А как мы воюем, так и не понял до сих пор!

Жигиты-ветераны, прошедшие с Исатаем не одну битву, согласно закивали. И правда ведь – не в кучности сила степного войска, а как раз в растянутости, в том, что не может никакой враг степняка в его родной степи окружить, загнать в ловушку, вынудить к битве на своих условиях, если сам степняк того не пожелает. Даже если враги нападут на кочевье с тылу, конные жигиты всегда развернутся, опишут копытами коней обратный полумесяц на степной ковыли, ударят в тыл нападающему, и тот, кто мнил себя охотником, сам добычею станет. Но разве головой думает акын, которому важнее сердце? А сердце в войне слушаться следует только два раза – когда войну начать решаешь, и когда заканчиваешь. Первый раз – с яростью к врагу, второй – с милосердием к побежденному. Веками проверена Яса великого Шынгысхана, и нет лучшего способа ведения войны в степи, чем тот, которым воевал Великий Кочевник. Слишком много книг читает Махамбет, слишком много чужих мыслей набрал в голову, так и свои растерять недолго! Да еще с разбитым сердцем...

Исатай знал о тайне Махамбета – тайна для всех, она была открыта Старшему брату самим акыном, в надежде на сочувствие, понимание, но суровый воин, почитавший честь превыше всяких чувств, бывший полководец хана Бокеевской Орды, а ныне – изменник и

повстанец, сын Таймана никак не мог понять, и уж тем паче одобрить чувств своего младшего побратима. Отчитал он тогда Махамбета, и к советам его стал относиться с меньшим вниманием, потому как разуверился в разумности верного соратника, и теперь любых его предложениях искал изъян. Искал – и потому находил, и все более разочаровывался в своем побратиме, все чаще считал, что поступками и советами его руководит не польза делу восстания, но ненависть к хану Жангиру, как к мужчине-сопернику, которому достались и тело, и сердце женщины, отвергнувшей любовь буйного в своей страсти поэта.

Буйный же Махамбет, доскакавши до «хвоста» кочевья, еще больше взъярился, узрев меланхоличные, жующие вечную свою колючую жвачку морды верблюдов, навьюченных остовами юрт и прочим скарбом. Он на чем свет стоил ругал медлительных возчиков, требуя хлестать низкорослых «кормовых» лошадок, запряженных в возки и телеги. Дети с удивлением смотрели на коренастого, лысого дядьку с глазами на выкате, выкрикивающего слова, за которые тетушки и апашки не преминули бы и по губам дать, старики же, назначенные управлять «гражданской» частью каравана, не посмели пререкаться с тем, кого вся степь знала, как побратима Исатая и его самого верного соратника. Хлестко щелкнули семихвостые бичи по потным конским крупам, зычно крикнули погонщики верблюдов, ускоряя степенный ход горбатых «кораблей пустыни», и арьергард кочевья повстанцев значительно ускорился, подтягиваясь за ушедшей вперед армией.

+++

*Свирепеет дело хана,
слабо реет наше знамя,
ускользнули все успехи...
Но, накинувши доспехи,
бросив клич свой родовой
и, ввязавшись в ближний бой,
мы, с молитвами к Аллаху,
чтоб в бою не дать нам маху,
всем докажем: нет, не зря,
нами выбрана стезя.
Без отчаянья, друзья!*

Махамбет Утемисулы – «Без отчаянья!»

(перевод Б.Карашина)

+++

- Погодь, Макар, жди! Пушай исчо подсоберутся, покучнее! Ишь, прям как по писанному идут! Видать, немало свечек перед иконостасом-то выставил Статский Советник наш вперед похода, гляди, все по-евоинному выходит... - артиллерист Игнат Кучевой, из ярославских крестьян ушедший во солдаты аж целых десять лет назад, за годы службы научился понимать начальственную стратегию генералов, потому что, как сам любил говаривать, «артиллерист, он ить всю баталию со стороны зрит, и потому понимание

имеет, что да как в стратегиях делается». И сейчас делился жизненным и боевым опытом своим с молодым Игнатом, попавшим в армию из оренбургских разночинцев, и горевшим нетерпением пустить в ход запал.

Действительно, степняки, будто подыгрывая сурковскому замыслу, медленно, но верно сокращали растянутость своей колонны, когда передовые конные разведчики повстанцев заметили строй «черкесской сотни», и спешно воротились, чтобы доложить о том своим вождям. Вожди же, по степняцкому обыкновению, были недалече, в самой голове каравана. Ежели по-хорошему, по военной науке, так след сейчас из пушечки навесом то, да по самой по голове и пальнуть, строй разбить, да только наука та военная для степной войны вовсе не годная, прав господин статский советник. Рассеется враг по степи, утечет, аки песок сквозь пальцы, только ищи его, а надобно, чтобы скучился, бой принял. Умен, ох умен Его Превосходительство! А вот и сам он – подъехал на своем иноходце, в зубах трубочка, улыбается!

- Что скучаешь, служивый? Пальнуть, небось, ручки чешутся?

- Так точно, ВашСсходиссво! – рывкнул Макар Разночинец.

- Никак нет, господин командующий! – пробурчал одновременно с ним Игнат Кучевой, недовольно зыркнув на товарища по батарее. Ишь ты, ручки у него чешутся! Будто не знает, по ком пулять придется! По обозу, с бабами да дитями кайсацкими стрелять велено ить! Будто то не Макар в походе под морем аральским с лихорадкою когда слег, такие вот бабы степняцкие молоком-кумысом его выхаживали! Можя, разночинцы оренбургские добра и не помнят, а ярославский русский мужик Бога гневить не станет, солдатскую честь свою в размен не пустит! Что там наш статский советник велит?

- Батарея, наводи пушечку на обоз, да навесным – пли! – Сурков командовал, даже не глядя на артиллеристов, весь поглощенный желанной сердцу его картиной того, как хвост обоза почти окончательно догнал основную часть каравана, а справа, на дальнем горизонте, из-за невысоких холмов появились фигурки конных казаков атамана Яблочкина. Батарею, забранную у подполковника Геке, и переданную в распоряжение казачьей позиции еще ночью, почитай, под самое утро, отсель было не видать, однако граф Сурков был уверен, что она там, на месте. Иначе и быть не могло! И скоро она выстрелит, но первый выстрел должен исходить отсюда, с передовой позиции. Только так он мог рассчитывать сам достать вожака бунтовщиков Исатая Тайманова!

Игнат Кучевой дождался, пока Макар не зажег запал, и только тогда сместил прицел пушечки чуток налево. Разночинец с удивлением посмотрел на товарища, открыв было рот, но по жесткому взгляду и встопорщившимся рыжим усам старшего бомбардира понял, что лучше нынче промолчать. Молча запалил фитиль, зажал уши. Игнат руками ушей зажимать не стал, спокойно достал из-за манжеты восковые комочки, вложил в уши, руку же приставил козырьком к ко лбу, вглядываясь в направлении кочевья, туда, куда не должно было угодить ядро.

Так и случилось – взметнув в степное небо комья иссохшего дерна с ковылем, ядро упало и разорвалось чуть ли не за треть версты от обоза, напугав ящериц да сусликов, но не причинив ни малого вреда кайсацкому каравану. С восковыми пробками в ушах, Игнат улыбался увиденному, и не слышал, как за его спиной ругается господин статский советник, как наклонившись с седла, трясет за плечо Макара Разночинца, и аж кричит тому в ухо, вопрошая: - Один с пушкой справишься? Стрелять сможешь? А Макар кивает в ответ, жмурясь от страха перед гневом высокого чина. Игнат Кучевой смотрит на дело рук своих – почти не заметных отсюда, но спасенных кайсацких баб да детишек, и улыбается, и вовсе не слышит, как господин статский советник приближается и останавливает коня прямо у него за спиной, вытаскивая свой пистолет с серебряными

накладками на рукояти, на которых в далеких кавказских горах выгравировали имя Аллаха, Милостивого и Милосердного! Не слышит выстрела, прозвучавшего в упор, в затылок. Так и умер, улыбаясь, и рухнул улыбкой в степную землю, в ковыль, а по телу его протоптались копыта черкесской сотни, отправленной в лобовую атаку на караван бунтовщиков.

+ + +

- Кузьма! Ничайный! Ты, штоль, в Крыму-то, из кулеврины палить обучен был? – Яблочкин стоял перед связанным Тыняновым, старшим артиллеристом при батарее, что ночью была доставлена в его распоряжение приказом графа Суркова.

- Ну, я, а чо? – Кузьма откликнулся, и предугадав следующий приказ атамана, принялся спешиваться, радостно улыбаясь – этого казака хлебом не корми, дай токмо из пищали пальнуть!

- Так поди, глянь, что за пушечка такая! – велел Яблочкин, все еще не сводя глаз с Тынянова. Вот ить предупреждал его засланец сурковский, что артиллеристы армейские, даром что барского роду-племени, а могут отказаться приказ выполнять. Так и вышло – как скучился обоз кайсацкий, да настало время по приказу графа стрелять навесными по арьергарду каравана бунтовщиков – барин-жид взбунтовался. То, что барин – еще и жид, он сам по наивности своей, казакам утром еще сказывал. Родом, говорил, из бессарабских помещиков, что еще при Екатерине-матушке православие приняли. Так и что теперь? Хоть и из выкрестов, а все одно, жидовское племя, завсегда подведет и продаст, как Христа продали, паскуды! – думал атаман. В смелости, правда, жиду не откажешь – с одним пистолетом да сабелькой пытался казакам супротив стоять, к пушке не подпуская, да где там! Ткнули его пикою в бедро, сабельку выбили, пистолет отобрали, связали, на суд атаманов поставили. А тут уж и Бог рассудил – пика, видать, бедро барское вспоров, в жилу угодила, отворила кровушке путь, гляди, кака лужа темная натекла, аж из сапога переливается, пяти минут не пройдет, и преставится артиллерист, что против государя бунтовать удумал. И даже сейчас, гляди, умирает, а все еще бунтует!

- Вы... Зачем так? Чего со степняками не поделили? Что вам с приказа государя, который к тому же никонианец, и веры вашей, старообрядческой, не признает? А ведь с этими – под одним небом, в одной степи живете? Нечто вам степи на всех мало? - умирает барин-жид, а вопросы задает опасные, ох опасные! Жидовскую измену свою, гляди, на православных казаков передать хочет, по самому больному бьет. Ан нет, шиш ему, а не бунт казацкий!

- Степь-то, можа, и большая, можа, на всех и хватит. Да токмо... - Яблочкин приблизился к умирающему артиллеристу так близко, что даже почувствовал его угасающее дыхание: - Токмо нехристи они, понял? А государю мы присягу приносили! Он нам степь эту в откуп отдал. Так что расклад нынче такой – или мы, или они! Кузьма?!

- Чегой тебе, атаман? – Кузьма Ничайный, не получивший артиллерийского образования, однако во время крымской кампании обучившийся стрелять из кулеврины, по своему разумению уже зарядил да навел пушку в направлении кайсацкого обоза, и ждал только команды.

- Пли! – сказал, как выплюнул, атаман Яблочкин.

- Получай плю! – хохотнул казак-бомбардир, и поднес запал к фитилю. Про уши-то забыл, и как грохнула пушечка, что всем уши заложило, а дыму столько было, что хоть топор вешай! Когда дым рассеялся, оказалось, что барин-жид уже и помер. Пушечку же только чудом не разорвало, однако выстрел, как ни странно, получился удачным – ядро, пущенное с вершины холма, полетело прямо, и угодило в самую крайнюю телегу обоза

бунтовщиков. Угодило, и разорвалось, отправив к Богу ли, черту ли, или туда, куда направилась душа жида-выкреста, душу кайсака-старика, что за вожжами правил, двух кайсацких бабенок и пятерых детей, из которых самому малому и года не случилось. Слезящимися от порохового дыма глазами атаман Яблочкин оглядел проступавшие в белесых клубах суровые лица своих бойцов, да и скомандовал:

- По коням! В атаку! За государя! За веру!..

+ + +

Когда раздался первый выстрел, Махамбет еще находился в самом хвосте каравана, продолжая торопить и подгонять отстающий обоз. Взрыв, случившийся за треть версты впереди и справа, не напугал никого так сильно, как вдруг побледневшее лицо акына.

- Не болды, агай? – спросила сидевшая на открытом переднем краю кибитки молодка, пытавшаяся успокоить грудного ребенка, проснувшегося от звука выстрела. Телегой управлял кривой на один глаз старик, который, казалось, был еще и глух, поскольку ни один мускул на лице его не дрогнул от грохота разовравшегося ядра. Но так только казалось – лицо его вмиг сделалось испуганным, когда раздался голос немолодой женщины, видать, свекрови молодки, выглянувшей из кибитки, цыкнувшей на невестку, и в свою очередь спросившей у Махамбета тоже самое:

- Что такое случилось, агай?

- Не знаю... бегите! – последнее слово Махамбет уже выкрикнул куда-то назад, во весь опор пустив коня галопом вперед, туда, где должен был находиться Исатай. Путь ему преградили резко остановившиеся и смешавшиеся между собой телеги и кибитки обоза, сгрудившиеся в немалой степени по его вине, и тут послышался свист второго ядра, а затем – взрыв где-то невдалеке за спиной. Оглянувшись, Махамбет с ужасом увидел, как в сотне шагов позади, во взметнувшемся снопе огня разрывается телега с молодкой, кормившей ребенка. Тело старика, сидевшего за вожжами, вернее – только верхняя его половина, будто упала с неба ровно на полпути между Махамбетом и местом, где находилась кибитка.

- Бегите! Бегите! – еще громче принялся кричать Махамбет, и тем самым только усилил царящую в обозе неразбериху. Верблюды, напуганные близким взрывом, храпели и бились, кони, напуганные поведением верблюдов, позабыли слушаться вожжи, и в караване началась сумятица, телеги путались упряжами, кто-то, попытавшись бежать сам, спрыгнул с телеги, упал, и тут же оказался раздавлен под тяжелыми лапами раздраженного верблюда-нара. Вой женщин и детей пугал сильнее, чем ожидание следующих громов с неба и взрывов.

Наконец, впереди показался просвет меж телег, и Махамбет направил своего коня туда, в надежде вырваться и помчаться дальше, на помощь к своему Старшему.

А помощь Старшему и вправду была нужна.

+ + +

Когда раздался первый выстрел из пушки, Исатай мгновенно принял решение – отправил одного из своих жигитов назад с приказом для основной части армии развернуться и окружить обоз с семьями, и если последует нападение с флангов или тыла, немедля разделиться и атаковать, сам же велел сотне тех, что были с ним, бойцов, скакать вперед, туда, к позиции батареи, первой открывшей огонь.

И в лобовой атаке столкнулся с «черкесской сотней», ведомой графом Сурковым. Впервые встретились на поле боя – вольная Степь, и непокорный Кавказ! Только вот беда

– седые горы, родина воинов и смутьянов, отторгла когда-то этих своих сыновей, и сейчас они, продавшие непокорное пламя бойцовского духа, несли вольной степи кандалы от своего имперского хозяина. Надсмотрщик этого хозяина, носитель кавказской крови, пошедший на добровольное рабство, ныне сам желал всех видеть рабами, непокорных же осуждал на смерть, и приговор этот исполнял сам, незамедлительно – трижды выстрелил он из своего пистолета, и трое верных жигитов Исатая упали с коней без жизни, когда же выхватил булатный клинок свой, украшенную червленим серебром с именем Всевышнего, и принялся прорываться сквозь гущу сабельного боя к Исатаю, стало ясно – достойный противник, истинный враг, несущий гибель Свободному духу, стремится сам, лично уничтожить главу повстанцев!

Исатай от боя с графом не бежал, но верные жигиты его, родичи кровные, соратники, бросались первыми вперед, чтобы не подпустить смертоносного статского советника к своему вождю. И погибали – слишком хорош был граф-чечен, искусство убийства впитал с молоком матери, отточил в баталиях, в которых и сделал себе карьеру, к тому же был умен, и где того требовала боевая задача, в схватку не вступал, доверяя сражаться с особо сильными да буйными врагами таким же, как они сами, сильным и буйным воинам своим. Сам же преследовал одну цель, которую ставил превыше всего в этой битве – лично, своею рукою умертвить вождя повстанцев!

Когда же второй выстрел раздался, пришлось Исатаю самому повернуть коня, и скакать обратно, чтобы возглавить основную армию для защиты обоза с семьями.

+ + +

Полковник Геке услышал второй выстрел, поморщился, подобрал одной рукой поводья, другой поднес к глазам подозрную трубу голландской работы – подарок Светлого Князя, наследника Государева, Александра Второго, за участие в княжеском кортеже через Оренбург в бытность Карла Карловича офицером по особым поручениям при генерал-губернаторе Эссене, и сейчас пригодившийся как нельзя кстати. Сквозь чудесное стекло фламандских мастеров приблизилась картина ужасной гибели кайсацкого семейства от взорвавшегося пушечного ядра, стало видно, как заматались в панике люди, не зная, куда податься на открытом лице степи от смерти, способной рухнуть с неба железным ядром. Спустя какое-то время стало ясно, что армия повстанцев ничуть не в панике, но дело свое знает – полумесяцем, расширяясь, двинулись они в сторону, откуда раздался второй выстрел, и двинулись быстро! Немногие же оставшиеся с обозом бойцы погнали весь обозный караван в противную сторону... прямо на его позиции!

- Что прикажете, Карл Карлович? – капитан Лановой находился рядом, с трудом удерживая молодого своего жеребца – удачное приобретение для конкура, но никак не степных военных кампаний, уж очень беспокоен был конь. Лановой так же пользовался своею подозрною трубой, аглицкой, купленной в Петербурге, и уступавшей «голландке» в дальноточности, однако представление о поле боя дающей вполне сносное. Вон, по капитану видать! – В конную бы атаку, как считаете?

- Ничуть не считаю, Василий Иванович, ничуть! – покачал головой Геке, и вдруг выдал неожиданное:

- Всем спешиться. В штыковую! Коней вести на поводу, как обоз приблизится – стрелять в воздух, а ежели не побегут – пропустить через строй, после чего можно и в конную. Передать приказ полку незамедлительно!

- Карл Карлович, трибунал же за такое! Статский советник этот, аспид, сгноит ведь, самое малое – разжалуют, а может, и того хуже!..

- Ты, Василь Иванович, за мою карьеру не бойся, когда я тут за свою офицерскую честь боюсь! Просто следуй приказу, тебе-то что грозит? Скажешь, ежели что – мол, это все полковник, а мы не при чем... - тихо произнес Геке, и только тут понял капитан Лановой, как сильно вымотала эта аральская кампания, перешедшая в карательный поход против бунтовщиков, Карла Карловича. Полковник медленным движением провел рукавом по лбу, вытирая вездесущую летнюю степную пыль, безо всякого выражения посмотрел на грязную манжету.

- В Оренбурге отстираемся, Карл Карлович! – неловко попытался развеселить полковника капитан Лановой, да осекся, увидев глаза Геке.

– Запачкались мы нынче в этой войне, Василь Иванович, и не отстираться теперь, никакая прачка не поможет. – тихо пробормотал полковник, и добавил, уже во весь свой натруженный, офицерский, командный голос: - Выполнять приказ! Всем – спешиться!..

+ + +

Исатай и Махамбет столкнулись у самой головы каравана, когда раздался третий выстрел – казак-пушкарь Кузьма заряжал споро, не в пример новичку Разночинцу, оставшемуся в одиночестве у своей батареи в тылу конной атаки статского советника. Однако же, скоро заряжать – не значит, стрелять метко, и этот выстрел не долетел до каравана, разорвавшись аккурат промеж летящих друг другу навстречу конных – казачьей атаки, возглавляемой атаманом Яблочкиным, и спешащего отрезать их от обоза отряда конных степняков-повстанцев. Никого не задел, только передовых коней зря попугал Кузьма-бомбардир, и все же Исатаю этого было достаточно, чтобы определить расклад с артиллерией противника:

- С востока пушек нет! Веди туда караван, Махамбет! Я отряд Берика возьму, вокруг поскачу, с боку на батарею ударю...

- Нет, агай! С караваном ты уйти должен! Дай мне отряд повести, а ты уходи, без тебя наше дело не выживет! – Махамбет не просил – умолял Старшего своего хоть сейчас довериться ему – несмотря на все совершенные ошибки, на все недовольство – поверить и доверить умереть за него, Исатаю, здесь, на этом поле битвы. Однако Старший был непреклонен, и даже более того – подъехав на коне вплотную, резким движением потянулся к Махамбету, схватил за грудки, притянул к себе, словно куль с сеном:

- Смерти ищешь, сын Утемиса, или прощения моего? Думаешь, одною смертью все ошибки замолить? Нет такого на войне, и не бывает! Если же прощения ищешь – так не за что мне тебя прощать, брат мой, а только жить ты должен, потому что если меч восстания – я, то ты – душа его, понял? Возьми полсотни бойцов с собой, и уходи! Кайыржан! Пятьдесят человек с Махамбетом, сопровождайте обоз на восток, в Сарыарка поведете всех, подальше... оттуда уже к хану Кенесары направитесь – главное сейчас, людей увести! А ты слушай меня, сын Утемиса! Сына моего на своего коня посадишь, понял? И чтобы живым его вывез отсюда! Дай слово! Чего молчишь? Слово дай, говорю тебе! Требую – как Старший у младшего своего, обещай, что сына моего выведешь! Сделаешь?

Исатай не кричал – рычал барсом разъяренным на когда-то могучего батыра, акына с пламенным сердцем, которое в последний год было разбито, и тлело под золой ненависти к себе – такому, и рык этот возвращал его, Махамбета, сына Утемиса, воина и певца Степной Вольницы, того, кому Старший побратим и вождь доверил самое ценное – жизнь своего сына!

- Выведу, агай! Будь спокоен! Но только и ты со мной пойдешь! Иначе – пускай сына твоего сам Кайыржан и выводит, а я рядом с тобой драться останусь! Восстанию нашему меч Исатаю потребен не меньше домры Махамбета, или неверно говорю сейчас, Старший?

– говорил акын, и голос его звучал так, как прежде, как всегда, когда сердце его горело, и никто не думал спорить со словами Махамбета, идущими от этого пламенного сердца.

- Верно говорит, Исатай-ага, вы должны уходить вместе с обозом, а казаков с этими... шайтанами... мы остановим, задержим! Так – правильно! – вмешался в разговор Берик, весь в крови, чужой и своей, с обломком кылыша-сабли в руке, он подскакал только что, и услышал только последнюю фразу, но все и так было ясно опытному воину.

- Кого ты этим остановишь? – возмутился Исатай, указывая на обломок, но Берик только усмехнулся, и страшно смотрелась эта усмешка сквозь маску из свежей крови, заливавшей лицо степняка: - А ты мне свой меч дай, Исатай-ага! Я человек бедный, у меня другого нет. Ни меча другого, ни вождя другого нет у меня, так что дай мне свой кылыш, и оставь выполнять свой долг, а ты – выполняй свой, веди нас к свободе, как обещал!

- Ты мне еще про долг мой напоминать будешь! – возмутился было Исатай, но впервые – смутился внезапно, и порывисто, словно не давая себе возможности изменить решение, вытащил из ножен кылыш-саблю, перехватил у основания клинка, протянул рукоятку к Берику: - На, забирай! Ножны у себя оставляю, так что – вернешь потом. Понял?!

- Да понял я, агай, понял все! Идите, жол болсын! – напутствие Берика было еле слышно сквозь топот копыт – он уже скакал туда, в самую голову каравана, где продолжался бой между черкесской сотней и авангардом колонны повстанцев.

Исатай проводил Берика взглядом, затем вдруг схватил коня Махамбета под уздцы, и рысью повел своего скакуна вперед, к большой телеге, на которой ехала его семья. Подъехав, наклонился с седла, поднял сильными руками сидевшего возле жены пятилетнего бутуса – самого младшего, любимого сына, резко посадил его в седло за спиной Махамбета. И вновь посмотрел в глаза младшему побратиму:

- И все-таки... пусть с тобой едет. Я так хочу...

Сказал, отвернулся, и уже не оглядываясь, поехал в направлении, откуда еще не стреляла пушка, и весь караван, разворачиваясь, следовал за ним туда, на восток... К штыкам полковника Геке!

+ + +

Две сотни жигитов, каждый из которых знал, что остается умирать. Но умирать легко им тоже было нельзя – надо было протянуть как можно дольше, забрать с собой на тот свет как можно больше, потому что каждая минута их жизни - это задержка для преследующих, а каждый убитый враг уже не сможет преследовать Исатая, уводящего караван прочь из этой чудом устроенной ловушки в казавшейся бескрайней степи.

Против казаков с пушкой, стрелявшей с западной стороны, отправился Кайсар, один из дальних родичей Исатая, славный батыр и палауан, однако уже в годах. И все же опыт боевых стычек с казачьими разъездами и ватагами барымтачей, состоявшим как правило из беглых реестровых казаков, оказался решающим – разделив свою сотню надвое, одну старый сарбаз пустил в обход, сам же атаковал казаков в лоб, заставив увязнуть в сабельной схватке, и тем самым выиграл время для второго отряда. Описав широкий полукруг, пятьдесят жигитов на полном скаку снесли позиции казачьего резерва, по ходу нанизав на пику пушкаря Кузьму, и ударили в тыл отряду атамана Яблочкина. Сам Яблочкин с саблею в руке бросился на Кайсара, вооруженного старинной булавой, бился отважно, однако же был сбит с коня мощным ударом деревянного шокпара, утыканного медным заклепками, и погиб под копытами. Не только атаман, да и вся казачья сотня

погибла бы в этот день под яростным ударом степняцкой конницы, мстящей за пушечный расстрел каравана с их семьями, если бы не горцы графа Суркова.

Верный исатаев товарищ, Берик вел своих против сотни конных дьяволов, сражавшихся не как русские, но скорее подобно самим степнякам, отчаянно, без явных воинских построений и при этом с явной военной дисциплиной. Так сражались реестровые казаки, но на этих была форма, какую носят гарнизонные солдаты. И оружие у них было много лучше казачьего. И дрались они много лучше. «Ровно как мы бьются, шайтаны, будто не они на нашу землю, а мы на них напали!» - подумал Берик, и была эта мысль для него последней – потому как дальше ни о чем думать не получалось, сам господин статский советник схватился с ним в сабельном бою. Искры высекались от столкновений булатной стали кубачинской работы в руках графа, и старого, добротного кылыша, кованого три столетия назад в далеком Дамаске, захваченном при нападении на караван, идущем по Шелковому Пути, и доставшемся в наследство Исатаю от отца, Утемиса, а тому – от его отца, и так до самого их предка, что получил его в дар от Шейха Ахмеда, последнего хана Улы Орды. Сейчас этот клинок пел свою последнюю песню в опытной руке Берика, дальнего родича Исатая, по праву держащего этот кылыш, по праву обнажившего его. Но не право, и не правда правили в этот день. Один из лучших фехтовальщиков империи, граф Сурков уроки конного сабельного боя брал у отставного капитана французских улан, державшего когда-то свою школу в Париже, ныне же обретавшегося в графском имении, и помимо казенного содержания за службу при подготовке кавалеристов для армии, еще и служившего ментором графских сыновей. Французская школа боя – лаконичная, впитавшая в себя батальный опыт множества войн и народов, ведших бой мечами и верхом, и навык драки на саблях сидя в седле, без которого не выживет ни один степняк, назвавшийся воином, сошлись в смертельной схватке за правду, но не клинкам было суждено решить этот спор. Караван уходил, а с ним и Исатай с Махамбетом, а значит следовало покончить с этими отчаянными степняками как можно скорее, и даже природное любопытство не стало достаточным поводом, чтобы продолжать этот бой. Подняв коня на дыбы, статский советник прекратил обмен сабельными ударами, а когда все четыре копыта его боевого коня коснулись побагровевшей от крови земли, в его руке уже был выхваченный из специального седельного кармана второй пистолет, державшийся в запасе для особых случаев. И выстрелом в упор, прямо в сердце, граф Сурков прекратил эту схватку, чтобы оглянуться, и убедиться: вовремя! Хоть и погибал вот уже последний степняк из этого отряда смертников, что пришли сдерживать горцев, но меньше сорока оставалось из всей «черкесской сотни», и пушечкой управляться уж некому, а караван уходит, уходит вместе с Исатаем и всей верхушкой этого восстания... Правда, не куда ни будь, а по его, Суркова, плану, идет прямо на корпус полковника Геке, но Карлу Карловичу статский советник нынче не доверял. И все же, прежде чем броситься преследовать бунтовщиков, следует покончить с одним делом, дабы не оставлять врага за спиной! И бросив гортанный клич, статский советник ринулся в еще одну атаку, туда, где в жестокой схватке бились казак и кайсак.

Будто молотом по наковальне, ударили остатки черкесской сотни прямо в тыл увлеченным боем степнякам, по пути успев перезарядить пистолеты, и меткими выстрелами своими решившими исход и этого боя. Кайсара, добивавшего очередного казака своим страшным шокпаром, Сурков уложил сам, с прочими же покончили его бойцы, да и сами остатки казачьей сотни атамана Яблочкина, при виде такой поддержки, воспряли духом. И вот уже чуть ли не с полной сотней летит, втаптывает копытами в степь ее же пыль, словно свободолюбивые слова вталкивает арестанту смутьяну в глотку, граф Сурков, статский советник по особым поручениям, вослед уходящему на восток каравану бунтовщиков, самолично убивший сегодня уже двоих вождей этой смуты, и желающий этот счет увеличить!

+++

Полковник Карл Карлович Геке вел свой полк в бой, находясь в самом центре цепи. В голове его крутились слова «Песни об орыс батыре» - степняцкое творение дошло аж до киргизов Приаралья, и там-то его полковник и услышал в юрте одного местного бая. Уважение к победителю, сочетавшееся с горьким упреком за нарушение чести по отношению к побежденным удивительным образом коснулись души кадрового офицера, служаки до самых костей, каким он себя считал. Казалось бы, стыдиться нечего, выполнял свой долг, приводя в подчинение подданных государя императора, как и полагается согласно присяге, однако же – было стыдно!

Размышления прервали показавшиеся в пределах видимости степняки – уже без всякой помощи подзорных труб можно было разглядеть и кибитки с семьями, и идущих за ними верхом конных жигитов. Жестом подозвав идущего рядом Ланового, приказал:

- Велите цепи расступиться ровно здесь, по середине. И дать залп в воздух, и сразу перезарядиться, готовиться к стрельбе верхом. По команде!

- Зачем это, Карл Карлович? – Лановой удивился.

- Затем, что может, кто-то веру в нашу честь и потерял, а я так остался и буду впредь русским офицером. Который с женщинами и детьми воевать не привык, и привыкать не намерен. Степняк же за ними прятаться не станет. Обоз с семьями пропустим. А там... закончим эту баталию – здесь, и сегодня. По нашим правилам. С честью закончим. Передавай приказ по цепи – расступиться по центру. В воздух – пли! Перезарядиться! И – в седло!

+++

Исатай увидел цепь солдат, идущих будто в штыковую. Увидел, как цепь остановилась, расступилась, образовав проход, достаточно широкий, чтобы пропустить по четыре телеги в ряд, будто приглашающий пройти... раздавшийся выстрел был в воздух, но дал понять – приглашение то не для каждого. Увидел, услышал, понял – и принял решение.

- Бауыр, ты помнишь, что мне обещал? – спрашивая, он не смотрел на Махамбета. Взгляд его был устремлен вперед, пытаясь высмотреть в цепи того, кто все это придумал. Старый воин испытал невольное уважение к противнику, загнавшему его в ловушку, и предлагающему покончить этот бой с честью.

- Помню, Старший! И я выведу твоего сына! – голос Махамбета звучал уверенно, а вот выглядел акын и батыр совсем не хорошо – лицо посерело от пыли, глаза будто кровью налиты, руки бессильно сжимают рукоять меча в стареньких ножнах на бедрах.

- Вот и хорошо! А теперь... Отдай мне свой меч, Махамбет. – Исатай сказал, и протянул руку.

Махамбет не задумываясь, отстегнул ножны, протянул Исатаю, оглянувшись за спину, посмотреть, как там мальчишка, доверенный ему. Мальчуган сидел, крепко ухватившись руками за махамбетов поясной кушак, ноги же его будто вросли в лошадиный круп – не отдерешь! Успокоился. Потом вдруг опомнился будто:

- А я, Старший... совсем ведь без оружия остался?

- А тебе и незачем брат мой. Драться мы сейчас не собираемся, просто негоже вождю, да без меча, а я свой Берику отдал. Потом заберу... куда-нибудь буйырса... Если Всевышнему будет угодно... Давай, торопись, вперед, пока нам проход дают! Гей, все – вперед!

Будто только этого приказа и ждали от Исатая – ринулись в образовавшийся проход кибитки и телеги, несущие женщин и детей, верблюды, груженные скарбом, и даже

конные жигиты стягивались к проходу этому, будто песчинки в горлышко песочных часов, отмеряющих чьи-то последние минуты.

Когда последняя кибитка прошла цепь, весь полк был уже на конях. Регулярная русская армия, экспедиционный корпус, солдаты, наученные линейной стрельбе на аглицкий манер, из седла, они держали на прицеле каждого степняка, что был вооружен и на коне, и Махамбет, казалось, начал понимать, но мальчуган за спиной, вцепившийся крепко в поясной кушак, не позволял забыть о данном обещании. К тому же – вот он, Исатай, всего в каких то тридцати шагах сзади едет, ему велел идти вперед, а сам сказал что за жигитами приглядит.

Глядит! Прямо в лицо ему глядит человек с таким усталым выражением лица... таким знакомым... Это же Геке, полковник! Тот, что побил их в прошлом году. Карла Карловича Махамбет видел лично, и даже был представлен еще в годы службы у хана Жангира наставником его сына, в Оренбурге. Знакомство это было мимолетным, однако умное, волевое лицо степного акына Карл Карлович запомнил хорошо. И знал, кем он был, этот Махамбет Утемисов. Знал и того, кто ехал чуть сзади. Исатай Тайманов, вождь повстанцев. Два главаря бунта, с которым можно покончить здесь и сейчас – дай только приказ, а одного хоть сам уложи – стрелок Геке был отменный, и пистолет, и ружье у него были под рукой, однако... Махамбет Утемисов был без оружия, к тому же спиной у него сидел мальчишка. Ребенок, четырех то ли пяти лет от роду, и ежели стрельба начнется, значит, и мальчишку, как пить дать, заденет. И быть написанной еще одной песне об орыс-батыре, русском солдате, что в детей пальбу ведет...

+ + +

- Палите, черти! Всех под трибунал высочайший! И полковника этого – первым! Палите же! – Сурков не кричал – сипел, сорвавши голос, но находящийся в пяти сотнях саженой от него полковник Геке не мог его слышать, даже если бы он кричал в полный голос – в степи поднимался ветер, и дул он прямо в лицо господину статскому советнику.

Впрочем, верным черкесам приказ в голос и не требовался – они научились понимать своего командира по одному только виду его напряженной спины, и выстрелили сами, а за ними и казаки подтянулись, открыв пальбу в спину киргизским жигитам.

+ + +

Когда раздалась выстрели сзади, Махамбет уже прошел через проход в цепи. Задумавшись о Геке, не заметил, как Исатай остановил коня, и остался далеко за спиной. И тут раздался приказ:

- Цепь сомкнуть!

- Есть цепь сомкнуть, Карл Карлович! - Лановой доложилась чуть ли не сразу – обученным солдатам экспедиционного корпуса понадобилось каких-то полминуты на восстановление строя, и вот перед бунтовщиками – конная стрелковая линия, полк, за которыми пылит, уходя в степь, караван с семьями.

- Пли!

Карл Карлович выкрикнул приказ, и сам первым выстрелил. Исатай Тайманов, вождь степного восстания, успел вытащить клинок из старых, потрепанных ножен, только на треть, когда пуля из немецкого ружья «фамильной» работы – так же подарок Светлого Князя после памятной охоты в степи на сайгаков – достигла цели. Пробила кольчужный доспех, вошла в плоть, в сердце, и застряла в позвоночнике, перебив нервы, заставив гордого вождя Вольной Степи раскрыть рот в беззвучном крике от невероятной боли, и выгнуться навстречу синему степному небу, будто моля о чем-то... то ли Всевышнего

Пустынного Бога, то ли – самого Тенгри... Потерявшая связь с мыслью, доселе управлявшей ею, рука, что держала меч, будто вложила его обратно, другая же бессильной плетью повисла, отпустив удила лошади, которая по-своему поняла – и понесла! Расслабившиеся бедра уже не держались за лошадиные бока, ноги выскользнули из стремян, лошадь же, чуть не наскочив на самого полковника, в последний миг повернула и ускакала, оставив на земле тело того, кто был первым клинком Вольной Степи, а ныне оказался поверженным в ее пыль.

+++

Эти последние сажени, когда цепь позади него сомкнулась, Махамбет проехал, будто в каком-то странном сне, даже мороке, будто не он это сжимал поводья, не его бедра привычно сжимали бока усталого коня. Он не оглядывался, когда прозвучал выстрел, унесший жизнь Исатая. Оглянулся мальчишка, сидевший за спиной, и уже его голос, даже не крикнувший, а как-то жалобно пискнувший «Аке!» будто пробудил от странной мороки, пришло понимание того, что же именно сейчас произошло. И вместе с этим пониманием пришло и другое – оглядываться сейчас нельзя, ни за что, потому что...

+++

Статский советник опоздал. После рокового выстрела, обезглавившего бунт, степная армия уходила, утекала, как песок Нарына сквозь жадные пальцы империи, пытающейся жадно удержать все, что только попадало в пределы ее досягаемости. Падали без жизни из седел многие жигиты, настигнутые пулями из ружей кавалерийского экспедиционного корпуса, расстрелянные первым залпом чуть ли не в упор, но еще больше успевало уйти в бескрайнюю степь, раствориться в ней, чтобы потом встать в ряды армии Кенесары Касымова, и снова чинить бунт против империи. А все потому, что столь хитроумно задуманная и тщательно подготовленная операция сошла на нет из-за глупых, ненужных в такой войне понятий о чести офицеров одного экспедиционного корпуса. Из-за того, что некий полковник услышал о себе степняцкую песню. Впрочем, о последнем сиятельный граф Сурков не ведал. Бешеная ненависть по отношению к Геке он сковал в ледяной панцирь выучки потомственного царедворца, призвав весь свой талант успешного карьериста и воинскую дисциплину. Мсть может подождать, тем паче что тело поверженного врага лежало у ног того, кому сейчас уже никакой трибунал не страшен – и без того благоволивший к полковнику Геке, Перовский теперь нипочем не даст в обиду одного из лучших своих боевых офицеров. И ведь никакие доводы, что можно было уничтожить не часть, но всю мятежную армию, не убедят теперь генерал-губернатора, относившегося к этому восстанию как к досадной помехе перед его грандиозными планами на хивинскую кампанию. Глядишь, еще и наградит своего любимца, благо, сам Светлый Князь к этому служажке симпатию питает!

Все эти мысли в единый миг пронеслись в голове статского советника, умевшего мыслить скоро, и так же быстро принимавшего решения. Осадил разгоряченного бешеной скачкой коня прямо перед Карлом Карловичем, чуть ли не потоптав тело главаря смутьянов копытами. Выдавил сухую улыбку, просипел сорванным голосом:

- Поздравляю, Карл Карлович! Одним, я так понимаю, выстрелом, индальгенцию себе добыли. Видать, знатный вы охотник, о том еще Светлый Князь сказывал.

Полковник не ответил, только сжал губы, посмотрел сурово. Несмотря на победу, он понимал шаткость своего положения, и то, какого могущественного врага в лице этого царедворца заполучил. Степной вождь и достойный враг, Исатай Тайманов смертью своей заплатил за честь полковника, за то, что тот позволил уйти каравану с семьями. Позволил уйти Махамбету Утемисову с мальцом в седле... видать – сыном...

- Где второй вожак смутьянов? – сипя, и словно о чем-то незначительном, полубоопытствовал статский советник, безуспешно пытаясь высмотреть среди мертвых тел степняков знакомого ему лишь по описаниям Махамбета Утемисова. Полковник молчал, еще сильнее сжав губы. Сурков привстал на стремянах, взгляделся в уходящий в облаке пыли караван за спинами сомкнутой кавалерийской цепи...

+++

...Потому что там, позади, поджидает Судьба. Куда-то тамак, божья жертва, сегодня принесена не им, но тем единственным, который должен был выжить и вести восставшую степь к победе. Судьба же требует исполнения предназначений. Двое возглавили смуту, и двое должны погибнуть, чтобы быть воспетыми в песнях, чтобы зажечь своей смертью пламя яростного негодования, чтобы сам хан Жангир понял, из чьих рук он принимает власть над собственным народом, предавая его. И если оглянуться, то можно встретиться с этой Судьбой взглядом, увидеть собственную смерть, и исполнить то, зачем явился в этот мир, и если уж жизнью не смог избавить свой народ от кабалы, искупить цену ошибок своей смертью!

Но через плотную ткань чапана чувствуется бьющееся сердце ребенка, сына старшего побратима, того, кто доверил это сердце ему, Махамбету. И он обещал, что ребенок – будет жить! Чтобы ни случилось...

Судьба и преданность данному слову боролись в его сердце, умиравшем уже сейчас, превращавшимся в холодный камень, бьющийся все медленнее, спокойнее, будто нет скорби от потери побратима, нет горечи от поражения, и вообще ничего уже нет, кроме другого сердца, детского, которое должно продолжать биться...

Но никогда еще честь и долг не побеждали Судьбу, и на этот раз случилось так же. Когда сердце, вконец окаменев, будто остановилось, когда все чувства умерли, и даже стук детского сердца отошел куда-то вдаль, перестав беспокоить, он потянул поводья. Остановился. Медленно, будто не по своей воле, повернул голову. И встретился взглядом с ним...

+++

В самой гуще пыли, еле заметный круп низкорослой степной лошадки, а на крупе смутно виднеется малец, крепко, видать, ухватившийся за седока – плотного, широкого в плечах мужчину, чья наголо обритая голова будто отражает пробивающееся сквозь пылевое облако степное солнце. Всадник отчего-то вдруг остановился, повернул голову, и встретился взглядом со статским советником, всего лишь на миг...

+++

Как два клинка, скрестились взгляды того, кто пришел устанавливать власть империи в вольной Степи – и того, кто был этой Степи заблудшею душою. Но не искру высекли клинки – тьму, и алчность, и жажду победы, умноженную яростью от несбывшихся чаяний в эту баталию.

И словно отпустила Судьба свою Божью Жертву, сорвался Куда-то Тамак – жеребец, уготованный на заклятие, с празднично украшенной привязью, и ожило сердце, ломая каменную коросту, и забилося в едином порыве с сердцем ребенка, за жизнь которого – в ответе! И отвернулась жертва от своей Судьбы, и понеслась вскачь, прочь, чтобы ценой своего искупления сохранить детскую жизнь.

+++

- За мной, шайтан вас дери! За мной, черти! Расступись! Дорогу! – сипел Сурков, однако цепь стояла, повинувшись лишь приказу своего полковника. Полковник же молчал. И тогда с места, да в карьер, бросил «кавказский человек» граф Сурков своего коня прямо на цепь линейных кавалеристов, грозя столкнуться грудь в грудь, а там уж – кого Бог хранит, а кого – копыто топчет!

Не выдержала цепь яростного напора алчного графа, в последний миг шархнула обученная кавалерийская животиная в сторону, дав дорогу сначала самому графу, а там и последовавшим за ним «черкесам», не утолившим еще свою жажду крови в этот день.

Статский советник русской империи начал погоню за Махамбетом!

+ + +

«Небо, обиталище ли ты Бога, или само – Бог, сейчас не ведаю, не знаю, ничего не знаю, только об одном прошу – спаси и сохрани! Не меня – кровь побратима моего, сына, доверенного мне, дай вывести живым, а там делай со мной что хочешь! Сам голову подставляю под клинок!» - молитва, ересь, отчаянная просьба, неведомо к кому обращенная, звучала в голове, сухие губы шептали «Фатиху» и «Эль Ихляс», путая слова и строки, и только тело, привычное, верное, надежное тело степного всадника-кентавра, будто слившееся в одно единое с конем, летело над степью, и степь давала силы. И Небо – хранило, потому что ни одна пуля, выпущенная из более чем десятка пистолетов, не нашла своей цели, не ранила и не убила ни Махамбета, ни его драгоценную ношу, вцепившуюся в спину своего спасителя, и только повторявшую вместо молитвы: «Аке! Аке!»...

Догоняли! Не пулями, но сами, на конях длинноногих, ахалтекинской породы, привычных пусть к недолгой, но быстрой скачке, преследователи догоняли, на скаку перезаряжая пистолеты. Будь это не скачка на смерть, не погоня, целью которой – убийство, даже если выстрелом в спину – верный степной конь, привычной к долгим переходам, вынес бы, справился, но в это короткой гонке, когда преследователям всего то и надо, что подобраться на расстояние верного выстрела...

«Аке! Отец!» Да! Отец Небесный, не дух святой, не кудай-алла, имеющий тысячи имен, но само Небо-Тенгри, отец степняка, благодатным дождем берущий мать-Степь, и порождающий на ней жизнь, только на тебя надежда! Языческий страх и поклонение силе природной, существующей здесь, и сейчас, прорвались сквозь наносной слой инородной веры в Единого Творца миров, сущего вечно, но еще давил, угнетал подспудный, идущий из дна сознания, страх перед инакомыслием, ввевшийся арабскими ритуалами в каждую мысль о Боге. И тогда пришли, будто из светлого прошлого, детства, прозвучавшие в голове голосом Бекет Ата слова: «И почитая аруаков, можно оставаться в вере в Творца Миров, и тогда поймешь, что Тенгри – лишь еще одно имя Сущего... сущее для нашего народа!»... Слова прорвались сквозь топот копыт, и на какой-то миг опередили звуки выстрелов. И вспомнилась наука Ходжи НаСима, и в самый нужный, самый насущный и необходимый миг вернулась способность видеть, чувствовать старый, рваный халат Времени-Пространства, и находить его карманы, в которые суфий проникает, как рука хозяина... суфий же недоучка – будто карманный воришка, окольно, не без страха, но – проходит сквозь складки, и становится пыльный солнечный день – чистой звездной ночью, а место одно – местом иным, одним из множества возможных...

Выстрелы будто заглушились в звуках непонятно как начавшейся пыльной бури, злые свинцовые пчелы-пули, вырвавшись из червлених кубачинских стволов, казалось, вот уж настигнут свою цель – беззащитные, такие близкие спины взрослого мужчины и ребенка, но вдруг, растерявшись, запутались, заплутали в клубах желтой пыли, да и ушли в никуда... или в иные места... из множества возможных

+ + +

Будто само небо было против преследователей в этот день – невесть откуда вдруг поднялась пыльная буря, бросила пригоршни злого песка в лицо, ослепила, а когда прошла, и вернулся ясный день – исчез коренастый, бритоголовый всадник на низкорослом степном коне, уставшем нести на себе и его, и мальчика. Ведь тут они были. И стреляли по ним, почитай, что в упор! Нет их. Есть только степь бескрайняя, и бескрайнее же небо над головой. Кажется, вроде частое, ни единого облачка, и не скажешь, что мигом раньше пыльной бурей по лицу отхлестала, а все одно – чувствуется, что недоброе оно нынче, это небо. Не так врага боится кавказский человек, как суеверий своих. А того пуще – страха перед неведомым, неизвестным ему, и от того еще более жутким. Чувствовал каждый боец черкесской сотни самую дубленой шкурой своей – уходить надобно, и поскорей. Победили сегодня, хоть так, а и ладно! Довольствоваться надо уметь даже малым, а тут, почитай, победа знатная, не малая! Шукюр-шукюр, слава тебе, Господи! И – да, непременно! – слава Государю! Ибо для настоящих хозяев победы в этой последней битвы если и не заслужили в ней чести, так однозначно доказали и веру... и верность.

+ + +

Коли каменным кольцом

опоясать озерцо, -

водам бурно в нём не течь.

Даже яркая луна -

появись вдруг пелена -

свет несет не ярче свеч.

Лев сильнее всех зверей,

но слабее он людей,

испускающих картечь.

Стаду быть добычей волка,

пастуху - пасти без толку,

коли сон свой не стеречь.

Хоть издам тоскливый вой,

не вернётся мой герой,

коль пришлось навечно лечь.

Я теперь бескрылый лебедь,

без корней торчащий стебель,

так нужна ль тут моя речь?!

Махамбет Утемисулы – «Окольцованное озеро»

(перевод Б.Карашина)

Конец книги второй
Жылкы Жасы – «Время Жеребца»

+++

ЭПИЛОГ

КАЗНЬ МАХАМБЕТА

Нет для меня больше песен.

Слов больше – нет.

Я не батыр нынче славный,

И не поэт.

Верю в веру ведомый,

Я выбрал ответ:

«Ла» - отвечал по-арабски

Судьбе. То есть – «нет!».

Корни степные отринув,

В пустыни песках

Корни пустить я пытался.

Не ведом был страх.

Только пески те – чужие.

В чужих же местах

Не расцветают степные

Цветы. Только страх

Перед Творцом Мирозданья

Буйно цветет.

«Кул» - значит «раб». И не тайна –

Каждый поймет

Рано иль поздно, что только

Вольная степь

Дарит кочевнику волю.

Мой же ответ

Принят чужими богами – против своих.

Предано предначертанье. Предан мой стих.

Кто же предатель? Изменник

*Подлый тот – кто?
Вижу его в отраженьи.
Больше никто
Так не сумел бы растратить
Дар от Судьбы.
Трапезой Тенгри рожденный –
Ныне костью
Что обглодали не боги,
Псы – хочешь лечь.
Смерть прекратит ли страданье?
Иль не сумеет
Просто уйти ли, остаться,
Стойко терпеть
Жизнь – словно срок покаянья.
Но – не хочу.
Вынесу сам приговор я,
И промолчу,
Слова не молю я в защиту.
Знаю вину.
Меж приговором и казнью
Не затаю.
Небо, ускорь мне за это
Казнь мертвеца Махамбета!*

(А. Улдуз, стилизация)

+ + +

*Были мы, были мы
честолюбия сыны,
леопардами мы часто
рвали мясо жунгаридов,
разрывали их на части.
Сыновья мы Утемиса,
было десять нас когда-то,*

*мы, собравшись,
ратью вместе,
тѣму могли прогнать,
как стадо.*

*Словом, были мы собой
славной, сильною ордой.*

**Махамбет Утемисулы – «Были мы»
(перевод Б.Карашина)**

+ + +

Хасен кричит: «Беги, брат, беги!», а мне и бежать уже не вмоготу. Некуда. Да и – незачем. Типан смотрит с немым укором во взгляде, и я нехотя встаю, иду в сторону коновязи. Знаю, что поздно, знаю – не успею, но иду. Пусть не думают, что я сдался. А я – сдался? Что в самом деле сейчас лучше для того, чье имя а так склоняют на все лады по всей Бокеевской Орде – остаться, и погибнуть, или бежать, как я уже это сделал однажды?..

+ + +

- Махамбет бежал! Оставил побратима своего умирать, и бежал! Герой наш, батыр из батыров, защита и опора рода берш... да что там, берш, всей Орды Бокеевской защита – поддался уговорам смутьяна Махамбета, восстал супротив султана своего, но все равно чтим мы его память, отважный был человек, до конца бился, не то, что этот трус!.. – Карауылкожа не говорил – соловьем заливался. Ну, это ежели принять, что у соловья усы и борода могут быть запачканы курдючным жиром, а при пении он еще и слюной брызжет на собеседников. И пахнет – русской водкой.

Караулкожа Бабажанов был пьян. Водку привез с собой в большой белой бутылки, и лично, словно слуга, наливал из нее новому начальнику гурьевского гарнизона, которого взялся сопровождать из Уральска до места службы, и с которым останавливался на беспармак чуть ли не в каждом ауле, что попадался на пути в Гурьев. Аулов попадалось нынче множество – после поражения и гибели Исатая восстание заглохло, будто и не было его, и только дальние отголоски войны Кенесары Касимова доносились до утихомирившейся Бокеевской Орды, вновь погружившейся в болото послушания своим имперским хозяевам. А перед хозяином нынче любой степняк – что слуга, даром что самому Жангир-Керей хану приходится родичем и другом. Такой слуга, правда, хозяину прислужит, но и себя не обидит – вот и получалось, что наливал Бабажанов вроде бы русскому начальнику, но сам пьянел ничуть не меньше. И выглядел в глазах собственных соплеменников нынче таким же чужим, как краснощекий, с распаренным широким лицом, «орыс-бастык», с той лишь разницей, что говорил на родном языке, причем вещи, которые все еще были не то, что интересны, но брали за живое, заставляли вспоминать недавнее поражение... близкую боль.

Многие знали о том, как все было на самом деле. Потому что многие в степях Ак Жайыка были из тех, что выжил в том походе благодаря решению и жертве Исатая, но чьи сыновья остались лежать в схватке с казаками да черкесской сотней. И многие знают, что Махамбет не бежал – спасал, выносил из пламени поражения сына Исатаева, но одно дело – знать правду, помнить о ней, и другое – каждый день слышать от важных, облеченных

властью людей эту же правду, да по-другому! Будто на верного пса-тобета натянули злые люди из злой своей потехи волчью шкуру, и теперь уже другие, совсем вроде бы не злые люди, на преданного друга косятся с подозрением, того и гляди – за колья возьмутся, смертным боем бить начнут.

И все же... люди еще любили Махамбета. Считали его жертвой, жалели, укрывали места его стоянок... Не все, были и те, что за мзду ли, или взрастив в себе ненависть за умерших в битвах родичей и членов семей, указывали – вот, был, останавливался в том-то кочевье, ночевал в юрте у того-то... Но таких было меньше, гораздо меньше тех, что наизусть читали стихи мятежного акына, закрыв глаза, слушали полные боли песни, в бессильной теперь жажде свободы сжимая кулаки, будто пытаясь схватиться за рукоять несуществующего меча. Мечи-ханжары нынче были запрещены для степняков, как раньше были под запретом ружья – после поражения повстанцев отряды Жангир-хана прошли частым гребнем по всем кочевьям, забирая все оружие, что могло найтись, даже охотничьи луки, и те не дозволялось нынче иметь кочевому народу.

Безоружный, словно волк с вырванными клыками, степняк в Бокеевской Орде медленно, но верно превращался в пса, беззубого, способного если не спасти хозяйское добро, но хотя бы лаем своим оповестить о приходе чужака на подворье. И только глаза – злые по-волчьи, еще выдавали вольный дух, тлеющий на самом дне поработанной души. Такие глаза сейчас смотрели на Карауылкожу Бабажанова, в каждом ауле смотрели, за каждым дастарханом, и сейчас – из каждого угла юрта, с каждого лица, от лебезящего перед бастыками-начальниками хозяина дома, и до последнего ребенка-балапана цыплячьего возраста, взглядом этим, однако, напоминающего не куренка, но птенца беркута. Бабажанов боялся этих глаз, и от того налегал на водку еще сильнее, пьянел без меры, теряя мысль свою, и даже самого себя:

- Так я о чем говорю, уважаемые? Я говорю – трус ваш Махамбет... и каждый, кто к нему примкнул – трус. Только Исатай – не трус. Потому что – умер. Вот умер бы Махамбет вместе с ним, тоже был бы герой... Как Исатай! А хану нашему – долгой жизни, здоровья, и царю-императору – долгой жизни... И тот, кто не трус – пусть умрет! Иииыыы...

Подурнело родичу ханскому, лицом посинел, и русский начальник посмотрел на него, да как хлопнет по широкой жирной спине – выпачканной жиром ладонью! Пятно формой с начальственную пятерню отпечаталось на дорогой ткани байского шапана, байское же горло исторгло прямо на дастархан кусок плохо проваренного курдюка, которым чуть было не подавился Бабажанов. Вскочил Карауылкожа от внезапного стыда за позор свой, бросился прочь из юрты, только войлочный полог за ним хлопнул, будто зло отгоняя...

+ + +

Хлопнул войлочный полог за последним гостем непрошенным, а жена моя, Типан, уже на дастархан медный чайник-куман ставит, кумыс в пиалки наливает. Переглядываются между собой гости, старший плечами пожимает – мол, делать нечего, придется за дастархан садиться. Умница Типан, все правильно делает, да только не отвести ее нежной руке занесенный над моей головой меч в руках ангела смерти, Азраил женской слезы не боится, и женские уловки ему не помеха. Но все же дастархан этот время выигрывает, теперь гости непрошеные не могут просто меня забрать, говорить должны, объясниться. Вот, начинают уже, опять, старший из них, кивает на меня:

- Я старшина, Ыкылас, сын Толе, по званию – зауряд-хорунжий, это жигиты мои, Жусуп, сын Утегали, и батыр наш, Муса, сын Нуралы. По приказу султана мы, Баймагамбета Айшуакулы, пришли с тебя, сын Утемиса, за обиду спросить.

Вмешался Хасен:

- Какую обиду брат мой причинил Айшуакову? Чего такого может хотеть султан от рода Утемиса, чтобы аж целый отряд людей с оружием за нами посылать, да еще в такое время, когда казаху по степи с оружием ходить ханским указом запрещено?

- Оружие мы носим с дозволения нашего султана, а у него, значит, фарман от самого хана Жангир-Керея имеется... - спокойно отвечает Ыкылас, но Хасен прерывает его:

- Покажи фарман, раз он есть!

Не смутился зауряд-хорунжий, кивнул только:

- Покажу. Вот, поедem в ставку к султану, там и покажу. Султан Баймагамбет сам покажет, если хочешь...

- А почему это брат мой идти туда должен? В чем султан его обвиняет? – не успокаивается Хасен.

- Четырех коней увели у Мурада, что из рода адай. Люди говорят, Махамбет это сделал. Вот, султан и прислал нас, чтобы мы его привели на суд, пусть ответит перед Баймагамбетом би, пусть оправдается, если сможет...

Тут вмешался Битимбай, сын Шокая, один из немногих, кто выжил в нашей последней битве... в последней битве Старшего моего, Исатая, верный его жигит, навестивший меня, чтобы доставить новости о судьбе спасенного мальчика, сына нашего вождя. Волком смотрит Битимбай на людей султановых, и хоть меч у него отняли, однако даже с голыми руками опасен он в честном бою. И слова говорит честные:

- Это как же так – оправдаться? Разве уже известно, что именно Махамбет тех лошадей увел? Да и к чему ему это? Пускай султан сначала докажет, что Махамбет виновен, и уж после того зовет на свой суд...

- Султану нашему, верному слуге государя Российского, вам, смутьянам, доказывать нечего! – вдруг рявкнул один из «гостей», Муса, тот, что помладше годами, но телом крепче, и на поясе ту него висит не короткий ханжар, но большая сабля, явно русской работы, из тех, что в бой надевают офицеры русской кавалерии. Интересно, с кого такую снял? Или – купил? Хотя, судя по тому, как разговаривает, мог действительно – убить и снять, такие редко за что платят, предпочитая забирать все силой: - Мы, когда к вашей юрте подъезжали, видели, как этот ваш Махамбет из ружья в нас целился! Из ружья!..

И правда ведь – целился. Не потому, что хотел убить, просто на какой-то миг вдруг показалось – снова битва, и я в бою, и этот враг скачет ко мне не разговоры разговаривать – убивать меня скачет, а значит или он меня, или я его сейчас... Окрик Хасена меня остановил, вернул с последнего моего поля битвы, где я так и не взял в руки ружья, сюда, где нет войны, но есть ружье в моих руках, не сумевших защитить моего Старшего... моего Исатая!

- Вы все – люди Исатая, смутьяна и бунтовщика! И оружие у вас незаконное! А тот, кто в одном закон нарушил, и во всех прочих преступлениях наверняка виноват! Так что не

султану вину Махамбета доказывать, а вовсе наоборот... - кричит батыр Муса, сын Нуралы, а рука его так и тянется к поясу, за саблей тянется...

+++

Перовский потянулся к сабле, висевшей на ковре, вытащил из ножен, залюбовался на тускло сверкнувшую в скупом свете петербургского солнца сталь клинка.

- Эх, душа моя, Владимир Владимирович, разве ж мог я знать, какая тоска этот ваш Петербург? – томно протянул генерал от кавалерии, и вдруг, совершенно внезапно, сделал выпад с рубящим ударом, от чего влажный столичный воздух, рассеченный южным клинком, будто жалобно всхлипнул.

- Лукавите, Василий Алексеевич, ой, лукавите, свет мой! – граф Сурков, в шелковом китайском халате принимавшей давнего знакомого и товарища в холостяцком своем будуаре, отвечал голосом таким же жеманным. Такой манерности, чуть ли не дамской нежности, верно, никто иной во всей Империи от этих двух вояк, почитавшихся символами мужества что при дворе, что в солдатских биваках, никогда не слышал. Выбор же холостяцкой жизни, несмотря на наивыгоднейшие партии, доступные для марьяжа что одному, что другому, высший свет списывал на убежденное женоненавистничество и укоренившееся солдафонство. И даже отсутствие романтических скандалов с «опасными связями» оправдывали – мол, преданы сии слуги Марса лишь войне и державе. И чего бы не оправдать, когда злословить – может стать себе дороже, ибо за сальные и грешные разговоры оба господина могли не только на дуэли наказать, но и без каких-либо церемоний запросто жизни лишит всякого любителя позубоскалить на содомитские темы.

- Решительно никаких достойных развлечений, друг мой! Скучно мне здесь! – настаивал на своем Перовский, не прекращая упражняться в рассеении густого воздуха комнаты. – Кровь застаивается, того и гляди, скоро плесенью покроюсь, как все мои лучшие боевые мундиры, что в шкафу висят...

- В Петербурге, душа моя, лучшие туалеты плесенью покрываются – сырость-с, ничего-с не поделаешь! – протянул Сурков, недовольно морщась, и вспоминая, как на днях обнаружил новенький свой фрак, выписанный из Лондона, побитым плесенью от вечной столичной сырости. – И чего тебе жаловаться, когда ты уже год как в Государственном Совете, и всяк тебе Андрея Первозданного пророчит ежели не на след год, так уж через два – вернейше! Или тебя государственная карьера более не развлекает?

- Не развлекает! – в последний раз рубанул воздух Перовский, и с громким лязгом вогнал клинок в снятые с ковра ножны. – Нет, душа моя, ты не подумай, что твой старый друг вдруг сделался неблагодарным – все эти политические альянсы и комбинасьоны были весьма впечатляющи, и даже какое-то время вправду впечатляли меня, напоминая военные кампании, но нынче нахожу их, уж прости, излишне пресными.

- А ведь я с тобой, друг мой, согласен! - Граф Сурков встал с тахты, уронив было подушку, но в последний миг подхватил ее носком мягкой домашней туфли, сшитой из шелка на кокандский манер, подкинул обратно на тахту, и потянулся так, что китайский халат чуть было не пошел швами на широких плечах этого минутой назад сибарита, а ныне – чуть ли не барса в человеческом обличье. И улыбка-оскал такие же – хищные, и в глазах плещется не муть столичного, но чистая бирюза степного неба. И будто расплавленное золото плеснуло из них – улыбнулся граф своему любезному другу,

подошел, нежно обнял за плечи: - Нам с тобой, душа моя, войны не хватает! Интрига дворцовая порой не менее опасна, чем хитрость военной тактики, однако же нет в ней правды и отваги открытой схватки, когда ясно, где твой враг, а где – друг, и слишком много лжи начинают душить, запирают сердце в погреб пьянства да непотребства, где свой порок – оправдан, а чужая любовь – пуще смертного греха осуждаема. Верно ли определил я твое беспокойство, mon ami?

- Уж куда вернее... - отчего то сиплым голосом пробормотал Перовский, и как-то смущенно отстранился от товарища. Затем вдруг обернулся, и порывисто обнял, горячо шепча: - Сослужи мне еще один раз, друг любезный, отпусти, освободи из сей клетки золотой! Верни меня в степь! Душа томится тут, неволю!

Теперь уже Сурков отстранился от Перовского, нежно, но уверенно снял руки того со своих плеч, посмотрел в глаза, твердым голосом заговорил:

- Ты, Василь Алексеич, сам-то ведаешь, чего просишь? После хивинского провала твоего, после всего, что пришлось сделать, чтобы вместо наказания получить повышения в чинах да назначение в столицу – обратно желаешь? Чего ты там потерял нынче? В степи сейчас другая война, Кенесары Касимов викторию за викторией празднует, в Орде Бокеевской после твоей (тут Сурков многозначительно подмигнул другу) блестящей победы – тишь, да благодать! Куда ты рвешься обратно? А может, похлопотать, да определить тебя на Кавказ? Там баталии грядут, уж поверь, и славы, и почестей будет...

- Оставь, душа моя, Кавказ, для ссыльных смутьянов да поэтов, а мне подавай дело всей моей жизни – Хиву брать хочу! Да, знаю, с одним походом не справился, дозволил Кенесары стать сильнее, и только бунт в Орде Бокеевской сумел подавить, и тот, не будь тебя, мой друг, никогда бы не случилось. Однако вот тебе и другая правда – в степях яичких смуте еще быть! Великая удача хранила нас тогда, что не убил ты Махамбета Утемисова, не дал состояться мученичеству его, как то сделали с вожаком смутьянов, Исатаем Таймановым...

- Удача! То не удача, а хитрость его была! В степи по сей день байки рассказывают, мол, сила волшебная у акына, мол древнее божество степняков хранило его, дозволило исчезнуть из-под носа моей черкесской сотни, а на самом деле – пшик вся его волшебная сила, мошенничество! Вспорол попону, набитую пухом лебяжьим, пустил облаком назад, попутал усталых бойцов моих, и был таков, а невежи бают – снег, мол, посреди лета вызвал силою своей!.. – раздраженно отвечал Сурков, но Перовский только отмахнулся:

- Да знаю я, что ты велел там про побег Утемисова рассказывать, чтобы не возвеличивали того, и чудес ему не приписывали, однако же мое мнение на сей счет таково, что Господь хранил нас от убийства этого, я ведь знаю, каков ты в ярости бываешь! Нам и Исатая хорошо было бы живьем брать, да не судьба, вишь, достал его выстрелом подполковник Гекке, карьеру свою спасая. Хорошо, хан Жангир пишет, сейчас всю вину валят на Махамбета, мол, на смуту он подбил героя-Исатая, на смерть обрек, сам бежал! Люд степной запутался, где ложь, где правда, и вскоре не будет ни святых, ни мучеников, ни героев, а черт-те-знает что, сплошь несудорожка да противоречье в головах, и не было б уж того, вокруг которого можно на бунт единиться, ни живого, ни мертвого, что много опасней, если бы только не жадность степняцкая! Верь слову моему – не ты, себе Махамбета чуть не в кровные, по кавказскому обучая, враги записавший, его жизни лишит, а какой ни будь бай из своих же, желающий верность государству явить, а на деле - только хуже сделает!

Еще раз поморщился Сурков, покачал головой, уселся обратно на тахту. Подумал. Спросил:

- С Кенесары покончить сможем, как считаешь?

- Сможем! – горячо заговорил Перовский. – Надобно выгнать его из степи, да в горы, зажать в Семиречье, расколоть хрупкий союз с Кокандом и Хивой, а потом всех – да по отдельности, к ногтю, к Империи – прижать!..

Еще немного помолчал граф Сурков, только глядел пристально прямо на Перовского, вдруг улыбнулся, ухватил за рукав друга, потянул к себе со словами:

- Прижать, говоришь?! Значит, готовься! Вернемся в Оренбург, на генерал-губернаторство! Я все устрою! Возьмем твою Хиву! Готовься!..

+ + +

Готовься, Махамбет, сейчас самое время выбирать – жить, или умереть? Нас здесь трое, но даже если я один решусь драться, никакая сабля не спасет жизни этому юному убийце. И что тогда? Сколько еще я буду убегать от смерти, которая не настигла меня там, где умер мой Исатай? И когда я решусь сделать то, ради чего явился в этот мир? Если я убью их здесь и сейчас – как долго люди султана будут судачить о том, что конокрад Махамбет сбежал от суда? И как быстро все забудут правду? И я принимаю решение, и впервые, с тех пор, как эти люди пришли в мой дом, начинаю говорить:

- Нет на мне вины за украденных лошадей, сын Толе, и не тянись к своей сабле, сын Нуралы, пока не скажешь правду, зачем на самом деле пришли сюда. Или тебя не учили, что у батыра, помимо силы, должна быть и честь? Или ты не знаешь, что врагу надо смотреть в лицо, и говорить правду, если пришел убивать его?

Все замолчали вдруг. Только Типан тихо всхлипнула при слове «убивать». Всхлипнула, но не плачет. Говорил же – умница у меня жена! Жаль, не ценил ее все эти годы, обижал, а сейчас и времени осталось – всего ничего...

Батыр Мурад смотрит на меня взглядом бычка молодого, горячего, глазища кровью наливаются. Ыкылас пытается что-то сказать, остановить его, да уж поздно:

- Верно говоришь, акын! Нет нам дела до адайских лошадей, и не те мы люди, чтобы за конокрадами бегать по степи. За тебя султан Баймагамбет пять сотен рублей золотом обещал. Верней, за голову твою. За ней я и пришел, сын Утемиса, за головой твоей пришел. Убивать тебя пришел...

Второй раз прозвучало это слово под шаныраком моей юрты, второй раз услышала Типан его, и не выдержала. Прямо с дастархана схватила нож, которым мясо режем, бросилась на Мурада, да только вытянул ногу брат мой Хасен, споткнулась Типан, упала, даже не успев поранить никого, а Хасен уже руки ей за спину крутит, держит, кричит: - Угомонись, дура, не твое бабье дело, оставь мужчинам свои дела решать!..

А я смотрю на брата моего, на Хасена, на верного Хасена, который был рядом со мной все эти годы, и вижу усталость на лице его. Вижу боль, причиненную за это время: от потери всего, что нажил тяжким трудом отец, всего того, что так было дорого домовитому, хозяйственному Хасену, отдавшему последнее в жертву восстанию, которое мы проиграли... И вижу – стыд. Стыд за то, что он сейчас делает. За то, что он уже сделал, отчего люди эти смогли найти меня. Смогли войти в мой дом. Теперь я понимаю, почему

он кричал, когда я целился в них из ружья, удерживая меня от выстрела. Понимаю... и прощаю его. Так и говорю ему:

- Ты прости меня, брат, что не сумел. Что проиграл. И теперь ты оказался вынужден служить победителю. Прости меня за то, что вынудил тебя стать предателем...

+ + +

- Никто не хочет становится добровольно предателем того, во что верит! – чингизид смотрел на шамана сурово, но руки его дрожали. Только что старый чудака заявил ему, что Ислам – путь порабощения народов, и что своим упорством он, хан всех степняков, от Семиречья и до Ак Жайыка, предаст истинную веру своих отцов. Верно, старик и раньше чудил, опасно близко подходя к вопросам религии Пророка, мир ему, но нынче перешел все дозволенные границы. И ладно бы, с глазу на глаз, но вот так, прямо при всех, во время военного совета, когда надо принимать ответственное решение – оставаться ли в Степи, продолжая бить русского императора в надежде вынудить его на официальное признание мира и отказ от претензий на власть над землями чингизидов, или уходить на юг, в горы, и там держать оборону, собираясь с силами на новую войну, где он один – против трех царей, - эмира Коканда, хана Хивы, и самого большого врага – императора России!

- Уж не хочешь ли ты сказать, хан, что не веришь в Тенгри? Не веришь в аруаков? Не веришь в своих собственных предков, чья кровь в твоих жилах привела тебя к твоему величию? – шаман говорил, не унимаясь, и еще больше усугубляя свою и без того не веселую участь. Последнее время положение старика при хане Кенесары становилось все более сомнительным, слова его воспринимались приближенными хана, как откровенный бред вышедшего из ума служителя забытого бога, а муллы, в большом числе наводнившие ставку Касимова за последний год, все чаще требовали от хана примерно наказать язычника, смущающего умы правоверных мусульман в армии последнего чингизида. И вот, наконец, он достал самого хана. Кровь, нетерпимая к какой либо хуле, та самая кровь, к которой взывал шаман, взыграла, вскипела яростью прирожденного тирана:

- Кровь, говоришь? А может, это я сам, своими руками, своим умом, терпением, да теми жертвами, что принес на этом пути, достиг всего этого, а? – Кенесары Касимов, именуемый последним чингизидом, встал из-за дастархана, по пути опрокинув серебрянный чайник-куман, рука его потянулась к рукояти огромного кылыша старинной багдадской работы, но тут вмешался муфтий из Казани, год назад объявившийся в лагере Кенесары, объявивший себя жертвой гонений орысов-христиан, якобы бежавший из Казани от неминуемой казни за защиту татар-мусульман, не желающих принимать насильное православное крещение. Мустафа его звали, этого старого, но еще крепкого человека, приходившегося, по слухам, то ли отцом, то ли дядей самой жене другого чингизида, чье имя нынче в степи вспоминали не иначе, как сплевывая при этом – Жангир-Керей хана, Фатимы. Мустафа-хожа гворил вроде бы тихо, но слушались его все, и темная ярость в очах Кенесары тускнела, гасла, превращаясь в слабое, смутное раздражение своей несдержанностью – так умел говорить Мустафа-хожа:

- Великий хан над ханами поспешил, говоря сейчас, что всего добился сам. Во всех его победах видна заслуга Аллаха, укрепляющего руку правоверных в их джихаде против кафиров. Джихад – вот путь, по которому ты идешь, великий хан, чей титул еще признает вся степь...

- Для этого сначала Жангир-Керей хан должен умереть, а он еще вполне молод и здоров, перебежчик! – прервал его шаман – единственный, кажется, человек в юрте, не поддающийся чарам голоса татарского муфтия. Но не прост Мустафа-хожа, и не сбить его с намеченной цели, перебивая речи:

- Все умирают, рано или поздно, и тот, кто здоров сегодня, волею Аллаха может лишиться не только здоровья или имущества своего, но и самой жизни! Жангир-Керей – разочарование всей степи, он уже при жизни – все равно, что мертвый, и после того, как он поступил со своим народом, именно он предал свою кровь и предков, вот почему уже сейчас мы можем назвать нашего хана Кенесары – последним чингизидом! Но не о том я сейчас говорю, а о твоих словах, язычник, в которых ты прилюдно оскорбил того, кто несомненно победит в этой войне, кто ведет свой джихад яростно, но мудро, и ведом на этом пути самим Всевышним, слава Ему, как велел наш Пророк, мир Ему...

- Да что вы слушаете этого... этого... он же перебежчик, еще вчера проводивший волю русского царя при дворе своего зятя, которого ныне живым хоронит! – шаман сорвался на крик, обращаясь ко всем, сидящим за дастарханом в ханской юрте... и сорвал голос. Зсипел старый шаман, и миг стал выглядеть жалким и беспомощным, но не вызвал жалости у истинных врагов своих. Мустафа-ходжа продолжил, и голос его звучал громко, уверенно, и перед хрипящим беспомощным шаманом выглядел он могучим и грозным, как его бог – перед забытыми ныне богами некогда Великой, Степи:

- Великий хан хотел сказать, что никто не предаст добровольно то, во что верит, а значит – нет веры твоему тенгри у хана, нет этой веры и у народа Степи, а потому не может быть и речи о предательстве, а есть лишь разумный выбор! Раб – кул, всегда выбирает сильного хозяина, подчиняется владыке, чья мощь сильнее того, кто обладал над ним властью раньше, и это разумно, и твой народ со своим ханом во главе выбирает себе сильного владыку!..

- Но мой народ – не раб! – сквозь сип прорывается наконец голос шамана, но поздно! Не нравится все, сказанное нынче под шаныраком его юрты, тому, кого меньше чем через год, и вправду, возведут на белую кошму, и назовут ханом над ханами, и последним чингизидом. Не нравятся ни речи Мустафа-ходжи, оскорбляющие его народ, его кровь, и саму память его предков, но тем паче не нравятся слова шамана, прямо обвинившего его в предательстве. Он сжимает, наконец, рукоять меча-кылыша, и спокойствие воина, отбросившего прочь сомнения политика, и принявшего решение убивать, или быть убитым, охватывает хана Великой Степи:

- Схватить язычника, и немедля казнить за оскорбление хана!

Муфтии и муллы чуь ли не в один голос, лишь слегка расстроенным хором, выкрикивают приговор: - забить дерзкого плетью до смерти... Казнь тысячи плетей языческому шаману, под самым солнцем, немедля...

+ + +

Главное сейчас – не медлить! Не мне – им, пока я еще сражен пониманием того, что стал жертвой предательства... и что сам стал предателем. Да, я предал всех и вся: от своей семьи, совго брата Хасена, и до своего Старшего, Исатая – ведь все они стали жертвой моих ошибок, того, что я теперь ясно понимаю – было сотворено если и не мной, но – моими руками! Советы Мустафа-хожи, вера в мудрость орысов, их заботу о нас, как о младших братьях своих, вера в... Нет, только не это! Аллах велик, и все – в руках его!

Но если так – я должен сражаться?! Аллах не дозволяет самоубийства, и если я не возьму сейчас в руки меч, если я не погибну в сражении – я предаю свою веру...

А если я возьму в руки меч – я их убью. Я знаю, что смогу убить их всех – у них нет пистолетов, мечи же в их руках – будто палки, и я, ученик ходжи На Сима, величайшего воина школы у-шу мусульман Поднебесной, могу сделать с ними все, что посчитаю нужным...

Ходжа На Сим... я слышал, он погиб, сражаясь... но местонахождение Ак Медресе выдал казакам Махамбет Утемисов – такой слух идет по степи среди оставшихся в живых суфиев, поэтому меня в прошлом году даже не допустили войти в мавзолей Бекет-Ата, хотя я на коленях молил об этом. Для своих бывших товарищей по школе я стал предателем еще тогда, когда служил своему хану.

Для своего хана я стал предателем, когда присягнул в верности делу своего старшего побратима, Исатая, и встал на сторону восставших!

А сейчас, чтобы я не сделал, я стану предателем – либо своей судьбы, либо своей веры! В этом горечь судьбы предателей – ибо этот путь бесконечен, и предавши хоть что-либо в своей жизни раз, ты навсегда будешь изменником, и будешь предавать уже все, что тебе дорого, даже помимо своей воли и своего выбора.

И если сейчас я должен предать вновь... пусть это предательство послужит хоть чьему-то спасению! Я искуплю свою вину перед тобой, брат! Ты напишешь потом в своем рапорте, что ничего не видел. Что ты совершал намаз вне юрты, когда они вошли, и убили меня. Возможно, потому, что я отказался им подчиняться, и сам поднял оружие. Главное – что ты выживешь. Чтобы суметь позаботиться о моих женах, детях... Посмотри, какая Типан хорошая! Верная, умная... Ты должен позаботиться о ней. Но потом, на суде, ты скажешь правду о том, как все это было. И твоя настоящая история начнется с признания того, кто ты есть, безо всякого стыда перед сделанным в прошлом: «Меня зовут Хасен, сын Отемиса. Я казах из рода берш, племени жайык...». А сейчас – пора вновь предать свою судьбу. Пусть кто-то другой станет божьей трапезой. А мне надо брата спасти!

И я начинаю действовать. Я двигаюсь быстро, так, не умеют эти жирные прихлебатели сурпы с байских дастарханов. Я протягиваю руку и вытаскиваю меч из ножен Ыкыласа, так, что он даже не понимает, как его оружие оказалось в моих руках. И я говорю, громко, чтобы эти двое, Жусип и Муса, достаточно испугались и наконец сделали по-настоящему то, за чем пришли!

- Ты же знаешь! Живым я не дамся!.. Скажи еще раз, что ты пришел убивать побратима Исатая, сына Утемиса, меня – Махамбета, скажи это! Скажи это – Я ПРИШЕЛ ТЕБЯ УБИТЬ!

+++

- Я... я пришел, чтобы убить тебя, старик! – Кенесары говорит хрипло, а я ничего не могу ему ответить. Я? Кто я такой? Почему старик? Я – Махамбет... я – шаман... Мои мысли путаются, мне очень больно сейчас. Спина превратилась в кровавое месиво, и спеклось под солнцем в один страшный шрам, красное мясо и черная кожа, и белые кости лопаток проглядывают из под гниющей плоти, но я еще жив. Меня невозможно убить, даже уничтожив всю мою плоть, для того, чтобы я погиб, в меня должны перестать верить. А раз я жив – значит, татарский муфтий лгал, а хан – ошибался. В меня еще верят. Так зачем

на самом деле пришел хан? И почему мне кажется, что я – Махамбет? Что со мной происходит?

- Ты и так умираешь, старик! Я должен помочь тебе. Я совершил ошибку, вся ставка говорит о моем малодушии, о том, что чингизид отправил своего шамана на казнь, не осмелившись сам лишить его головы, как это сделал бы наш великий предок!.. Что это за звуки ты издаешь, шаман? Ты плачешь? Тебе больно? Сейчас все кончится, обещаю тебе!..

Глупец! Ничего не кончится! И не плачу я, просто так сейчас звучит мой смех, а слезы – это остатки влаги покидают тело, которое мне предстоит сменить, как степная ящерица сменяет кожу. Отрубить голову шаману? Когда мой бог был еще молод, его служители так же были подобны нынешним священникам пустынного тирана, и старались себя обезопасить как могли. Оттуда и пошел придуманный ими же обычай – только правитель, только сам каган может казнить шамана Тенгри, если уж так сильно этого хочет, но за все есть плата. Каган должен своей рукой отрубить тому голову, но при этом он должен знать, что его собственная голова будет проклята навеки, будет отделена от тела, и никогда не найдет себе пристанища на своем месте. Уж не знаю, работало ли проклятие, или нет – ни один каган так и не осмелился своей собственной судьбой проверить действие заклятия старых шаманов. Неужто этот «последний чингизид» и вправду решил быть первым, кто рискнет своей головой... ради чего? Ради торжества бога семитов в нашей Степи? Глупо, о Великое Небо, как же все это глупо!..

Приближенные и лизоблюды, предатели и шпионы, все они наверняка сейчас смотрят, как потомок Чингизхана, могучий Кенесары, тащит полумертвого шамана обратно на лобное место. Час назад меня секли здесь семихвостыми плетьюми со свинцовыми концами, секли, чтобы убить, но я не умер. Устали сечь, бросили на краю площадки для казни, надеясь, что испущу дух, но я все еще жив. И тогда забеспокоились, побежали к «хану над ханами», доложили, заставили бояться! Его, претендующего на власть над всей Степью – бояться старого, умирающего шамана полузабытого бога... бога его предков! И вот он пришел – чтобы самолично исполнить свой приговор... и обречь себя на проклятье! Или же я льщу себе? Мне так хочется, чтобы попытка убить меня не прошла даром, чтобы за боль, причиненную мне, пришла неизбежная расплата, и желательна – жестокая... очень жестокая!

Небо, какая жестокая боль в груди... откуда? Меня ведь били по спине, не по груди...

+ + +

Они не ударят меня в спину! Пусть – смерть, но не такая, не позволю, не могу! И я разворачиваюсь назад, к Жусыпу, зашедшему мне за спину и уже занесшему большой кинжал. Я все еще двигаюсь быстро, но не настолько, чтобы успеть отбить этот удар, и клинок в руках врага на целых три пальца проникает мне в грудь... Больно, но не смертельно! Сердца моего ему не достать – я успеваю схватить за запястья, для этого пришлось отбросить саблю, отнятую у Ыкыласа. Я мог бы убить его – хоть саблей его командира, хоть его собственным кинжалом, но сегодня я не стану этого делать. Не они должны сегодня умереть, но тот, кто стал виновником бед для своей семьи, пытаюсь спасти свой народ. Сегодня должна свершиться моя казнь!

И я отталкиваю Жусыпа, конец его кинжала выходит из моей груди, царапая кость ребра и причиняя невыносимую боль, я кричу, но вскакиваю на ноги, мои крепкие, сильные ноги, они уже не слушают меня, они живут своей жизнью, они хотят продолжать жить, и несут

мое тело прочь отсюда, в сторону выхода из юрты, и здесь меня уже поджидает сын Нуралы, Муса. Юный бычок бьет меня своею саблей по голове, но делает это не очень умело, клинок ударяет вскользь и плашмя, оглушает, ранит меня, и колени подкашиваются, я поворачиваюсь к нему спиной, падаю...

+ + +

Я стою на коленях, и теряюсь в догадках – где я? Только что мне привиделось, что я – Махамбет, которого убивают люди султана Баймагамбета, у меня болит лоб, как будто его только что рассекли тяжелым клинком, и странное дело - я чувствую, как у меня за спиной заносится другой клинок... Разве у меня есть на спине глаза, чтобы видеть эту каплю пота, стекающую по дергающейся щеке на искаженном, будто от боли, лице «последнего чингизида»?..

+ + +

У меня нет глаз на спине, но кажется, будто я вижу, как Мурад, сын Нуралы, поднимает к небу свой клинок, чтобы опустить его на мою шею... Бьет!.. И... - снова бьет?!..

+ + +

Кто же так бьет? Кто так рубит голову врагу? Врагу, которого уважает вся Степь – разве можно так? Моя шея будто горит, превращенная в кровавое месиво, позвонки смешаны в кашу из осколков и чудом еще цепляющихся друг за друга мышц, сухожилий и нервов, а этот бездарный вояка продолжает колотить по ней клинком, будто баба, выбивающая палкой пыль из кошмы. Хан над ханами, Кенесары, сын Касима, потомок Шынгыса, будь достоин крови своего великого предка, молю тебя, закончи эту пытку!..

+ + +

Хасен смотрит, будто замороженный, как Муса пытается отрубить голову его брату. Типан кричит, бьется, будто раненный зверь, исходит страшным, нечеловеческим криком, а Хасен держит ее крепче, пытается зажать рот, и только шепчет – «Молчи, молчи, дура... баба, дура!», а она кусает его руку, прокусила уж до крови, но так много алой боли в этой юрте этим страшным днем, что Хасен не замечает ни боли, ни собственной крови... Но замечает странное – как вместо неловко занесшего над головой саблю юного бычка Мусы вдруг видится крупный, суровый мужчина с ликом воина, уверенно возносящий меч над головой... нет, не Махамбета, но старого шамана, у которого вместо спины – кровавая каша, подобная той, в какую превратилась шея его брата...

Клинок опускается, подобно молнии, и с тихим всхлипом распадаются ткани и сплетения сухожилий, и голова – вместилище мятежных мыслей – с громким стуком падает прямо на деревянный дастархан, от чего переворачивается миска с кумысом, и смешиваются на скатерти степного гостеприимства кровь хозяина юрты с молоком его кобылицы.

Ыкылас с безгловым выражением на лице протягивает обе руки, поднимает голову, кладет в подставленную Жусыпом кожаную торбу. Перевязывает торбу, и стараясь нести как можно подальше от себя, идет к выходу из юрты, по пути только кивнув в сторону Хасена: - Этого свяжите, заберем с собой в ставку султана. Там ему заплатят, и объяснят, что и как надо рассказывать на суде у орысов.

- Агай, а можно, голову я повезу? – наглая просьба сына Нуралы заставляет Ыкыласа задержаться на миг.

- Нельзя! Голову казненного преступника Махамбета Утемисова повезу я!

+++

Я иду, и несу свою голову.

Я несу ее в своих руках.

Над плечами моими проносится ветер, не касаясь моих волос.

Я несу в своих руках все свои мысли и заботы.

Все свои сомнения и надежды, и даже саму свою веру

Я несу в этих усталых руках.

Хан среди ханов отрубил мою голову.

Он велел вырыть мне могилу, и закопать в нее тело.

Голову велел закопать в ногах.

Но нельзя зарыть в Землю - веру в Небо.

Как нельзя отдать Небу – веру в Землю.

Ноги и голова – им не суждено быть вместе.

Так создан человек.

Между ними всегда есть – сердце.

Глаза на голове моей закрыты.

Если я открою их – то увижу завтрашний день.

Я увижу, как в водах Ак Жайыка утонет султан-убийца.

Султан Баймагамбет, получивший награду пес,

Как кость – так он был награжден своим царем.

В далекой северной столице он получил свою кость.

Но кости тела его обглодают рыбы моей реки.

Если я открою глаза на своей мертвой голове,

Я увижу, как сбудется проклятие старых шаманов.

Голова хана среди ханов никогда не соединится с его костями.

И как оскорбление, будет храниться трофеем у победителей моего народа.

Если я открою глаза – я увижу,

*Как мой народ забудет своих аруаков.
Как дети его станут верить в пустынного бога,
Превращая своими руками в пустыню нашу цветущую степь.*

*Мертвые глаза не желают видеть,
Как живые будут мертветь при жизни,
Меняя волю степную на рабство больших городов.*

*Мертвые уши не желают слышать,
Как народ, избравший себе хана среди лучших,
Будет хвалить худших, и вознесет их над собой.*

*Мертвый рот только не умолкает.
Он пел, когда жил, он поет, будет петь всегда.
Мертвый язык не боится снова умереть.
И поэтому мертвый акын – опасней живого.*

*Мертвый шаман идет по живой Степи.
В мертвом теле, воскресшем волею неба – живет акын.
Две головы ты одним ударом срубил, хан!
Слава тебе в веках – за успехи и за ошибки твои.
Так и не отдал народ мой свой Небу долг.
Не пожелала жертва – стать жертвой, и потому казнена.*

*Тенгри не нужен преступник, его дастархан
Не осквернить угощением преступным! Если оно
Не отдано с чистым желанием, и от души,
Значит, то не была трапеза Бога,
Значит, то не был Кудайын Тамаккы!
Тот, кто родился стать Жертвой, стать Трапезой Бога,
Должен служить не себе, не страстям своим личным,
Жизнь свою должен отдать первым, без сожаленья!
Если не станет – то в сожаленье умрет.*

Я иду, и несу свою голову.

Я несу ее в своих руках.

Над плечами моими, проносится ветер, не касаясь моих волос.

Все свои сомнения и надежды, и даже саму свою веру

Я несу в этих усталых руках.

Пусть не хочу я видеть завтрашний день.

Пусть не хочу я видеть, как гибнет Степь.

Пусть не хочу я слышать слова – как позор,

И не хочу даже знать, что станется завтра,

Это желание Неба – выше воли моей.

В мертвом шамане живет теперь поэт.

Мертвый я стану жертвой, которой не стал.

Мертвым отдам я долг за себя и него.

И говорить будет правду батыр и поэт

Через века, хоть ты был и казнен, Махамбет!

Я открываю глаза...

КОНЕЦ РОМАНА

КАЗНЬ МАХАМБЕТА

Аждар Улдуз, Бекет Карашин

Атырау-Баку-Атырау

2015-2017 гг.

Послесловие от авторов

+ + +

ПОД НЕБОМ-ТЕНГРИ

А.Улдуз

Получается, что они все время лгали. Потому как говорить лишь часть правды – равнозначно самой огромной лжи, если та скрытая часть, и была самой важной, ключевой, определившей СМЫСЛ правды... и которую от нас взяли, и спрятали.

Не только восстание Исатая и Махамбета, с такой легкостью записанное советскими историками в разряд «народно-освободительных», но и сами личности лидеров восстания, как-то традиционно рассматривались в отрыве от важнейшего контекста того исторического периода – от религии. Результат получился ожидаемым – казахский народ до сих пор считает Махамбета (причем совершенно ошибочно) главным лицом и чуть ли не инициатором восстания, его идейным вдохновителем, уделяя Исатаю лишь роль военачальника – эдакие Ленин и Троцкий, как революционные идолы-архетипы, а само восстание рассматривает исключительно в контексте неких экономических реформ, проводимых ханом Жангир-Кереем (буржуй, капиталист и аристократ в одном лице – очень удобный отрицательный персонаж в советском идеологическом пантеоне).

О да, в учебниках и многочисленных, порой чуть ли не строчка в строчку повторяющих содержание друг друга статьях об этом восстании, конечно же упоминается, кем был Исатай, и какую роль ПРИ НЕМ играл Махамбет. Однако, в среде обывателей образы-мифы уже четко закреплены, а значит, эти упоминания даже формально не выполняют свою роль.

Но даже не это было самым важным для меня, как одного из авторов книги, когда мы брались за литературное, художественное исследование образа Махамбета, всегда казавшегося мне противоречивым, неоднозначным, а потому – настоящим человеком. Наша сегодняшняя жизнь, в которой набирает обороты религиозный радикализм, стала такой не без причин, истоки происходящего лежат в нашей не самой далекой истории. Для современного же казахстанского общества ответить на этот вопрос критически важно. Конфликт тенгрианства, как религии автохтонной, «своей» для этих степей, и авраамических (христианства – в меньшей степени, и ислама – в большей), и есть, на мой взгляд, тот самый фактор, что сыграл огромную роль в религиозной радикализации в нашем обществе. И не

только сам конфликт, как таковой, но то, как религии использовались крупнейшими политическими игроками для покорения казахского народа.

Восстание Исатая и Махамбета не было против Империи – мы это знаем хотя бы потому, что сами лидеры восстания неоднократно обращались к имперским властям с просьбой выступить третейским судьей в их конфликте с ханом Букеевской Орды. По сути, оно было реакционным с точки зрения всей истории позапрошлого века, и довольно низкорезультативным. Более того, оно привело к ослаблению позиций последнего хана Букеевской Орды, и как следствие, к полной потере своей государственности у племен младшего жуза. С самого своего начала оно было подконтрольно империи, фактически стравившей между собой казахов, чтобы потом уничтожить обе стороны – восставших военной силой, легитимного правителя – посредством политических интриг, дискредитировав его в глазах собственного народа.

Инструментом же контроля была не только, и не столько армия, сколько представители религиозных институтов, муллы, подчинявшиеся единой имперской власти. Впрочем, спустя три десятка лет приволжские татары-мусульмане, чья лояльность империи была использована для фактического покорения через исламизацию народов западного Казахстана, на себе испытали, как империи относятся к подобным проявлениям лояльности – достаточно вспомнить историю насильственного крещения татар.

Исламизация степи была делом государственным, и то, как протекало восстание, самым лучшим образом демонстрирует нам, сегодняшним, выгоды от авраамических верований для крепости тоталитарных режимов.

Тенгрианство было пассионарным, но при этом – рациональным, оно не вмешивалось в работу социальных лифтов, и потому долгие столетия кочевые народы были мобильны, сильны, по-своему прогрессивны, и могли не только успешно противостоять оседлым цивилизациям, но даже всерьез конкурировали с ними. Низкая экономическая эффективность кочевого хозяйства в условиях суровой степной природы, с лихвой компенсировалась высокой демократичностью власти, что положительно сказывалось и на сокращении технологического разрыва, и на мобильности принятия решений в критические периоды, и самое главное, на том, что интеллектуальный ресурс номадов не был скован жесткими условностями классовых различий. Проще говоря, тенгрианство позволяло кочевникам быть честнее с самими собой. И именно в тот период своей истории они были действительно великими цивилизациями.

Авраамические религии были навязаны кочевникам – этот исторический факт трудно отрицать... но легко скрыть. Особенно имея на руках административный ресурс победившей государственной машины. Что арабский халифат, что Российская Империя, что СССР (который так же выстроил свою идеологию по модели авраамической религии, просто заменив значения переменных в неизменной формуле тоталитарной власти) – все эти государственные образования по сути всего лишь пользовались номадами, как ресурсом.

Не являясь последователем ни одной из религий и будучи антиклерикалом, я всегда восторгался свободолюбием кочевых цивилизаций, их прямоотой и честностью, и меня всегда поражала та двойственность, граничащая с эклектикой в психологии, когда дело касалось двух вопросов: религии, и власти. Конфликт между аруаками и имамами продолжается и по сей день, несмотря на формальное многовековое поражение тенгрианства перед исламом, этот конфликт выпирает из-под оправдания коррупции (качество всех авраамических институтов, фактически легитимизирующих любую власть и ее преступления), он проявляет себя в социальной пассивности (ибо РАБ (!) божий не может иметь гражданской позиции). Небо, казалось бы, проиграло пустыне, и случилось это тогда, в последнее восстание казахов младшего жуза... восстание против самих себя, изменившихся, превратившихся из свободных степняков – в рабов.

Образ Махамбета, его история, его стихи – самая лучшая иллюстрация этого конфликта, но мне, больше прозаику, нежели поэту, хочется здесь уступить место моему соавтору, написавшему великолепные монологи от имени Махамбета. Именно так следует завершить наше послесловие, потому что в этих стихах, несмотря на трагедию в судьбе самого нашего главного героя, живет надежда. Еще одна надежда на свободу для всех нас, живущих под Небом-Тенгри.

МОНОЛОГИ БЕКЕТА ОТ ИМЕНИ МАХАМБЕТА

МОЁ ИМЯ МАХАМБЕТ

Я не пророк, но именем пророка
был наречён, отправлен с ним в дорогу.
Но имя – это тот же рок,
предписанный нам свыше Богом...

Скакал я, пел, слагал стихи,
свободным сыном слыл степей,
веригами не сковывал себя,
со звоном звенья рвал цепей.

... «В Отечестве родном пророков нет»:
будь ты шаман, мудрец, поэт –

твои слова, деяния, предсказания
при жизни – просто чушь и бред.

Всё было так же и со мной:
я мысли, чувства, музу, бой
Отчизне честно подчинял,

но сам же срублен был судьбой.

В игру вступил всё тот же рок:
пред смертью был я одинок,
от рук предательства, коварства

я принял смерть, но ...не итог.

Пророков, гениев, героев
сдают в забвение порою.
Но не случилось то со мной -

за мной народ стоит горою!

Ещё восстану я из праха!
С мольбой к могуществу Аллаха,
коль надо будет – понесу
ещё раз голову на плаху!

Восстану я, чтоб петь, вещать, рубиться,
лететь стрелой быстрее птицы
и всадником без буйной головы
скакать и мстить, как призрак-рыцарь...

ЖИЛ-БЫЛ Я

Жил я, был я, жил-был я...
В диких зарослях Нарына,
вздыбив юный свой загривок,
издавал среди зверья
львиный рык богатыря!

Был при жизни Исатая
двуматёрым волком я,
вожаком был волчьей стаи,
славой воина гремя!

Я в полёте хищной птицей,
защищая воробья,

резал вражьи вереницы,

рушил гнёзда воронья.

Я не трогал травоядных,

не клевал аул червя,

отличился же изрядно,

орды хищников грома!

... Не всегда народ герою,

подводя, дарил коня,

он нередко хмурил брови,

ни за что его браня.

В час нелёгкий и тревожный

всеми был, покинут я,

сеял правду, сыт был ложью,

вот вам – козни бытия!

Хоть парил в полёте чести,

подползла ко мне змея,

был ужален саблей мести

и погиб на месте я.

В небе, словно кровью плача,

заалела вдруг заря...

Кто-то вскрикнул: «Это значит, -

наш поэт прожил не зря!».

Не грозят теперь мне горе,

мрак, беззвучье забытья,

Кто-то, всё же, гордо вторит:

«Жил я, был я, жил-был я!»

МЕЧ И РЕЧЬ ПОЭТА

Кто-то звал меня буяном,

окаянным и смутьяном,

забиякой и рубакой,

волком, лающей собакой.

Да! Кусался я, рубил,

но не лаял, - волком выл,

Жил отчаянно и лихо,

честь чеканил, прятал прихоть.

Не подумав, сгоряча,
не рубил голов сплеча,
остромыслие речей
я считал острой мечей!

Я не рвался к славе, лая,
презирая краснобаев,
жизнь хотел отдать во имя
дела жизни Исатая.

Я рубился за Свободу,
Независимость народа,
не волок его в болото, -
вёл на вольные высоты.

...Потеряв Урал и Волгу,
был я предан и оболган...

Видел лишь седой Карой,
как издав последний вой,

я расстался с головой...

Но не с духом и не делом

я расстался... Только с телом.
Ведь, пронзив пространство, время,

унося младое племя

в космос, насквозь атмосферы,

не взлетели, - полетели
моей музы стихострелы!!!

Баку-Атырау, август, 2017